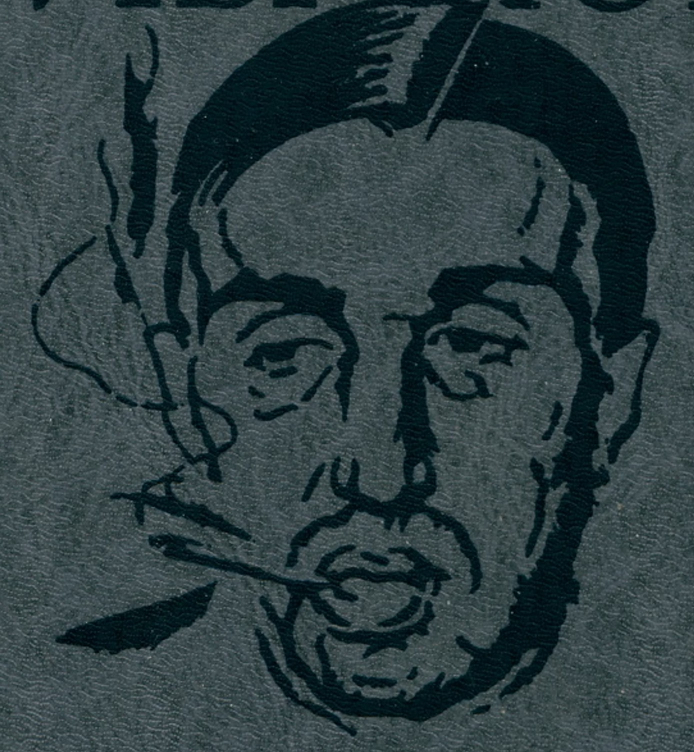
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ Мемуары и рассказы

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ



Мемуары и рассказы

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Мемуары и рассказы

Москва
«Прогресс»

«Третья Волна»
Париж — Нью-Йорк

ББК 84 Р 6
И 20

Составитель *В. Крейд*
Художник *В. Пузанков*
Редактор *Г. Дзюбенко*

Иванов Г.
И 20 Мемуары и рассказы/Сост. В. Крейд. — М.: Прогресс — Литера, 1992. — 352 с.

Одной из ярких фигур русского зарубежья Георгию Иванову (1894 — 1958), выдающемуся поэту, романисту, мемуаристу и историку, переводчику французской и английской поэзии, принадлежит своего рода первенство в мемуарах о серебряном веке русской литературы.

Вниманию читателя предлагается сборник малоизвестных произведений Г. Иванова — беллетризированных мемуаров «Китайские тени» и «Петербургские зимы», а также его многочисленных рассказов.

И $\frac{4702010206-085}{006(01)-92}$ КБ—38—22—91 ББК 84 Р6

На обложке — портрет Г. Иванова работы Ю. Анненкова.

ISBN 5—01—003654—1

Об авторе этой книги

1

Георгий Иванов (1894 — 1958), по его собственным словам, «вступил в литературу в последнюю зиму перед войной», то есть в конце 1913 г. Почему же именно в 1913-м, если нам достоверно известно, что его литературный дебют состоялся тремя годами раньше? В 1910 г. эфемерный журнальчик, выходивший под броским названием «Все новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза», напечатал стихи почти еще никому не известного Г.Иванова. Стихи были не хуже и не лучше сотен других, одновременно появившихся в многочисленных столичных журналах и альманахах. Славы юному автору этот дебют не принес, к тому же и фамилия была незапоминающаяся — в справочнике «Весь Петербург» Ивановых было великое множество. «Все новости...», несмотря на свои универсальные устремления, читательской аудитории не имели. Словом, первая публикация особого удовольствия никому не доставила, разве что самому автору — стройному шестнадцатилетнему юноше в щегольской кадетской форме.

И тем не менее этот ученик Петербургского кадетского корпуса, одержимый стихами и писавший их даже во время уроков, был уже в некоторой степени известен в литературных кругах. Произошло это с легкой руки писателя-символиста Г.Чулкова, первого «настоящего писателя», встретившегося Г.Иванову на его жизненном пути. Знакомство имело замечательные последствия. Чулков представил начинающего поэта Блоку. Каким-то образом состоялось знакомство и с М.Кузминым. Так что у Г.Иванова создавалась иллюзия некоторой преждевременной причастности к святая святых поэзии.

Стихи шли неудержимым потоком. Заучиваемые наизусть Городецкий, Бальмонт, Сологуб, Гумилев кружили голову. Довольно скоро он отдал свои стихи в «Гаудеамус» — литера-

турный журнал, издававшийся при университете. Журнал был «эстетическим», такими же были и стихи начинающего поэта. Журналу они подошли и стали появляться на его страницах почти еженедельно. Например, 3 марта 1911 г. напечатано было стихотворение «Месяц стал над белым костелом...», 10 марта — элегия «Ночь светла и небо в ярких звездах...», 17 марта — «Мы вышли из комнаты душной...», 24 марта — «Зима все чаще делала промахи...», 7 апреля — «Господня грудь прободенная...».

Эти ранние пробы пера вошли в сборник Г.Иванова «Отплытье на о. Цитеру» (1912). Триста экземпляров книги отпечатаны были попечением старшей сестры юного поэта. Первая книга была замечена критикой. Гумилев писал в «Аполлоне»: «Редкие переходы от «прекрасной ясности» и насмешливой нежности восемнадцатого века к восторженно звонким стихам-молитвам». Но Гумилев отметил и подражательность пьес семнадцатилетнего автора. Вряд ли эта подражательность «била в глаза». Однако такой знаток поэзии, как Гумилев, не заметить этого просто не мог. В своей рецензии он не останавливался на подробностях, кроме, пожалуй, одной: «Георгий Иванов всецело под влиянием М.Кузмина».

«Всецело» сказано было скорее к слову, чем к месту. В период своего ученичества Г.Иванов сумел хорошо прочитать не только Кузмина, но и великое множество других поэтов вплоть до «какой-нибудь» Щепкиной-Куперник. Вот, например, строфа из написанного в 1909 г. стихотворения Вл.Нарбута, редактора «Гаудеамуса»:

Только неясных томлений
Небо полно, как и ты.
Голые клонит кусты
Ветер ревнивый, весенний.

Сравним теперь со стихами Г.Иванова, напечатанными весной 1911 г. в «Гаудеамусе»:

Огнем неземных откровений
Сияли закатные дали,
И копья неясных томлений
Отверстую душу пронзали.

Сравним еще с И.Анненским. Например, его стихотворение «Там» из сборника «Тихие песни»:

Ровно в полночь гонг унылый
Свел их тени в черной зале,
Где белел Эрот бескрылый
Меж искусственных азалий.

А вот Г.Иванов времен своей первой книги:

Ночь светла и небо в ярких звездах.
Я совсем один в пустынном зале;
В нем пропитан и отравлен воздух
Ароматом вянущих азалий.

В 1910 г. вышла книга стихов очень талантливой, но теперь уже забытой Аделаиды Герцык. Приведем здесь строфу из ее единственного сборника «Стихотворения»:

Мукой своей плененная,
Не могу разлюбить эту мечту...
Сердце, тоской пронзенное,
Плачет тихо незримому Христу.

Тот же «развинченный» ритм видим в стихотворении Г.Иванова «Заря пасхальная»:

Господня грудь прободенная
Точит воду и кровь,
Учит верить в любовь
Грудь копием прободенная.

Еще один пример, иллюстрирующий период ученичества. Акмеисты говорили, что хороший поэт — прежде всего хороший читатель. Г.Иванов понял этот завет самостоятельно, еще до возникновения акмеизма. В его случае, как и у многих других поэтов, творческая подражательность предшествовала обретению собственного голоса.

До вступления в «Цех поэтов» Г.Иванов независимо от Гумилева пришел к аналогичной концепции ученичества в литературе. Ученичество Г.Иванова проступает с особенной наглядностью из сравнения двух следующих строф:

Ее ничем не превозмочь...
И пробегают дни за днями;
За ночью в очи плещет ночь
Своими смертными тенями.

Моей тоски не превозмочь,
Не одолеть мечты упорной;
Уже медлительная ночь
Свой надвигает призрак черный.

Первая строфа (1907) принадлежит А.Белому, вторая (1911) — Г.Иванову. Даже из этих немногих примеров многое можно понять о первых поэтических шагах Г.Иванова, жившего тогда, по его собственным словам, «с вечным вопросом о технике стиха на языке».

Кардинальным фактом в его судьбе оказалось знакомство с Гумилевым и вступление весной 1912 г. в гумилевский кружок «Цех поэтов». Этому провиденциальному событию предшествовала закономерная для его артистического темперамента быстрая смена увлечений: Сологуб и Бальмонт, XVIII век и Кузмин, Блок и футуристы, Игорь Северянин и близкий Вячеславу Иванову «классик», народник и мистик Алексей Скалдин. Со вступлением в «Цех» начались для Г.Иванова самые яркие, самые памятные во всей последующей жизни годы. Да и сам русский серебряный век вступил тогда в свою золотую пору. Гумилев продумывал окончательно свою миссию — сознательного строителя русского ренессанса. Предвоенный Петербург был самым подходящим местом для осуществления этих честолюбивых замыслов. В пряной атмосфере столицы, изобилующей талантами и культурными начинаниями, проходила насыщенная литературными встречами и событиями юность Г.Иванова. Весной 1912 г., как было сказано, он вступил в «Цех» и свел знакомство с большой группой молодых поэтов гумилевского кружка. Почти все они, начиная с осени того же года, сотрудничали в «ежемесячнике стихов и критики» «Гиперборее».

Мы помним, сам Г.Иванов временем своего «вступления в литературу» считал предвоенную зиму. Словом, три предшествующих года отнесены им были к своей, так сказать, предбиографии. Творческая биография началась для него с «Горницы» — второго поэтического сборника.

Работа над «Горницей» велась в 1913 г., а весной 1914 г. книга вышла в издательстве «Гиперборей». Сотрудничество в журнале того же названия способствовало укреплению литературной репутации Г.Иванова. Хотя журнал издавался незначительным тиражом (около двухсот экземпляров), он попадал в руки тех литераторов, чей голос имел вес на петербургском

Парнасе. Сотрудничество в «Гиперборее» сблизило Г.Иванова с Осипом Мандельштамом. Кроме того, оно влекло за собой частые встречи с молодыми поэтами, печатавшимися в журнале и собиравшимися у Михаила Лозинского на редакционных пятницах.

В январе 1913 г. Г.Иванов впервые напечатался в «Аполлоне», в том номере, где опубликованы были манифесты акмеистов. Сам же он чрезвычайно высоко ставил этот журнал и публикацию в нем справедливо расценивал как факт признания. Сотрудничество в «Аполлоне» также способствовало расширению круга литературных знакомств, послуживших в дальнейшем материалом для «Китайских теней» и других его мемуаров. Отметим еще и участие в Обществе ревнителей художественного слова, в обиходе известном под именем «Академия стиха». В этот кружок входили Вячеслав Иванов, С.Маковский, В.Недоброво, А.Скалдин, О.Мандельштам, А.Ахматова, А.Блок, Н.Гумилев, В.Гиппиус, В.Пяст, С.Городецкий, А.Кондратьев, Ф.Сологуб, В.Бородаевский и др.

В 1913 г. возник в Петербурге еще один кружок — Общество поэтов, называвшийся также «Физа». На его собраниях встречалось до ста человек, из которых многие были поэтами. Добавим к этому посещаемый Г.Ивановым кружок Ф.Сологуба и еще несколько кружков и салонов, да к тому же встречи с поэтами в редакциях журналов, например в «Северных записках» и в «Лукоморье». И сверх всего — знаменитая «Бродячая собака», где можно было увидеть кого угодно: от Маяковского до Тинякова, от Бориса Садовского до Виктора Шкловского.

Словом, перепатетический образ жизни молодого поэта оказался самым подходящим для будущего летописца литературно-богемной жизни старого Петербурга. Г.Иванов был плоть от плоти этого широкого, но все же замкнутого мира, любил его, был им увлечен, отдавал дань его достоинствам и порокам. «Безумная и веселая» столичная жизнь, блестящий артистический круг и квинтэссенция этой атмосферы, воплотившейся в «Бродячей собаке», — все это скорее вело к «аберрации мировоззрения» (Вл.Пяст), чем к выработке такового.

В 1914 г. закрылись значившие столь много в жизни Г.Иванова «Цех поэтов» (весна 1914 г.) и «Гиперборей» (февраль 1914 г.). В начале войны Гумилев записался добровольцем в уланский полк. Г.Иванов по его рекомендации начинает заведовать в «Аполлоне» отделом поэзии. Картина литературной жизни меняется. В журналах ведущей становится военная те-

ма. Значительную дань ей отдал и Г.Иванов в своем третьем сборнике стихов «Памятник славы». Литературная активность Иванова в это время чрезвычайно велика. В 1914 — 1916 годы он пишет критические стихи для «Аполлона», рассказы для «Аргуса», в журнале «Лукоморье» печатает под своим именем и под псевдонимом множество стихотворений. Его произведения появляются и в других журналах («Нива», «Огонек») и в альманахах «Цевница», «Зеленый цветок», «Петроградские вечера» и др. Добавим к этому участие в обществе «Медный всадник», в кружке «Трирема», Академии стиха, в возродившемся ненадолго «Цехе поэтов», а также в литературных вечерах, например в вечере современной поэзии в Тенишевском училище. Но важнейшим литературным событием 1916 г. был для Г.Иванова выход в свет его четвертого сборника «Вереск», лучшей его дореволюционной книги. Шестнадцатый год занимает особое место в творчестве Г.Иванова. К нему приурочены многие его воспоминания. В этом же году происходит действие романа «Третий Рим». Атмосфера этого последнего года старой России живо и рельефно отразилась в «Вереске», несмотря на ретроспективность многих стихотворений в книге на тему «милой старины», когда все в жизни было «мило и просто» и космос мог показаться уютной, залитой солнцем горницей.

Уже позолота на вялых злаках,
А наша цель далека, близка ли?..
Уже охотники в красных фраках
С веселыми гончими проскакали...

Стало дышать труднее и слаще...
Скоро, о скоро падешь бездыханным
Под звуки рогов в дубовой чаще
На вереск болотный — днем туманным!

Все же в этих стихах слышна тревога. Замкнутый, привычный космос «скоро, о скоро...» будет разомкнут, его смятет леденящий хаос новой эпохи.

«Бывают странными пророками поэты иногда», — писал Михаил Кузмин. Современникам поэтов их пророчества-бормотания чаще всего кажутся невразумительными. Один писавший о «Вереске» критик в своей рецензии (1916) договорился до того, что «чувствовать г.Иванов не хочет намеренно, а мыслить не может». Проницательный Гумилев заметил, од-

нако, важнейшее: «Ведь он (Г.Иванов) по-прежнему слышит ритм, эту творящую волю стиха». А лет через двадцать П.Бицилли писал о том же понравившемся Гумилеву стихотворении «Уж рыбаки вернулись с ловли...»: «Постоянное нарушение основного размера удивительно гармонирует с образами «тревожных волн», «беспокойных ветвей», за которыми «приподнимается» (надо почувствовать этот смысловой оттенок!) луна». В этой своей тревоге, пронизывающей лучшие стихи «Вереска», Г.Иванов оказался тем «странным пророком», о котором писал М.Кузмин. Но здесь следует процитировать стихотворение, о котором с такой щедрой похвалой отзывались Гумилев и Бицилли:

Уж рыбаки вернулись с ловли
И потускнели валуны,
Лег на соломенные кровли
Розово-серый блеск луны.

Насторожившееся ухо
Слушает медленный прибой:
Плещется море мерно, глухо,
Словно часов старинных бой.

И над тревожными волнами
В воздухе гаснущем, бледна,
За беспокойными ветвями —
Приподнимается луна.

Усилиями критиков был создан двоякий образ Г.Иванова: эклектик-эстет до эмиграции и нашедший свой почерк, стиль, голос, лицо принц-королевич поэзии диаспоры. Легенда эта настойчиво повторялась, словно в 1922 г. поэт из Питера отбыл не в Штетин, а на другой берег Стикса и волшебным образом, порвав с прошлым, сразу оказался автором благоуханных, печальных, блистательных и глубоких «Роз». Может быть, эта схема и удобна благодаря своей интригующей мистической дихотомии. Но ничего такого, никакого особенного водораздела между Г.Ивановым петербургским и Г.Ивановым парижским не было. Он включал свои ранние стихи в свои поздние сборники. Многие из них он любил до конца жизни. Стихотворение «Уж рыбаки вернулись с ловли...» он включил без всяких изменений в свою поэтическую книгу, вышедшую в 1937 г.

Однако вернемся на двадцать лет назад. Начало Февральской революции Г.Иванов встретил с энтузиазмом, Октябрьскую же — к чести его — сразу и без обиняков понял как бедствие, несчастье, демонскую стихию. Под советской властью он прожил до своего отъезда пять лет, пережил обыск и арест, потерю друзей; самой трагической была гибель Гумилева, с которым настолько многое было связано в его петербургской жизни — творческой и обыденной, — что вскоре после смерти старшего друга Г.Иванов задумал написать о нем книгу. Замысел не осуществился, но продуманные для этой книги воспоминания нашли воплощение в «Китайских тенях». Вот одна из причин, почему и в «Петербургских зимах» и в собранных нами в отдельный раздел книги «Китайских тенях» так часто говорится о Гумилеве. Гумилев вернулся в красный Петроград весной 1918 г., и для Г.Иванова это возвращение стало большим событием. Отчасти по этой причине, отчасти по причинам, диктующимся художественным темпераментом Г.Иванова, даже в новой действительности, сквозь годы красного террора, голода, бедствий этому поколению петербургских поэтов веял «какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет». Недаром эти стихи Адамовича Г.Иванов взял в качестве эпиграфа к своему первому изданию «Петербургских зим».

В последние свои годы в России, трудные для жизни и для выживания, для деятельности и для искусства, творческая активность Г.Иванова, кажется, не пошла на убыль. В эти годы, когда столь трудно, а порой и невозможно было издать новую книгу, Г.Иванов участвует в поэтических вечерах, читает стихи вместе с Гумилевым и Блоком, переводит с французского и английского для издательства «Всемирная литература», вступает в Петроградский союз поэтов, принимает участие в новом «Цехе поэтов» и самиздатовском журнале «Новый Гиперборей», работает в литературных студиях. Когда же с наступлением нэпа с книгопечатанием становится чуть легче, участники «Цеха» начинают выпускать литературные альманахи. Одновременно Г.Иванов готовит к печати сборник стихотворений «Сады» — творческий итог всех лет, прошедших со времени издания «Вереска». «Сады» — романтическая книга, в чем-то даже изысканно романтическая. В ней присутствует поэтический Восток, воспринятый через русский XIX век и показанный средствами акмеистической поэтики. Но еще точнее, в «Садах» Г.Иванов свободно переходит от романти-

ческих мотивов к классическим и обратно. И этот пафос воспевания старой общечеловеческой культуры находит новую жизнь в стихах, написанных в годы надругания над классическим наследием. Для акмеистов культура в эти годы, по словам О.Мандельштама, стала церковью. Контраст обыденного и вдохновенного, низшей и высшей реальности создает энергетическое поле этой книги:

Обыкновенный день, обыкновенный сад,
Но почему кругом колокола звонят
И соловьи поют и на снегу цветы,
О почему, ответь, или не знаешь ты?

Эта книга — многотемная и полифоническая. Здесь и воображаемые «сады неведомого халифата», и связь с древнегреческой классикой, и тема Петербурга, еще недавно бывшего «нашим все». Евангельские мотивы, греческая мифология, барокко, Оссиан, немецкий романтизм и русский фольклор — все эти культурные традиции прошли через прихотливое мироощущение поэта и создали единое целое, насыщенное жизненными токами и проникнутое широким дыханием песнопевца. Таковы «Сады» в главном своем разделе. Второй раздел состоял из фольклорно-лубочных стихотворений и нескольких других, написанных на тему старинных литографий, гравюр и т.п., более уместных в «Вереске», нежели в новой книге.

«Сады» были лучшей, но не последней книгой, написанной в России. В 1922 г. вышел его сборник «Лампада», представляющий в основном итоги двенадцатилетнего творчества, своего рода «Избранное» из предшествовавших «Лампаде» пяти книг и стихотворений, в свое время не включенных в них. Но в последний свой петербургский год Г.Иванов проявил себя еще в одной литературной ипостаси. Его известность как поэта благодаря «Садам» возросла чрезвычайно. До революции он был в некоторой степени известен и как прозаик — автор печатавшихся в иллюстрированных журналах рассказов. В годы военного коммунизма и в начале нэпа он много работал и как переводчик французской и английской поэзии. Читателям «Аполлона» и «Русской воли» он был известен как литературный критик. Теперь же, разбирая архив Гумилева, он увидел, что именно ему надлежит выступить в качестве редактора-составителя и исследователя творческого наследия погибшего друга. Перед отъездом из России он подготовил к печати гумилевские «Письма о русской поэзии» — своего ро-

да малую энциклопедию поэзии серебряного века, а также «Посмертные стихи» Гумилева. Знакомством с Гумилевым началась фактически литературная биография Г.Иванова, и публикацией гумилевского наследия закончился для Г.Иванова петербургский период его творчества и жизни. Неудивительно поэтому, что Гумилев и его окружение играют столь существенную роль в беллетризованных мемуарах Г.Иванова — как в «Петербургских зимах», так и в «Китайских тенях».

2

Как мы уже писали, в мемуарной литературе о серебряном веке Георгию Иванову принадлежит своего рода первенство. И хотя эта обширная литература не началась с этого писателя, однако трудно назвать запомнившиеся мемуары, написанные до «Китайских теней». Ведь и «Встречи» В.Пяста, и «Полутораглазый стрелец» Б.Лившица, и «Годы странствий» Г.Чулкова создавались позднее, не говоря уже о произведениях, вошедших в золотой фонд мемуаристики,таких, как «Портреты современников» и «На Парнасе серебряного века» С.Маковского, как книги Бунина, Тэффи, Анненкова, Одоевцевой. Позднее, чем Г.Иванов, взялись за воспоминания Цветаева и Ахматова, причем уже будучи знакомыми с его очерками и отталкиваясь от них полемически и эмоционально. Это особенно ясно на примере теперь уже классических мемуаров Пяста. При внимательном чтении его «Встреч» видно, что их замысел кристаллизовался в результате знакомства с воспоминаниями Г.Иванова.

«Китайские тени» Г.Иванов начал писать в середине 1924 г., еще не прожив и года в парижской эмиграции. Из России он уехал осенью 1922 г. Отъезд был бегством из страны «победившего пролетариата». Бегство, впрочем, было легализовано как командировка для составления театрального репертуара. Поселившись в Берлине, где тогда ключом била эмигрантская культурная жизнь, Г.Иванов еще не представлял себе со всей отчетливостью, что командировка окажется более чем затяжной — продлится тридцать шесть лет, до последних мгновений его странствия земного.

Год, проведенный в Берлине, явился временем подведения итогов. Г.Иванов переиздавал свои сборники стихов, участвовал в переиздании альманахов «Цеха поэтов», предпринял усилия продолжить эту и другие «цеховые» традиции. Его

стихотворения, написанные в Берлине, оказались в полном смысле слова «переходными». Их стилистика и поэтика уже не петербургские, но это еще не тот Г.Иванов, который, живя вдали от России, вырос в одного из значительнейших поэтов XX века.

Только переехав осенью 1923 г. в Париж, он окончательно осознал, что транзитное состояние между «там» и «здесь» завершилось, что начинается новый период жизни, открываются новые горизонты творчества. Однако как писатель и как личность Г.Иванов целиком зависел от петербургской атмосферы, и ее исчезновение переживалось им как личная утрата. В этом расположении духа он, естественно, обращается к мемуарам — к роду литературы, к которому эмиграция вообще проявляла особенный интерес и склонность.

Воспоминания начали печататься в парижской газете «Звено» 7 июля 1924 г. С самого начала Г.Ивановым был задуман цикл — серия мемуарных очерков. И с самого начала определился замысел: «быт литературного Петербурга последних десяти — двенадцати лет», то есть с 1910 по 1922 год.

Название очерков, возможно, было заимствовано у Алексея Толстого, который, живя в эмиграции, выпустил в 1922 г. сборник рассказов «Китайские тени». Если заимствование имело место, то оно ограничилось только одним названием. В «Китайских тенях» Г.Иванова все, кроме заголовка, подлинно свое, оригинальное: литературный стиль, мироощущение, герои повествования, манера рассказчика, атмосфера и самый жанр произведений.

В особенности оригинальной, подлинной, блестяще воспроизведенной является атмосфера, живительный воздух предреволюционной эпохи, значительной уже тем, что в этом благодатном воздухе легко и свободно расцветали сотни и сотни талантов. «Позволю себе отослать интересующихся... читателей, — писал в 1926 г. Г.Адамович, — к «Китайским теням» Георгия Иванова, летописи в целом правдивейшей по тону, по духу, по стилю, несмотря на склонность автора к «игре фантазии» в отдельных мелочах». Г.Адамович имел право прийти к такому выводу более чем кто-либо из всей русской эмиграции. Ведь в годы, изображенные в «Китайских тенях», он очень часто встречался с Г.Ивановым и был свидетелем многого из того, о чем мы там читаем.

Одних писателей больше интересуют коллизии, других — характеры, третьих — атмосфера, та незримая канва эпохи, на которой история живописует свои глобальные кризисы и свои

мелочи быта. Целую категорию художников всегда привлекала именно атмосфера, или, скажем, психосфера, лик времени, его индивидуальность, его особенный свет. Недаром Г.Иванов взял в качестве эпиграфа к другим своим мемуарам — «Петербургским зимам» — строфу Г.Адамовича: «...Но брезжил над нами тогда // Какой-то божественный свет, // Какое-то легкое пламя, // Которому имени нет».

До «Распада атома» (1937) Г.Иванов-прозаик по своему писательскому пафосу — собиратель, хранитель, служитель Мнемозины, а следовательно, историк в широком смысле этого слова. Этот исторический пафос виден во всех его главных прозаических произведениях — в романе «Третий Рим», в «Книге о последнем царствовании», в рассказах, статьях, эссе. Тем более этот пафос ощутим в его мемуарных очерках, историчных по самой природе этого жанра. Если творчество Г.Иванова петербургского периода преимущественно проникнуто пафосом созидания (мир как произведение искусства), если его лирика, начиная с «Роз», от книги к книге все более «разрушительная», то в своей прозе Г.Иванов как бы уравновешивает эти два противоположных устремления. Созидательный и нигилистический аспекты его творчества балансируются пафосом сохранения. Даже «Распад атома», его наиболее нигилистическая книга, показывает героя не только в состоянии крайнего отчаяния, но и в исторической перспективе: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?»

Что же привлекает Г.Иванова в истории и в том прошлом, свидетелем и участником которого он был сам? Привлекает его прежде всего «дух мелочей», говоря словами М.Кузмина. Знакомство с Кузминым и даже некоторая подражательность вначале (в ранних стихах) не прошли даром. Позднее он писал о Кузмине иронически. Иронически цитировал кузминский куплет: «Нам философии не надо.// И глупых ссор.// Пусть будет жизнь одна отрада.// И милый вздор». Но ясность, светскость в гуманитарном и гуманистическом смысле слова, интерес к бытовой детали, то, что пленяло в Кузмине, начиная со времени знакомства с ним в 1909 г., по-своему присутствует и в творчестве Г.Иванова. Это не подражательность, скорее параллельность развития, принадлежность к тому же времени и пространству, отчасти к тому же литературному кругу. «Мне часто придется говорить как будто о мелочах и пустяках, — предуведомляет Г.Иванов читателя, — но я думаю, эти мелочи достойны

внимания, если именно они были тем воздухом, которым дышало целое поколение деятелей русского искусства».

Итак, его герой — атмосфера, атмосфера, насыщенная предгрозовым электричеством, в которой очень много озона, в которой легко и глубоко дышится, которая заряжает энергией. Сама эта атмосфера меняется. Неизменным остается Петербург как фон и вместилище красочной мишуры, богемного карнавала, серьезного рядом со смешным, трагического рядом с анекдотичным. Но повествование идет дальше — им охвачены годы военного коммунизма и начало нэпа, но это всегда Петербург, его служители муз, служители по призванию или по недоразумению.

Число характеров, выведенных или упомянутых в этих воспоминаниях, очень велико: А.Ахматова, А.Блок, В.Брюсов, Д.Бурлюк, С.Гедройц, Василий Гиппиус, Василиск Гнедов, С.Городецкий, Н.Гумилев, И.Игнатьев, С.Клычков, Н.Клюев, А.Крученых, М.Кузмин, М.Лозинский, О.Мандельштам, В.Нарбут, К.Олимпов, В.Пяст, В.Розанов, А.Рославлев, И.Северянин, Ф.Сологуб, А.Тиняков, К.Фофанов, В.Хлебников, К.Чуковский, В.Шилейко, Ю.Юркун и др. Присутствуют, причем так, что можно почерпнуть определенные биографические сведения, и писатели, с которыми Г.Иванов имел мало общего, виделся раз-другой, однако оставил несколько примечательных штрихов, как, например, об Уэллсе, Амфитеатрове, И.Ясинском. Словом, персонажей в этой книге десятки, главные же из них, на ком внимание повествователя останавливается чаще и подробнее, — Гумилев и Мандельштам, ближайшие друзья Г.Иванова.

Мы видим в этих очерках, одинаково ярких и в повествовательном и в изобразительном плане, еще одного персонажа — самого рассказчика, причем не в ипостаси надуманного лирического героя или сконструированного «я», но реального Георгия Иванова с его симпатиями и неприязнью, с незлобивым юмором и остро отточенной иронией. Читатель узнает из этих очерков множество подробностей автобиографического характера, а внимательный исследователь сможет разыскать по ним следы замыслов, воплотившихся в других произведениях Г.Иванова. Например, в очерке «Китайские тени», рассказывающем о приемной Луначарского, читаем: «Собственно, пролетариата почти не видно, если судить по платью. Впрочем, вот в углу два не то старших дворника, не то водочных сидельца солидно переговариваются: “Да, эт-то тебе не шутки. Эт-то тебе не вакса”».

Очерк написан в 1927 г. А в 1930 г. именно этим присловьем вводится в повествование герой романа «Третий Рим» Егоров: «“Это тебе не вакса,” — сказал Егоров и окинул соседей веселыми, немного выкаченными глазами, ища поддержки разговору. Егоров, молодой солдат из подмастерьев, всего неделю назад пригнанный из Липецка на Фонтанку, в проходные казармы, целый день шлялся по улицам, был возбужден, весел и радостно озабочен». Итак, началось с присловья, кончилось убийством германского резидента в Петербурге, методично работающего в направлении развала Российской империи.

Или еще пример. В «Китайских тенях», своего рода «физиологическом очерке» о петербургских меценатах, встречается нам некто М. — элегантный петербургский молодой человек. «Он одевался в Лондоне, дружески переписывался с кронпринцем и сочинял сонеты по-испански. После революции он куда-то пропал. И вот совершенно неожиданно я встретил его в 1920 году в засыпанном снегом уездном городе. Он там служил при Наркомпросе и голодал. ...Однажды вечером я проходил мимо его освещенного окна. М. в тулупе, в рукавицах, в бараньей шапке, при свете маленькой коптилки читал. Изо рта его валил пар. В левом глазу сиял монокль — единственное, что у него осталось от Петербурга, заграницы, всей его жизни». Это написано в 1925 г. А в 1933-м Г.Иванов пишет один из лучших своих рассказов «Любовь бессмертна», и в нем главным героем выведен тот же князь М.

В настоящем издании собраны очерки, написанные в течение десяти лет, с 1924 до конца 1933 года. На их примере легко проследить, как в течение времени менялось авторское отношение к самому жанру, его задачам. В ранних очерках — подход более анекдотический; писателя интересует занимательный или красочный «случай». Более поздние очерки — мастерски написанные новеллы. Таковы «С балетным меценатом в чека», «Мертвая голова», «Человек в рединготе». Но и в ранних и в поздних отличительным свойством писательской манеры является острота видения, трезвость взгляда, умение перенести читателя в изображаемую ситуацию, сделать его как бы свидетелем давно исчезнувшего быта и событий. Стиль Г.Иванова-прозаика живой и теплый, свойство его художественного зрения — способность разглядеть колоритное в обыденном.

Манера повествования идет от традиции устного рассказа, с характерными интонациями, но повествование никогда не

переходит в сказ — рассказчик никем себя не подменяет. Как и свойственно устному рассказу, композиция не следует заранее придуманному плану. Она ничем не мотивирована, кроме особенностей памяти. Для устного рассказчика вполне естественное дело перевести дыхание и начать следующий эпизод словами: «Прошел год-полтора». Точно так же переходит от одной сцены к другой и Г.Иванов в своих очерках. В силу этой естественности и остроты зрения, о чем бы ни повествовал рассказчик, воспринимаемый читателем как интереснейший собеседник, видны страна, эпоха, нравы, слышен пульс истории. Скажем, если бы нужно было на хорошем примере показать трагедию русской культуры, из множества свидетельств я бы выбрал в качестве жуткого и потрясающего образца очерк «Чекист-пушкинист».

Труднее говорить о мировоззрении. На первый взгляд его как бы и нет совсем. Неприятие послеоктябрьской чудовищной реальности? Но такое неприятие рефлекторно возникало у каждого обывателя. Охотно и естественно относит себя к числу петербургских обывателей и сам Г.Иванов. Вспомним, что и Пушкин сказал о себе: «Я просто русский мещанин». Свое мировоззрение в «Китайских тенях» Г.Иванов обнаруживает неохотно. Другое дело — мироощущение. Оно очень индивидуально, оно с мучительной остротой воспринимает мир. Вот «небо петербургских окраин». В нем писатель видит «что-то райское и одновременно тюремное» («Мертвая голова»). В этих беглых, случайных признаниях виден поэт, чуткий к «астральным» веяниям. Время от времени у автора очерков проявляется склонность к готической новелле, его интересует загадочное, неведомое, необъяснимое. Но обо всем этом он говорит с легкой иронией, показывающей независимого человека — индивидуалиста с умом открытым, с суждениями непредвзятыми. «Само собой, такое прошлое населяло корпус призраками», — вспоминает Г.Иванов в очерке «Мертвая голова» свои юные годы в кадетском корпусе. В этом «само собой» — весь Г.Иванов-рассказчик с его живой иронией, занимательностью, пародированием банальностей.

О.Мандельштам писал где-то, что акмеизм «мировоззрением не занимался». Воспитанный в «Цехе поэтов», на акмеизме, на хороших западных образцах, на русской культуре в целом, Г.Иванов в своих очерках во всем проявляет вкус и почти всегда — меру. Правда, порой кажется, что автор скользит по поверхности жизни. Но всегда остается привлекательной честность его позиции, может быть просто взгляда, ибо в слове

«позиция» слышится что-то предвзятое, а автор этих очерков по сути своей не идеолог. Он — наблюдатель, наделенный живым умом, человек, ценящий независимость, порядок, удобства, возможность выжить и сделать то, к чему влечет судьба и талант. Ему есть о чем рассказать, и он делает это мастерски и увлекательно, так что, начав читать, трудно оторваться от книги.

Но была ли, собственно, книга? Ни в одном из доступных нам биографических источников нет свидетельств, что в дополнение к своим «Петербургским зимам» Г.Иванов намерен был издать вторую мемуарную книгу. «Петербургские зимы» вышли в 1928 г. и были составлены самим автором из очерков, печатавшихся в эмигрантской периодике. В книгу Г.Иванов включил далеко не все созданные воспоминания, так как многие из них были написаны после выхода книги в свет. Однако не были они включены и во второе издание «Петербургских зим» (1952).

Тридцать один очерк, представленный в настоящем издании, компенсирует этот пробел как в плане знакомства с литературным наследием Г.Иванова, так и в более широком плане мемуаристики серебряного века. Никакое собрание мемуарной литературы о серебряном веке нельзя считать полным без «Китайских теней» и других эссе Г.Иванова, так как они имеют немалую познавательную ценность. Это не означает, конечно, что они свободны от субъективного взгляда автора. Но в конце концов в своих мемуарах Г.Иванов рассказал о том, что видел и пережил сам, а видел он многое из того, что составляет неотъемлемую часть нашей культурной истории.

3

Прозаические жанры в наследии Г.Иванова самые разнообразные — здесь и роман «Третий Рим», и художественное исследование «Книга о последнем царствовании», и поэма в прозе «Распад атома», и беллетризованные мемуары. Наследие это не особенно велико: за исключением писем, оно могло бы составить три тома. Могло бы — однако до сих пор далеко не все найдено, не все собрано, не все переиздано. Разнообразию жанров в наследии Г.Иванова соответствует множественность его литературных амплуа: лирический поэт, переводчик французской и английской поэзии, романист, публицист, ме-

муарист и историк, журналист и критик, редактор и автор предисловий.

Бесспорно, Георгий Иванов прежде всего — большой поэт. Давайте спросим себя: а что, если бы до нас не дошли его стихи, а только лишь проза? Стоило бы ее собирать, изучать, издавать? Ведь есть и были поэты, проза которых не выдерживает испытания временем. С Георгием Ивановым дело обстоит иначе. Рассказы его, написанные шестьдесят лет тому назад, по-прежнему читаются с захватывающим интересом. Правда, нельзя того же сказать о ранних его рассказах, например о «Приключении по дороге в Бомбей». Даже включенные в настоящее издание анекдотические «Акробаты» вызывают у нас некоторое сомнение. Однако сам Георгий Иванов был намерен включить эти рассказы в 1915 г. в задуманную им «Первую книгу рассказов».

Книга эта так и не вышла, хотя в приложенном к поэтическому сборнику «Вереск» объявлении сообщалось, что она «печатается». «Первую книгу рассказов» постигла участь многих других неосуществленных замыслов Г.Иванова — исследования об Александре Полежаеве, книги о Гумилеве, задуманной в 1922 г., книги «портретов выдающихся русских людей» или еще одних воспоминаний, над которыми он начал работать в последние годы жизни.

Начиная с 1914 г. рассказы Г.Иванова публиковались в петербургских журналах — «Лукоморье», «Аргусе», «Огоньке» — и продолжали появляться в периодической печати до самого Октября. После Октября все независимые журналы были закрыты. Печататься стало негде.

Да и Георгий Иванов, живя в годы гражданской войны в Петрограде, рассказов, очевидно, не писал. Он вернулся к этому жанру только в эмиграции, в конце двадцатых годов. Новый интерес к рассказу возник по ходу работы над воспоминаниями. В июле 1924 г. был напечатан в парижской газете «Звено» его первый мемуарный очерк «Китайские тени». Начиная с этого времени жанр художественного очерка стал в творчестве Г.Иванова-прозаика преобладающим. Так продолжалось целое десятилетие. Результатом пристального и любовного внимания к недавнему прошлому, которое уже «никогда не повторится», явились, как мы уже писали, блистательные «Петербургские зимы» (1928).

В процессе работы над воспоминаниями возник замысел романа «Третий Рим», начатый Г.Ивановым в 1928 г. Тогда же был написан рассказ «Жизель», положивший начало «второ-

му новеллистическому периоду» в творческой судьбе писателя. Первый период был относительно коротким — продолжался только четыре года. Второй оказался длиннее. В течение этого времени были опубликованы Г.Ивановым рассказы «Четвертое измерение», «Дама с Бельведера», «Василиса», «Генеральша Лизанька», «Невеста из тумана», «Любовь бессмертна», «Веселый бал». К каждому из этих сюжетов Г.Иванов возвращался позднее, и каждый из упомянутых рассказов, с некоторыми переделками и обычно под другим заглавием, был опубликован еще раз. Так, «Четвертое измерение» (1929) превратилось в «Необъяснимое» (1934), «Жизель» (1928) — в «Эллис» (1933), героиня рассказа «Василиса» стала Авророй, и по ее имени была названа позднейшая версия этого рассказа (1934), «Дама с Бельведера» (1929) стала «Карменситой» (1934), «Генеральша Лизанька» была основательно переработана в новый рассказ под названием «Князь Карабах», напечатанный в рижской газете «Сегодня» в конце 1933 г. Эти примеры позднейших возвращений к прежним сюжетам или просто перепечаток можно было бы умножить. Некоторые произведения, как, например, рассказ «Любовь бессмертна», возникли из сюжетов, ранее мелькнувших в мемуарных очерках Г.Иванова. Были и такие рассказы, как «Невеста из тумана» — единственный сюжет из эмигрантской жизни, — которые остались, насколько нам известно, в единственном варианте. Итак, «второй новеллистический период» длился с 1928 по 1934 г.

Последний раз Георгий Иванов обратился к жанру рассказа в 1950 г., когда стал постоянным сотрудником издававшегося в Париже журнала «Возрождение», для которого и был тогда написан последний рассказ «Настенька».

Как и «Губительные покойники» (первый рассказ в настоящем издании), «Настенька» по праву может быть причислена к так называемой бытовой прозе. Тридцать шесть лет, отделяющих эти два рассказа, показывают, что нравоописательный интерес оказался в прозе Г.Иванова наиболее устойчивым. Это наблюдение представляется особенно важным и неожиданным на фоне тех характеристик, которыми критика вполне справедливо награждала Г.Иванова: декадент, модернист, акмеист, «прóклятый» поэт. Действительно, он — модернист, действительно, его творчество — плоть от плоти серебряного века. В самом деле, его книги «Сады» и «Розы» — сборники утонченной изысканной лирики, которая оказалась бы все же иной, не пройди в свое время русская литература через период

декадентства. И тем не менее последний его рассказ — добротная бытовая проза, своего рода историческая новелла, основанная на семейном предании.

Но быт, о котором мы говорим, в «Настеньке» преображен, слегка романтизирован, повествование ведется с легкой иронией. «Настеньку» одухотворяет стихия языка, где каждое слово — друг автора, любующегося подробностями стародавнего быта. Внешне непритязательный, этот рассказ написан столь мастерски, с таким утонченным и неизменяющим чувством меры, что «Настеньку» можно смело отнести к выдающимся произведениям русской новеллистики XX столетия.

Сюжеты рассказов Г.Иванова всегда построены на любовной коллизии — любовь ведет героя к смерти или трагедии. Эти сюжетные конструкции тесно связаны с мироощущением Г.Иванова-поэта, для которого есть только две вечные лирические темы: любовь и смерть. В стилизованной под девятнадцатый век «Монастырской липе» юная влюбленность ведет героя к смертельной опасности. В «Черной карете» любовная трагедия («страшный удар — неожиданный и невозможный») ведет героя через цепь событий к гибели. Сама любовная трагедия уже была убийством, позднее оно лишь материализуется, предстает во плоти случайно подвернувшегося грабителя.

Начиная с «Жизели», место главного героя занимает «роковая женщина». Она непременно демонична, таинственна, так или иначе связана с миром темных сил. Основная ткань рассказа по-прежнему остается бытовой. Но три силы расцвечивают эту ткань. Во-первых, это игра случая, затем неведомая мистическая сила (что-то непонятное, странное и грозное, что-то, чему, по словам поэта, «есть причина и нет объяснения») и, в-третьих, — некое слияние сна и реальности. Это последнее свойство мы видим во всем художественном прозаическом наследии Г.Иванова — в романе, мемуарах, рассказах. В «Петербургских зимах» это свойство даже подчеркивается: «Есть воспоминания — как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь, — где воспоминания, где сны». Именно отсюда происходит некоторая «фактическая» недостоверность его мемуаров, но отнюдь не из желания кого-то обелить, кого-то очернить, как это свойственно столь многим мемуаристам. Цель Г.Иванова-прозаика — верно воспроизвести атмосферу, психологический климат, а не только фотопортрет персонажа. Его мемуары — это проза художника, а не

бухгалтера, поставившего на учет каждое слово «великого» человека, случайно оказавшегося под боком. Как и в мемуарах, границы сна и реальности размыты и в зрелых рассказах. Столь же размытыми оказываются порой и границы жанров. Некоторые его мемуарные очерки читаются как настоящие, законченные, написанные рукою мастера рассказы. С другой стороны, в его рассказах много конкретного мемуарного материала. Проза Г.Иванова свободна от выдумки — ему как писателю всегда были нужны реальные прототипы. И напротив, его мемуары оказались не свободными от выдумки, поскольку главным их героем была атмосфера эпохи, написанная с несравненной верностью, — лучше уж, возможно полагал писатель, деформировать факт (тем хуже для факта, если он «не работает» на атмосферу эпохи).

Итак, Г.Иванов-рассказчик, художник пишет свои картины на «бытовой» канве, а основные краски его палитры — роковая любовь и рядом с ней неотвратимая смерть. Глубины психологии занимают его мало — меньше чем зримые подробности времени и места. Психологию человека он не анализирует в развитии, но показывает уже сложившейся. «Болевой центр» его рассказов часто отнесен в сферу неведомого, а в мире известного закономерно царит случай. Как бы ни казалось это парадоксальным, но в мире Г.Иванова случай закономерен. Случайность неотвратима, ибо сама действительность есть полоска твердой суши, омываемая двумя океанами: с одной стороны, неуправляемая стихия сна, врывающаяся в нашу дневную реальность; с другой — стихия неведомого, нередко проявляющаяся демонически. Между этими двумя стихиями благодатным является творчество, какой-то особенный свет, которым художник освещает все, к чему прикоснулась его рука. Рассказы Г.Иванова — большей частью умные и удавшиеся попытки поделиться с читателем духовным опытом жизни. Начиная с «Жизели», все его рассказы написаны рукой опытного художника. Применительно к ним можно повторить слова Романа Гуля, сказавшего о «Петербургских зимах»: «Самому требовательному читателю его «перо» доставит истинное удовольствие».

Вадим Крейд


Мемуары

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (1)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

Тема моих очерков — быт литературного Петербурга последних десяти-двенадцати лет.

Год наибольшего расцвета и напряжения этой жизни, «последняя зима перед войной», был годом моего вступления в литературу. С нее я и поведу свой рассказ. Поневоле я вынужден его начать с круга узкопоэтического, постепенно расширяя границы впечатлений и встреч. Еще мне часто придется говорить как будто о мелочах и пустяках; но я думаю, эти мелочи достойны внимания, если именно они были тем воздухом, которым дышало целое поколение деятелей русского искусства. Как был живителен этот воздух и как нам теперь его недостает, знает каждый поэт или художник, когда-то им дышавший.

«Гиперборей»

Зимою 12-го — 13-го года каждую пятницу в квартире М.Л.Лозинского на Тучковой набережной происходили собрания «Гиперборея».

«Гиперборей» — «ежемесячник стихов и критики», как значилось на титульном листе, был маленький журнальчик — 32 страницы в восьмую долю. Печаталось экземпляров двести. Расходилось... хорошо, если четверть. Были, впрочем, и подписчики. Однажды редактору-издателю Лозинскому кто-то сказал: «Послушайте, как запаздывает ваш журнал; сейчас май, а январская книжка еще не вышла. Что подумают подписчики?» Лозинский сделал серьезную мину: «Вы правы. Действительно неудобно». Вдруг лицо его прояснилось: «Ну ничего — я им скажу».

Подписчики вместе с сотрудниками собирались по пятницам в большом кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и огромным окном на Малую Невку, Тучков Буян, бесконечный ряд парусников и барок на фоне красного зимнего заката. Пили чай, курили. Сначала приходила мелкота —

совсем молодые поэты, разные студенты, «интересующиеся», но скрывающие, что «они тоже пишут». Мэтры прибывали позже, по-генеральски.

Из внутренних комнат появлялся хозяин дома. Статный, любезный, блестяще остроумный, он имел дар очаровывать всех — и случайного посетителя, и важного гостя, какого-нибудь профессора или знаменитого иностранца (заплывали в «Гиперборей» и такие).

* * *

Когда ожидалась новая книжка журнала или корректура, все немножко волновались. Особенно те, конечно, чьи стихи должны были увидеть свет. Уже шестой час, а Лозинского все нет — задержался в типографии. Но вот скрип двери, шорох портьеры.

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской,
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя.

Так описал этот выход в шуточном стихотворении «По пятницам в «Гиперборее» Василий Гиппиус, тогда студент и начинающий поэт.

* * *

С царскосельским поездом приезжали супруги Гумилев и Ахматова. Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мецената», который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки или шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вел какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владимир Нарбут потом требовал себе медали за спасение по-

гибающего. Он уверял, что пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта.

* * *

Городецкий часто приводил с собой какой-нибудь новый талант «из народа». Он очень любил их разыскивать. Но дара на это у него не было. «Таланты» попадались один другого хуже. Единственным открытием Городецкого в те времена, тоже довольно сомнительным, был С.Клычков, но Городецкий не унывал. Он не унывал никогда и ни в чем, брался за все весело и с каким-то детским жаром. Эта легкость, эта постоянная беспечная улыбка и пленила, должно быть, Гумилева и была основой их недолгой дружбы и недолгого литературного союза.

Союз, в сущности, был совершенно неестественный. «Европейца» Гумилева и стройную теорию его акмеизма Городецкий со своим русским жанром дешевого пошиба только компрометировал. Ни стихов Городецкого, ни его статей никто, даже самый неопытный из нас, не принимал всерьез. Но в нем самом было что-то чрезвычайно милое и привлекательное. Таким он и остался.

* * *

Центральной фигурой гиперборейских собраний был, конечно, Гумилев. В длинном сюртуке, в желтом галстуке, с головой почти наголо обритой, он здоровался со всеми со старомодной церемонностью. Потом садился, вынимал огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, закуривал. Я не забуду ощущение робости (до дрожи в коленях), знакомое далеко не мне одному, когда Гумилев заговаривал со мною. В те времена я уже был с ним на «ты» и формально на товарищеской ноге, но это «ты, Николай», увы, сильно походило на «Ваше Превосходительство» в устах только что произведенного подпоручика.

* * *

Новая книжка «Гиперборея» в цветной обложке с елизаветинским набором роздана сотрудникам и гостям. Счастливые авторы жадно рассматривают свои стихи. Есть и огорчения. Седая дама мужественного вида, врач царскосельского госпи-

таля, друг императрицы, княжна В.И. Гедройц краснеет, как девочка, от обиды. Редакция своей властью сократила ее стихи. Но Гумилев подходит к ней. «Вера Игнатьевна, — важно цедит он сквозь зубы, — не правда ли, ваши стихи выигрывают в таком виде». Голос мэтра словно гипнотизирует ученицу, в два раза старшую годами, чем он. И она отвечает: «Да, Николай Степанович». Она уже забыла свое негодование, уже согласна и довольна.

* * *

Когда все в сборе, коллегия, т.е. Гумилев, Городецкий и Лозинский, удаляется в соседнюю комнату на редакционное совещание. Здесь решается судьба стихов, безжалостно мараются рецензии, назначается день ближайшего цехового собрания. Сотрудники вызываются иногда в это святилище — по большей части для какого-нибудь разноса. Однажды на самых первых порах своего участия в Цехе я тяжко провинился, поместив стихотворение в футуристическом сборнике. И право, я вошел в столовую, где заседала «коллегия», с таким чувством, точно испанская инквизиция будет меня судить. Дело обошлось — я написал письмо в редакцию о «досадном недоразумении». Бывали случаи и посерьезнее. Я помню, как поэт Н.А.Бруни, очень милый застенчивый мальчик, вышел оттуда красный, как кумач, со слезами на глазах. Коллегия постановила исключить его за писание плохих стихов. Стихи действительно были очень плохи.

* * *

Чай допили, пепельница завалена окурками, в чинном кабинете беспорядок и дым. Гумилев встает: «Мне пора». Вслед за ним поднимаются все остальные. Гурьбой идут по лестнице, гурьбой подходят к «ручке» Ахматовой. Уже застегивая полость саней, Гумилев бросает: «Жоржик, я жду тебя завтра». «Осип, не забудь принести мне моего Верлена». «До свиданья, господа». «Господа» идут по пустой набережной, засыпанной снегом, тускло освещенной газом. Заветный номер «Гиперборея» в кармане. Что-то скажут там о моих новых стихах?

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (2)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

«Античные глупости», «Транхопс», «Жора» — так назывались эти стихи. Они сочинялись, вернее, импровизировались повсюду — в «Бродячей собаке», на извозчике, в редакции, после революции — в Доме литераторов или во «Всемирной литературе»*. Это не пародии, по крайней мере — лучшие из них. Эпиграммы? — Иногда. Чаще же всего это «несерьезные стихи, написанные вполне серьезно». В этом их очарование и превосходство над профессиональной юмористикой. Покойный Н.Гумилев чрезвычайно ценил этот жанр, даже переоценивал, пожалуй. Так, незадолго до смерти он серьезно уверял одного своего друга, автора прославившейся в те дни (на неделю, разумеется) баллады, что охотно отдал бы все им до сих пор написанное — от «Романтических цветов» до «Костра» — за дар «Транхопса». Н.С. Гумилев этого дара не имел. Писали другие. Н.С. же был главным критиком и знатоком этих oeuvre'ов, повторяю — даже пристрастным. Достаточно сказать, что сравнения с такими мэтрами острословия, как Козьма Прутков и Теодор де Банвиль, неизменно делались им в пользу наших «Античных глупостей».

Настоящий очерк есть маленькая антология того, что осталось в моей памяти. Никто этого не записывал, тем более не печатал, и многое погибло. Из того, что осталось, не все, к сожалению, сохранит для широкого читателя первоначальные соль и смысл. Где можно, я даю краткие пояснения. Авторами печатаемых ниже стихов, часто коллективными, являются М.Л. Лозинский, О.Э. Мандельштам, пишущий эти строки, реже Вл.Пяст, В.Зоргенфрей и В.Шилейко**.

---

* Основанное М.Горьким издательство, где работали и кормились все петербургские писатели в голодные 1918 — 1920 годы. — *Прим. авт.*

** Шилейко В.К. — поэт, профессор археологии. — *Прим. авт.*

I

АНТИЧНЫЕ ГЛУПОСТИ

Наиболее прославленные, из стихов этого рода, по заданию должны были соединять классическую простоту формы с истинно античной просветленно-глубокомысленной глупостью.

Лесбия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина! Ты солгала: в них я покоился сам.

* * *

Ветер с окрестных дерев срывает желтые листья.
Лесбия, о погляди — фиговых сколько листов!

* * *

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице —
Той же стезей ввечеру он возвратится назад.

На М.Л. Лозинского:

Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны.
Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей.

* * *

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей угощая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».

На В.К. Шилейко:

Путник, откуда идешь? — Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек. Смотришь — не веришь очам:
В бархатном кресле сидит. За обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, молю, объясни — кто же живет на Восьмой?

II

Стихи Мандельштама, написанные о самом себе. Здесь в несколько приподнятом стиле описываются семейные неприятности поэта. К сожалению, помню только отрывок:

В девятьсот двенадцатом, как яблоко, румян,
Был канонизирован святой Мустамиан.*
И к неувядаемым блаженствам приобщен
Тот, кто от чудовищных родителей рожден.
Серебро закладывал, одежды продавал,
Тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят люди палками того, кто наг и нищ.
Охраняют граждане добро своих жилищ.

III

Надпись к портрету художника Натана Альтмана. Читается с немецким акцентом.

Эт-то есть художник Альтман.
Отшень старый шеловек.
По-немецки значит Альтман
Отшень старый шеловек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век —
Оттого он невеселый,
Отшень старый шеловек.

IV

«Жора». Особый род стихов, изобретенный В.Шилейко. В каждой строке должно быть сочетание слогов «жо-ра». Остальное — по вкусу автора. Желавшие написать «жору» должны были испрашивать у Шилейко разрешение, даваемое с разбором. Так, у меня Шилейко потребовал письменного согласия родителей. «Но мой отец умер». — «Это меня не касается», — ответил изобретатель «жоры» — и не разрешил.

---

* От Мустамяк в Финляндии, где описываемые события происходили. — *Прим. авт.*

«Жор» было написано много. Вот образчики:

Обжора вор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
«Обжора, — закричал капрал, —
Ужо расправа будет скоро...»

Другая, помню, начиналась так:

Свежо рано утром. Проснулся я наг.
Уж орангутанг завозился в передней...

V

Покойному Н.И. Кульбину, действительному статскому советнику, мистику и дилетанту-футуристу, из ресторана «Вена» была отправлена с посыльным записка:

В мистических кругах известно всем,
Что лучшая из цифр есть цифра семь!

Ответ Кульбина гласил:

Известно мистику и должно знать поэту,
Что лучше тройки цифры нету.

К письму была приложена трехрублевка.

VI

Период революционный, 1919—1921 гг. Альбом Розы. Роза — старая толстая еврейка, неизвестно как и с чьего разрешения появившаяся во «Всемирной литературе» и продававшая сотрудникам в кредит съестное, табак и пр. Вся ее сила была в кредите — товары были ужасные, цены мародерские. Сидела она, окруженная своими товарами, напротив кассы, так что получающий деньги ускользнуть от нее никак не мог.

На что нам былая свобода,
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь, —

писал В.Зоргенфрей. Эта Роза по собственному почину завела альбом и всех своих клиентов заставляла ей что-нибудь написать. «Что вы думаете, через сто лет мой альбом будет стоить агромадные деньги», — говорила она. Роза была требовательна, любила мадригалы галантного стиля, вроде этого:

Печален мир. Все суета и проза.
Лишь женщины нас тешат да цветы.
Но двух чудес соединенье ты:
Ты женщина! Ты роза!

Мандельштам, самый безнадежный из ее должников, осмелился ей написать:

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч:
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

VII

Какой-то комиссариат или комитет выпустил афишки популярно-научно-атеистического содержания. Картинка, под ней стишки — и то и другое очень глупое. Это вызвало подражание:

Видел каждый человек
Солнце, звезды, воду, снег.
Но не каждый понимает,
Что все это означает.
Например: и в час грозы,
И в тихую погоду
Разнообразные газы
Образуют воду.
Блещет так, что дрожь берет,
Камень драгоценный,
Между прочим, углерод
Он обыкновенный.
Человек и перья птиц,
Водка и карета —
Из одинаковых частиц
Состоит все это.
Хоть всего не описать,
Да и не нужно много,
Чтоб научно отрицать
Существованье Бога.

VIII

Издательство «Петрополис» издавало наши книги с изяществом, редким не только для революционного, но и для обычного времени. Черная неблагодарность сотрудников к заботам о внешности их книг, проявляемым главой издательства Я.Н.Блохом, выразилась в посвященной ему балладе:

На Надеждинской жил один
Издатель стихов,
Назывался он господин
Блох.
Всем хорош был... Лишь одним он был
Плох.
Фронтисписы слишком полюбил
Блох.
Фронтиспис его и погубил.
Ох!
Труден издателя путь, и тяжел, и суров, и тернист,
А тут еще марка, ex-libris, шмуцтитул, и титул, и титульный лист.
Книгу за книгою Блох отправляет в печать —
Издал с десяток и начал смертельно скучать.
Добужинский, Чехонин не радуют взора его,
На Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво.
И шепнул ему дьявол однажды, когда он ложился в постель:
«Яков Ноевич, есть еще Врубель, Бирдслей, Рафаэль».
Всю ночь Блох фронтисписы жег,
Всю ночь Блох ex-libris'ы рвал,
Очень поздно лег,
С петухами встал.
Он записки пишет, звонит в телефон,
На обед приглашает поэтов он.
И когда собрались за поэтом поэт,
И когда принялись они за обед,
Поднял Блох руку одну,*
Нож вонзил в бок Кузмину.
Дал Мандельштаму яду стакан,
Выпил тот и упал на диван.
Дорого продал жизнь Гумилев,

---

* «Поднимает лошадь ногу одну» (И.Одоевцева). — *Прим авт.*

Умер, не пикнув, Жорж Иванов.
И когда покончил со всеми Блох,
Из груди его вырвался радостный вздох,
Он сказал: «Я исполнил задачу свою:
Отделенье издательства будет в раю —
Там Врубель, Ватто, Рафаэль, Леонардо, Бирдслей,
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей».

Это и есть баллада, так пленившая покойного Н.Гумилева.

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (3)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

1

Гумилев ушел осенью 1914 года добровольцем на войну. Сначала вольноопределяющимся лейб-гвардии уланского полка, потом офицером александрийского (гусары смерти); он всю кампанию до Февральской революции пробыл на фронте.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
И святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Это биографически точно. Гумилев участвовал во многих боях, заработал два Георгиевских (солдатских) креста и ни разу не был ранен: «Кому суждено...»

Два-три раза за это время Гумилев приезжал ненадолго в Петербург в отпуск. В последний свой приезд — в конце 1916 — начале 1917 года — он казался грустным: шел третий год войны, она стала затяжной и обыденной. На смену романтике кавалерийских атак пришло сиденье без конца во вшивых окопах. Гумилеву стало скучно. Тут произошла революция, подвернулся удачный случай, и Гумилев уехал в командировку в Салоники.

Но до Салоник он не доехал: октябрь 1917 года застал его в Париже. За границей Гумилев прожил больше года, сперва в Париже, потом в Лондоне. «Демобилизованный» событиями, он с жаром принялся за стихи. Тут была написана целиком большая драматическая поэма «Отравленная туника» и очень много стихов. Весной 1918 года Гумилев собрался в Россию. Он так рассказывал о своем отъезде: «Нас было несколько человек русских офицеров, застрявших случайно в Лондоне. Однажды, собравшись в кафе, мы как-то сразу и все вместе решили, что делать нам здесь больше нечего, надо уезжать. Стали решать куда. Одни говорили в Африку — стрелять

львов, другие — продолжать войну в иностранных войсках. «А вы, Гумилев, куда?» Поэт ответил: «Я повоевал достаточно и в Африке был уже три раза, а вот большевиков никогда не видел. Я еду в Россию, — не думаю, чтобы это оказалось опасней охоты на львов».

Увы, это оказалось опасней!..

2

Летом 1918 года Гумилев уже был в Петербурге. Он приехал с двумя фунтами стерлингов в кармане. Имение его было конфисковано. Дом в Царском Селе заселен. Но он не растерялся, как не терялся никогда.

«Теперь меня должна кормить поэзия», — сказал он мне в одну из наших первых встреч в те дни. Я улыбнулся его самонадеянности: поэзия и во времена более благополучные была плохой «кормилицей». «Может быть, и должна, — сказал я, — только вряд ли она тебя прокормит».

Гумилев стал хлопотать. Он добился кредита в какой-то типографии, напечатал свои новые книги — «Костер», «Фарфоровый павильон», переиздал старые — «Романтические цветы», «Колчан», «Чужое небо», и через месяц, встретив меня, он сказал, самодовольно улыбаясь:

— Вот видишь, я живу с молодой женой (он только что женился на А.Н. Энгельгардт), вожу ее в балет, покупаю ей пирожные (высшая роскошь в те дни) и икру, и все это — на доходы с моих книг.

Я его поздравил, но, конечно, все это, т.е. пирожные и икра, долго не продолжалось: деньги кончились, издавать дальше было нечего.

3

Осенью 1918 года М.Горьким и А.Тихоновым было основано на казенный счет издательство «Всемирная литература». О издательстве этом стоит поговорить отдельно и подробно. Его значение очень велико — и тем, что добрая сотня русских писателей спасена им от голодной смерти (академические пайки появились много позже, года через полтора), и благодаря ряду превосходных переводов, им изданных или приготовленных к печати. Техника перевода, в частности стихотворного, была поднята «Всемирной литературой» на небыва-

лую у нас до сих пор высоту. Например, из переводов известного брокгаузовского издания Байрона, считавшегося еще недавно классическим, в издании «Всемирной литературы» было оставлено много если четверть — остальное признано неудовлетворительным и переведено заново. Эта работа пришлась очень по душе Гумилеву. Он стал редактором отделов французской и английской поэзии и без устали редактировал и переводил.

Вскоре при «Всемирной литературе» образовалась студия переводчиков. Руководил ею, разумеется, Гумилев. Слушатели ее, все начинающие поэты, естественно, вскоре перешли от переводов на стихи свои собственные. Несколько раз в течение 1918—1921 гг. эта студия распадалась и вновь организовывалась. Чуждые элементы отходили, зато крепло основное ядро. Это были люди молодые, восторженные, очень преданные поэзии, но особенно даровитых среди них не было. Я сказал как-то Гумилеву об этом. Он ответил:

— Что же, если я их не сделаю поэтами, я, во всяком случае, научу их быть хорошими читателями наших стихов.

Пожалуй, он был прав. До сих пор собрания «Звучащей раковины» — так называется кружок бывших студентов Гумилева — одно из наиболее приятных и культурных мест литературного Петербурга.

4

Гумилев прожил все эти годы (только за месяц до смерти он переехал в Дом искусств) в д. ном. 5 по Преображенской улице, в квартире его друзей Ш., куда-то бежавших. Квартира была довольно трепаная и старая, обставленная чем попало, но Н.С. ее очень любил. Свое холостое хозяйство (Анна Николаевна с ребенком жила в деревне) он вел весело и самоуверенно. Он любил приглашать к себе кого-нибудь из друзей обедать и с церемонной любезностью потчевал его пшенной кашей и жареной селедкой. Если обедала дама, Гумилев обязательно облачался во фрак и белый жилет и беседовал по-французски. Я помню много таких вечеров. Я часто оставался на Преображенской ночевать, иногда оставался еще кто-нибудь из общих друзей. У печки в передней, превращенной в маленький кабинетик, мы далеко за полночь читали стихи, спорили, говорили о своих любовных делах. Гумилев был

всегда влюблен. Он серьезно не понимал, как может быть иначе. Поэту быть влюбленным еще важнее, чем путешествовать или воевать, говорил он.

5

В один из таких вечеров с нами сидел Мандельштам, два года пропадавший в занятом белыми Крыму и неожиданно появившийся в Петербурге, как ни в чем не бывало. Он читал новые чудесные стихи, потом вошедшие в «Tristia», и рассказывал свои приключения у белых, где его арестовали за коммунизм (он действительно участвовал в каком-то коммунистическом съезде, происходившем для конспирации... на пляже во время купания) и чуть не расстреляли. Однако смилостивились и отправили в Грузию. В Грузии его в свою очередь хотели расстрелять уже безо всякой вины. Какие-то грузинские поэты его спасли и

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи, точно в Царском в дни первого «Цеха».

Мандельштам, напуганный своими недавними арестами, очень волновался, как ему легализироваться, т.е. достать советский паспорт — труд. книжку.

— Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь удостоверение личности. Есть ли оно у тебя?

— Есть, есть, — радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то штабом или градоначальством... генерала Врангеля.

6

Гумилев часто говорил мне, что вполне доволен своей нынешней судьбой и не согласился бы отдать свою студию и редакционную коллегию «Всемирной литературы» в обмен на прежнюю обеспеченность. Но с деньгами у него часто бывало очень туго, несмотря на «академический паек» и гонорары. На руках его, в Бежецке Тверской губ., была жена, двое детей,

мать и еще какая-то старая тетка. Иногда он ненадолго уезжал к ним и рассказывал потом забавные истории своих путешествий. Например, однажды в теплушке он встретил бывшего конюха из своего имения. Пришел контролер, и знакомый Гумилева оказался безбилетным. Сейчас же нагрянули разные власти составлять протокол и арестовывать «зайца». Это была для пойманного нешуточная неприятность, грозившая месяцем, а то и двумя принудительных работ. Гумилев его спас. Он не допускающим возражений тоном (как только он один умел) обратился к начальству:

— Освободите этого человека, я председатель, за него ручаюсь.

И с важным видом показал «мандат», удостоверяющий, что податель сего является... председателем петербургского Союза поэтов. И что же — подействовало. Власти почтительно повертели бумажку и отпустили конюха.

7

Петербургский Союз поэтов был основан в 1920 году, значительно позже, чем московский и многие провинциальные. Сама идея «профессионального союза поэтов», конечно, довольно праздная. Поэтов слишком мало, чтобы организовать их в союз, и какие у них «профессиональные» интересы? Но кто-то этой идеей увлекся, стал хлопотать, было собрано, как водится, общее собрание, выбран президиум во главе с А.Блоком, и петербургский Союз стал существовать. Первое его выступление было крайне неудачным и художественно и материально — вечер Сергея Городецкого в Городской Думе, на который пришло десять человек.

Первый состав президиума держался недолго; вместо Блока председателем стал Гумилев. Блок правил «конституционно», Гумилев стал править «диктаторски». В поэтических делах последнее оказалось вернее — Гумилев остался председателем до самой своей смерти.

Как и во все, чем он занимался, Гумилев внес энергию и настойчивость даже в эту «литературную канцелярию». Он организовал ряд вечеров, нашел и получил большое помещение, открыл в нем клуб (Дом поэтов), действовавший очень оживленно. Там (нэп еще едва начинался) мы устроили нечто вроде «Бродячей собаки» былых времен, собирались три раза в неделю, читали стихи, танцевали,

разыгрывали пьесы, тут же сочиненные. Помню одну из них: действие происходит в Фиуме. К Габриэлю д'Анунцио (Гумилеву) приводят сербского офицера, главу заговора против фиумского диктатора Д'Анунцио велит его расстрелять. Но офицер оказывается сыном Элеоноры Дузе. Д'Анунцио потрясен — как быть?.. Не помню уже конца, должно быть, он был такой же вздорный, как и начало, но и зрители и актеры были очень довольны. К тому же разыгрывалась она «кинематографически», и оператор, он же конферансье, часто менял темп картины, переходя от медленного к очень быстрому. Во время одного из таких переходов д'Анунцио свалился вместе со своим пышным троном в публику и порядочно расшибся.

8

Гумилев лелеял очень много замыслов. Каждый из них требовал нескольких лет работы, но его ли это могло смутить? Он хотел написать «L'art poetigue» и рассчитывал, что это будет 5 томов по 300 страниц каждый, писал поэму «Дракон». Темой ее были баснословные времена, участниками — драконы и первобытные жрецы. Она тоже должна была составить не то два, не то три тома.

— Но это будет очень скучно, — сказал я как-то Гумилеву.

— Вероятно.

— Но тогда твоей поэмы никто не прочтет.

— Что ж такого, зато когда-нибудь ее заставят зубрить гимназистов.

Гумилева еще очень тянуло писать прозу. Проза ему плохо удавалась. Он сам это понимал, но, цитируя строфу Теофиля Готье в собственном переводе,

Чеканить, гнуть, бороться,
И зыбкий сон мечты
Вольется
В бессмертные черты, —

он надеялся «добиться своего» и от прозы.

Совсем незадолго до смерти Гумилева я рассказал ему историю, где-то мною прочитанную, о шхуне, вышедшей из какого-то американского порта и найденной потом в открытом

море. Все было в порядке, спасательные лодки на месте, в столовой стоял сервированный завтрак, вязанье жены капитана лежало на ручке кресла, но весь экипаж и пассажиры пропали неизвестно куда. Гумилева очень пленила эта тема, он хотел писать на нее роман и придумал несколько вариантов, очень любопытных.

9

Было начало августа, была теплая светлая ночь. Мы шли из Дома поэтов с Литейного мимо Летнего сада и Марсова поля домой. Я жил на Почтамской, Гумилев — на Мойке в Доме искусств. Гумилев был очень весел: только что была решена постановка его поэмы в стихах «Гондла» — что очень его радовало. У ворот Дома искусств мы поцеловались, как обычно. «До завтра». Но ни завтра, ни никогда мы не увиделись больше. На другой день вечером я заходил к Гумилеву, но его не было дома, а наутро меня разбудил телефонный звонок. Гумилев арестован.

Последняя весть от него была открытка, полученная за два дня до смерти: «Не беспокойтесь обо мне. Я чувствую себя хорошо, играю в шахматы и пишу стихи. Пришлите табаку и одеяла...»

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (4)

(Литературный Петербург 1911 — 1921)

Петербургские редакции делились на две неравные части: журналы толстые, «идейные» и другие, более легковесные и по содержанию и по объему. О первых рассказать почти нечего. Солидная скука очередного номера «Вестника Европы» или «Современного мира» царила и в редакционных помещениях. Большая пропыленная унылая квартира, бородатые сотрудники в очках, жидкий чай с лимоном и в редакционном кабинете — «известный критик и публицист».

Каждая редакция такого рода была в мнении их руководителей храмом, оплотом и т.п. В одном священнодействовал Иванов-Разумник, в другом — Львов-Рогачевский, в третьем — Овсянико-Куликовский. Между собой редакции глухо враждовали и на сотрудников, печатавшихся и там и там, смотрели косо.

Другое дело были редакции прочие. Здесь было бесконечное разнообразие особей и видов, нравов и вкусов. И конечно, очень много забавного.

* * *

Шебуев, прославившийся своим «Пулеметом», где на последней странице был воспроизведен октябрьский манифест с отпечатком кровавой руки («свиты Его Величества генерал-майор Трепов руки приложил»), отсидев в тюрьме сколько полагалось, — почувствовал себя эстетом. Это было и спокойней и более соответствовало вкусам публики — политика надоела. Но как соединить служение чистому искусству с бездефицитностью? Шебуев придумал. Он открыл «Весну».

«Весна» был журнал страниц в 16, формата большой газеты, сложенной наполовину. На обложке была марка, голая дама, опутанная лилиями и девизами об исканиях и красоте. Формат журнала, повторяем, был очень большой. Шрифт, напротив, самый убористый и мелкий. И сплошными столбцами

шли стихи, стихи и стихи, напечатанные тесно, как объявления о кухарках. Были и рисунки и рассказы, конечно, но их подавляли стихи без счету.

Несколько десятков авторов в номере, несколько сот стихотворений.

Идея, пришедшая Шебуеву, была не лишена остроумия — объединить графоманов. Из тысяч «непризнанных талантов», во все времена осаждающих редакции, Шебуев без труда выбирал стихи, которые можно было печатать без особого позора. Естественно, журнал «пошел». Поэты, которых он печатал, подписывались на журнал, распространяли его и раскупали десятки номеров «про запас». Другие, менее счастливые, тоже подписывались, не теряя надежды быть напечатанными, по «исправлении погрешностей размера и рифмы», как им советовал «Почтовый ящик "Весны"». Самые неопытные и робкие, не мечтающие еще о «самостоятельном выступлении» — таких тоже было много — раскупали «Весну» в свою очередь. Для них главный интерес сосредотачивался на отделе «Как писать стихи». Вел его, понятно, сам Шебуев. Под его руководством восторженные и терпеливые ученики перелагали «Чуден Днепр при тихой погоде» последовательно в ямб, хорей, дактиль, потом в рондо, газеллу, сонет. Все это печаталось, обсуждалось, премировалось, и число «наших друзей-подписчиков» неуклонно росло. Анкеты «Весны» о «Наготе в искусстве» и т.п. тоже привлекали многих. Набор и скверная бумага стоили недорого, гонорара, конечно, никому не полагалось.

Но вряд ли Шебуевым руководил денежный расчет. Я думаю, он ничуть не притворялся, изливаясь на страницах «Весны», как дорога ему пестрая аудитория его «весенних» (так он их звал) поэтов и художников. Стоило поглядеть на его фигуру в рыжем пальто и цилиндре, на его квартиру, полную ужасных «Nu» и японских жардиньерок, прочесть какую-нибудь его «поэму в прозе» или выслушать из его уст очередную сентенцию о «красоте порока», чтобы понять, что в этом море пошлости и графомании он не самозванец, а законный суверен.

* * *

«Нива». Сотни тысяч подписчиков во всех углах России. Самый популярный из журналов. В каком имении средней руки не висела в гостиной «роскошная олеография в 24 краски» — бес-

платное приложение к «Ниве» — «Бабушка с внучкой» или «Замок в Шотландии»? В чьей библиотеке не было Тургенева или Достоевского, потом, когда «хорошие писатели» все вышли, Вересаева или Л.Андреева тоже в «роскошных коленкоровых переплетах». Недаром в России издается «Красная Нива». Госиздат «правильно учел» вес этого имени в уме русского обывателя. «Нива» звучало гордо. Влияние ее, и прекрасное и дурное, было очень велико. Вместе с Тургеневым и Достоевским насаждалась «История русской литературы» Полевого, где почтительным внуком было отведено братьям Полевым («Нет глупее до Алтая Полевого Николая и подлее нет от Понта Полевого Ксенофонта») столько же места, сколько Гоголю и Пушкину. Насаждались «роскошные олеографии» и коленкоровые крышки, и редактор «Старых годов» Вейнер рассказывал, что даже им получались требования о коленкоровых переплетах (для «Старых годов»!..).

Глубокое почтение к «Ниве» было даже в сравнительно культурных кругах. Мой б. корпусный воспитатель Жерве, видный военный писатель, помню, спрашивал меня, говоря о моих литературных занятиях: «Нет, что «Аполлон». Но скажи, как ты решился первый раз пойти в «Ниву»? Как решился!»

И смешно, до чего нехитер был механизм этой машины. Во главе стояли люди, не имевшие к литературе ни вкуса, ни интереса. Сначала Светлов, известный «знаток» балета. Потом некто Эйзен, очень корректный и благовоспитанный господин, но искусству вполне посторонний. Писатели писали рассказы и стихи и носили в «Ниву». Что брали, что возвращали, по вдохновению. Материала всегда было слишком много — «Нива» в нем не нуждалась. Одних рождественских рассказов Потапенки, как рассказывал мне секретарь «Нивы», было в «портфеле редакции» на двенадцать лет вперед!

Этот секретарь — Марков, господин Марков, как его все звали, милейшее и кротчайшее существо, — был занят изо дня в день кропотливым механическим трудом. Он часами сидел над рукописями, присланными в редакцию, не читая их (где там читать!), а лишь выписывая адрес и традиционное: «М.Г., присланная Вами рукопись, к сожалению, не подошла».

В 1912 году Ахматову, только что прославившуюся, кто-то из заправил «Нивы» очень просил дать стихи. Ахматова немного поломалась: «У меня сейчас ничего нет, я вам пришлю». И действительно, скоро прислала. Месяц спустя она получила от г-на Маркова свои стихи с запиской: «М.Г. К сожалению...»

Марков был не виноват — он делал свое дело. Об Ахматовой его не предупредили.

Однажды в «Ниве» решились на реформы: расширить и обновить отдел рецензий и уничтожить знаменитые «Объяснения к рисункам»: «Голуби (стр. 127). Кто из нас не любит голубей? Талантливый художник Фукс изобразил этих милых птиц, когда они...».

Но реформы публике не понравились. В письмах читателей пошли жалобы и на отсутствие объяснений, и на то, что новые рецензенты (Гумилев, Кузмин, Зноско-Боровский) пишут непонятное и о непонятном. Не помню, были ли восстановлены объяснения, но модернистов сократили, и в отделе критики снова воцарились вечные, как сама «Нива», А.Никонов и Б.Тихонов, не мучившие читателей Мейерхольдом и Гюисмансом.

В последние годы «Ниву» купил Сытин, и общий надзор за ней перешел в культурные руки. Увы, ненадолго.

* * *

Когда в 1914 году весной М.Суворин открыл «Лукоморье», по литературным кругам пошел глухой «ропот»: Суворин хочет купить русскую литературу. К волнению тех, кто особенно «благородно негодовал», явно примешался вопрос: «А если купил, то купит ли меня?»

Удался ли Суворину его «адский план»? Если он состоял в том, чтобы привлечь в свой журнал многих известных писателей и художников, печатать их вещи и платить хорошие гонорары, то да, удался. Сологуб, Кузмин, Городецкий, Судейкин, Нарбут, Чехонин — «все были там». Кое-кого и не было, конечно, напр. Блока. За отказавшимися редакция особенно не гонялась. Тех, кто согласился, обставили материально очень хорошо и «идейно» не притесняли. В последнем, впрочем, не было и надобности: началась война и все, «объединившись», стали писать только о ней.

Сам Суворин почти не мешался в дела журнала. Всем заправлял М.Бялковский,человек, неизвестно откуда взявшийся, южный, бойкий, мягкий в обращении, никогда не отказывавший в авансах. Помещалось «Лукоморье» в знаменитом доме на Эртелевом. Редакционное помещение было очень роскошным, обычаи тоже. К чаю, не в пример прочим редакциям, подавались пти-фуры от Берена.

Это роскошное помещение соединялось непосредственно с уже совершенно дворцовыми апартаментами «Нового времени». Там были какие-то огромные залы, кабинеты, статуи, вазы, штофные обои. Иногда из этих недр показывался какой-нибудь плюгавый старичок и медленно проплывал по коврам дальше.

Атмосфера чаев с пти-фурами почтительного редактора, вынимавшего по первому слову чековую книжку, штофных обоев и бюро красного дерева действовала на творчество крайне благоприятно. Я говорю на творчество, не вступая в его оценку. Качество его было... военного времени. Были и шедевры в обратном смысле. Стихи Городецкого такие патриотические, что даже «Лукоморье» смеялось. Или огромный роман Сологуба «Острие меча», где повествовалось о трех генеральских дочерях-невестах. Жених одной — прекрасный француз, другой — джентльмен-англичанин, третьей — немец, исчадие ада. Союзные женихи совершают чудеса доблести и благородства, немец насилует детей, взрывает Реймсский собор и «коварно» убивает в бою жениха-француза. Попутно три сестры ходят босыми ногами по предутренней росе и «видят вещие сны».

Если Сологуб «такое» писал, можно ли осуждать Бялковского, что он печатал это на лучшей бумаге и оплачивал полноценными царскими сторублевками!

Были и еще разные курьезы. Полное собрание сочинений Юрия Слезкина, отпечатанное в «Сириусе»* с необыкновенной роскошью, с гербами рода Слезкиных на обложке. Была марка издательства, изображавшая безобразную кошку («У лукоморья дуб зеленый...») на цепи около пня. Кошку эту нарисовал Бакст за баснословный гонорар...

Нововременские сотрудники из второстепенных (киты «Лукоморьем» явно гнушались) не особенно любезно — как это ни странно — принимались редакцией.

Их стыдились... как купчик-эстет стыдится папеньки, на деньги которого он меценатствует. Бялковскому, после Сологуба и Кузмина и (особенно) Александра Рославлева, претили Леонид Афанасьев или Бурнакин. Между сторонами было взаимное непонимание. «Что вы мне говорите, что у меня стих хромает, — горячился какой-то нововременский поэт, — меня

* Лучшие петербургские типографии, где печатались только очень дорогие художественные издания. — *Прим. авт.*

писать стихи сам Тыгинкин* учил!» Бялковский презрительно улыбался. Для него Тыгинкин перестал быть авторитетом!

После Февральской революции и «Лукоморье» попробовало перекраситься из защитного в революционный. Но природа взяла свое, да и денег стало заметно меньше. Журнал стал чахнуть.

* * *

Не один Суворин пытался «купить русскую литературу». В 1916 году эта же идея, говорят, пришла Протопопову: была основана «Русская воля».

Был ли Протопопов действительно пайщиком «Русской воли», я не знаю. Говорят, нет дыму без огня. «Какой-то дым», вернее, туман вокруг этой газеты был. Слишком уж была она гордо-оппозиционной, слишком американский был у нее размах. Слишком... Все было в ней немного слишком.

Однажды мне позвонил по телефону В.Брусянин, беллетрист средней руки. «Мне нужно с вами поговорить по делу». Я удивился, какое дело — Брусянина я почти не знал. Оказалось, насчет участия в «Русской воле».

Следующий разговор был уже в редакции, с Леонидом Андреевым, заведовавшим литературным отделом. Знаменитого автора «Анфисы» и «Красного смеха» я увидел впервые.

В его внешности, в аффектации его речи, трагических складках на лбу было что-то от монмартрских (не монпарнасских) художников. Тех, которые в бархатных куртках и беретах сидят в ночных кабачках, толкуя о своих великих замыслах. Слишком вдохновенный вид, слишком скорбные очи. И внешность, и имя Леонида Андреева чрезвычайно подходили ко всему «антуражу» газеты. В огромном кабинете, под огромным абажуром, меланхолически дымя папиросой, он долго и витиевато говорил со мной о современности и войне, о вечности и Боге. Я выждал паузы и спросил о гонораре. Он сделал широкий и презрительный жест рукой: «Назначьте сами — это безразлично».

За мое недолгое сотрудничество в «Русской воле» (до революции 1917 года, когда газетам стало не до литературы) я несколько раз виделся с Андреевым, обедал у него, вел дол-

* Тыгинкин — редактор «Иллюстрированного приложения» к «Новому времени». — *Прим. авт.*

гие разговоры. Он выигрывал при знакомстве более близком. Это был затравленный и робкий человек, скрывавший свою сущность за эффектной маской «великого писателя». Он понимал свое ложное положение в «большой литературе», понимал, кажется, и невозможность изменить его. Больше всего Андреева раздражало, что его «не пускают» в замкнутый круг писателей-модернистов, к которому его чрезвычайно тянуло. «Но ведь я ваш, я с вами. Я в прозе делал то же, что Брюсов с Бальмонтом в поэзии!» Что можно было ему на это ответить!

Помню один разговор. Андреев попросил меня написать о Надсоне к какому-то юбилею. Я сказал, что не могу. Сочувственного ничего не скажешь, то, что я о Надсоне думаю, говорить неуместно. Андреев очень взволновался. «Нет, нет, это партийная узость! Надсон — поэт, не может не быть поэтом, раз сотни тысяч русской молодежи плакали и плачут над его стихами». Он очень волновался, очень горячился, явно защищая (может быть, бессознательно) в Надсоне самого себя. Ведь и над ним тоже плакала та же русская молодежь...

И в редакционном кабинете, и в квартире все у Андреева было грандиозное, как его писания, как его фигура. Гигантские кресла и шкафы, гигантский письменный стол, гигантские панно на стенах. Эти панно, кстати, были воспроизведены в «Огоньке» с пояснением, что «наш знаменитый писатель в то же время и недурной художник. Печатаемые нами картины его кисти, уступающей, конечно, его гениальному перу, отлично иллюстрируют его литературные замыслы...». Картины были копиями Гойи.

* * *

Я сейчас упомянул «Огонек». Говоря о петербургских редакциях, невозможно пройти мимо этого «художественно-литературного журнала».

На Галерной номер 40 были расположены мрачные и унылые на вид владения С.А. Проппера — типография, две «Биржевые», утренняя и вечерняя, и «Огонек».

Особого помещения у «Огонька» не было. Редакция приткалась то там, то тут в каких-нибудь двух комнатах. Потом эти комнаты надобились под что-нибудь другое, и «Огонек», т.е. два-три стула, писчая машинка и секретарь, маленький человек с трахомными веками и внушительной фамилией — Лев, перебирались в новое, тоже временное помещение. Внешностью,

показным блеском в «Огоньке» не интересовались. К чему! Так американский миллиардер, презирая элегантность, носит три года подряд свой потертый серый пиджак.

В.А.Бонди, мозг «Огонька», его душа, он же не редактор, нет, диктатор «Вечерней биржевки», в редакции никогда не бывал. Если вы хотели видеть его, то вас вели по бесконечным коридорам и лестницам, через наборные и машинные отделения в маленькую комнату, скорее клетку. В ней был стол, заваленный макулатурой и рукописями, стул, на котором сидел сам Бонди, и стул для возможного посетителя. Третий стул уже не мог бы поместиться. Сходство с клеткой увеличивалось тем, что сбоку кресла редактора, к стене, было окошко — пол-аршина в квадрате. Иногда оно распахивалось, доносился рев и грохот ротационных машин, и волосатая рука, вся в типографской краске, сунув Бонди пачку гранок и схватив другую, исправленную, снова захлопывала дверцу.

В.А.Бонди прежде был гвардейским офицером. Не знаю, как пришла ему фантазия переменить саблю на перо. Первые опыты его были, кажется, не очень удачны: он издал книжку новелл, которых критика не оценила. Но став во главе «Огонька» и «Биржевой», я думаю, он не имел оснований жаловаться, что его литературная карьера не удалась.

Он был обходительный человек, хотя и суровый на вид. Когда сотрудник приносил ему рукопись, он говорил: «Ну, посмотрим, что вы нам наблагоухали». Если тот просил аванс, Бонди морщился очень свирепо, но по большей части давал. Повторяю, суровость его была напускная. В душе он был (могло ли быть иначе) лордом Генри.

Однажды я, войдя в его клетку, на вопрос: «Что вы нам наблагоухали?» — сказал, что пока ничего, и попросил денег. Бонди страшно нахмурил брови, молча написал синим карандашом на клочке бумаги: «В контору выдать...» — протянул мне и вдруг, смерив меня глазами с головы до ног, таинственно спросил: «Гашиш любите?»

Я несколько растерялся. Но, не желая ударить лицом в грязь, ответил: «Очень».

Он самодовольно усмехнулся. — «Я это знал. Я физиономист. У вас есть складка, вот тут, около глаз — гашиш. Приходите ко мне завтра, мне прислали дивный. Я вчера курил. Что за красочные грезы — озера, пирамиды, пальмы... Рукопись-то когда пришлете? — прибавил он, возвращаясь от красочных грез к суровой жизни.— Авансы берете у нас, а рассказы носите в “Аргус”».

Гашиш оказался толстыми папиросами с какой-то зеленовато-серой прослойкой внутри табака. «Красочных грез» я не испытал, но легкую тошноту — да. «Я ошибся, — сказал на это Бонди, — вам нужен не гашиш, а эфир, морфий. Вот эта складка у рта — морфий. Я физиономист». Должно быть, он придумал этот гашиш, чтобы похвастаться своей новой, только что отделанной квартирой. Квартира была действительно замечательная. Из кабинета, просто и со вкусом отделанного в виде избы с конусообразным потолком и с облицовкой из красного дерева, мы вышли в круглую залу. Посередине ее бил маленький фонтан, распространявший сильнейший запах «Садо-Якко». В спальной, устланной шкурами, как раз над изголовьем кровати висела мраморная лампада, на глаз пуда в три весу. Она держалась на трех несоответственно тонких цепочках. «Фатум, — пояснил мне Бонди, — дамоклов меч. Каждую ночь она может размозжить мне череп. Что ж. Пусть. Я готов».

В зале с фонтаном из одеколона мы присели на нишу. «Хотите шампанского?» Не дожидаясь ответа, Бонди нажал кнопку в стене. Откинулась дверца, за ней — маленький ледник — шампанское, фрукты. «Впрочем, — он захлопнул дверцу, — здесь как-то неуютно — пересядем к камину». У камина опять: кнопка, дверца, шампанское.

За шампанское, гашиш и дамоклов меч была, конечно, и неизбежная расплата: радушный хозяин прочел мне несколько своих стилизованных новелл.

Уходя, я сделал непростительную «гафф». В конусообразном кабинете-избе я забыл поднесенный мне автором экземпляр этих новелл.

* * *

Всего не перечислить. Был еще «Аргус», с редактором-«американцем» В.Регининым, евшим в редакции какую-то особую кашу от запоя. Было изд-во Каспари, издававшее одновременно «Тайны венценосцев» и изящнейший журнал Философова. Был «Весь мир», где редакторша, баронесса Таубе, принимала, сидя в гробу, окруженная скелетами и чучелами змей. Теперь она в России издает что-то революционное и гордо называет себя «Красной баронессой...». Да,

...Все это было,
И это никогда не повторится!..

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (5)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

Всем известно, что сбыт в широкой публике имели только книги или картины, этой публике нравившиеся. Вкусы ее тоже хорошо известны. Отсюда ясно, что всякое издание или художественное произведение «идейного» порядка, безразлично, «Аполлон» или выставка доморощенных кубистов, нуждались в меценате.

Меценаты различались друг от друга образованием, общественным положением, вкусами, наконец, — самым существенным — средствами и щедростью, но у всех русских покровителей искусств, которых мне приходилось встречать, было что-то общее. Один давал двести тысяч на какой-нибудь «Театр исканий», другой ссужал трехрублевками пьяных поэтов, третий основывал издательство, чтобы печатать там самого себя рядом со знаменитостями. Но при всем различии их пристрастий и деятельности все они были братьями по духу: все они родились меценатами.

* * *

Купцы, съевшие на Нижегородской ярмарке ученую дуровскую свинью, стоившую десять тысяч, без сомнения, были меценатами в душе. Не их вина, что их стремление к прекрасному вылилось в такую грубую форму. Их сыновья, прогрессируя, начали коллекционировать футуристов. Покровители искусства из купцов главным образом, конечно, водились в Москве. Петербургские были лишь — «разыгранный Фрейшиц, перстами кротких учениц». Это в Москве строились особняки во «всех стилях» («У нас на все стили хватит»), спали в «неестественной позе по Сомову» и ставили «Венецианских безумцев» Кузмина в кругу миллионеров. Роли распределялись по старшинству: главные — архимиллионерам или миллионерам, средние — обладателям скромного десятка милли-

онов. На долю просто миллионеров оставались роли конюхов и служанок.

Один чрезвычайно эстетический петербургский журнал приносил ежегодный дефицит, что-то очень много. Меценат, некто У., терпеливо покрывал убытки. Он был образцом корректности и терпения, в дела журнала не вмешивался. Если бы не его подпись на издательском месте, — никто бы и не знал о нем. Но на седьмом году существования журнала меценат неожиданно о себе напомнил. В редакцию пришел ультиматум — немедленно в ближайшей книжке журнала поместить портрет издателя работы... Сорина.

Журнал был изящнейшего направления и отменного вкуса. Помещать репродукцию картины Сорина было для него так же ужасно, как светскому льву надеть при смокинге белый галстук. Бросились к меценату — уговаривать, предлагали ему заказать и поместить портрет работы какого-нибудь другого художника: Сомова, Б.Григорьева, Кустодиева. Но уговоры не помогли. Всегда мягкий, как воск, меценат проявил каменную твердость: или Сорин, или больше ни копейки. Портрет был помещен на вкладном листе, в красках, перед текстом, вылизанный, сладкий, с жеманно отставленными пухлыми пальчиками.

* * *

В 1913 — 1914 годах из богатого приволжского города приехал в Петербург И., молодой человек, наследник многих миллионов.

Он бредил стихами, музыкой, театром. По-французски говорил отлично, по-русски же несколько на «о», хотя и грассируя. Вскоре он попал в «Бродячую собаку» и, естественно, через неделю был окружен десятком друзей и советчиков. Он покупал картины, давал деньги на издательства и просто в долг и устраивал блестящие ужины для членов основанного им клуба поклонников красоты, называвшегося «Голубая гвоздика». Члены клуба носили в петлице гвоздику, искусственно окрашенную в мутно-голубой цвет. Это казалось крайне изящным и стоило недорого — двугривенный штука. В одной из комнат квартиры И. был сооружен «алтарь красоты» — нечто вроде киота с портретами Уайльда, Шелли и Бальмонта. Перед киотом была лампада в виде лилового стеклянного ириса с электрической лампочкой внутри. После прекрасного

ужина гости располагались в этом святилище на лиловых шелковых подушках, и хозяин читал им новую главу своего романа «Путь в Дамаск». Роман был написан ритмической прозой, и в нем проводилась параллель между душевными страданиями автора и какого-то римского патриция времен упадка, блистательного и несчастного. После чтения гости, выразив восхищение, по очереди отводили хозяина в сторону. Слышался шепот: «До пятницы, честное слово» — и ответный: «Пожалуйста, очень рад». Двадцатипятирублевки, мягко шурша, скользили из ладони в ладонь. Гости расходились. Хозяин удалялся в свой кабинет, устланный коврами и увешанный картинами, — работать над «Путем в Дамаск».

Помню конец привольной жизни этого поклонника красоты. Я присутствовал при этой катастрофе. Президент «Голубой гвоздики» давал обед, замечательный, как всегда. Было человек двадцать приглашенных, не менее изысканных, чем меню. Разговор велся по всем правилам уайльдовского красноречия. Уже допивали кофе. Хозяин, несколько раскрасневшийся (он вообще отличался прекрасным цветом лица, что его очень стесняло), томно играя золотым лорнетом, читал свои новые стихи:

Моя любовь так печальна,
Как кофе, который остыл...

И вдруг в сопровождении испуганного и шокированного лакея (недавно переманенного из какого-то очень хорошего дома) в столовую ввалился плотный маленький человек лет пятидесяти в куцем пиджаке. В руках он держал «ковровый» сак, такой, с какими купчихи любили ездить на богомолье. Его лицо, круглое и розовое, имело явное семейное сходство с председателем «Голубой гвоздики». Но, Боже, как вульгарно оно выглядело в этой ампирной столовой, среди шелков, цветов, хрусталя... Все застыли, недоумевая. Хозяин дома покраснел, как бурак.

«Славно, — с расстановкой сказал вошедший, садясь и озираясь. — Прекрасно, очень чудно! В Петербург учиться поехал! В консерваторию! (Он выговаривал «консельватория»). Хороша консерватория! Нам писали, мы не верили. Дармоедов (он окинул глазами эстетических гостей) разносолами кормить, а! Пять тыщ в месяц, и того мало! Тятька горбом копейки зашибал. В твои года в Сибири зимой обозы сторожил,

на кожах спал да по морде получал! Консерваторию завел! Нет, шалишь, брат...»

Через три дня наш меценат был увезен грозным дядюшкой в родной приволжский город. Через месяц, кажется, его женили. «Путь в Дамаск» остался неизданным.

* * *

Поэт М. был специалистом по основанию издательств, правда эфемерных. Он был необыкновенно изобретателен в способах склонить какого-нибудь денежного человека на издание альманаха или журнала. На меценатов у него был нюх, как у гончей.

Познакомившись с кем-нибудь и найдя его «подходящим», М. принимался его обрабатывать. Иногда срывалось, но бывали и удачи. Тогда М. подымал вихрь заседаний, проектов обложки, типографских смет, авансов. Неважно было, если сборник, задуманный in folio в 200 страниц, появлялся спустя много месяцев после назначенного срока в виде тощей маленькой книжки. На М. уже был новый «костюмчик» и новые «сапожки». Подкормившийся и приодевшийся, он искал нового мецената.

— Что же ваш журнал? — спросили его как-то. — Что-то о нем не слышно.

— Я разошелся с издателем.

— И он ничего не издал?

— Издал... вопль.

Однажды утром М. позвонил мне по телефону.

— Георгий Владимирович, простите за беспокойство. Не приедете ли вы сейчас к «Альберу» по литературному делу?

— Что с тобой? (Мы были уже лет пять на «ты», и вдруг Георгий Владимирович!) Что за чушь! Приезжай ко мне сам.

— К сожалению, я приехать к вам не могу. Со мной Фридрих Фридрихович, который хочет издавать...

Я не знал никакого Фридриха Фридриховича, но зато слишком хорошо знал М. — он поймал мецената.

У «Альбера» М. жадно поедал одно блюдо за другим. Напротив него сидел грустный человек с большим горбом. Он не завтракал, он пил «Нарзан».

— Вот и Георгий Иванов! — оживился, неестественно ласково на меня глядя, М. — Он может быть редактором.

Маленький седой горбун посмотрел на меня грустно и неодобрительно. Должно быть, мой вид не соответствовал его представлению о редакторе.

Дело было следующее. М. познакомился с этим Фридрихом Фридриховичем в пригородном поезде. Познакомился, определил как «подходящего» и, чтобы не терять времени, привез прямо к «Альберу». Горбун был ликерным фабрикантом и писал сонеты о драгоценных камнях. Он соглашался издать сборник, но желал солидного редактора.

— Да, — говорил он с сильным немецким акцентом, грустно глядя на нас. — Альманах очень хорошо, но я хочу редактора с большим именем. Ну Бальмонта, Сологуба...

Что было делать? Но М. нашелся.

— Сологуба? Бальмонта? Вы их хотите? Пожалуйста. Это нетрудно... Да что Сологуб! Я самого Димитрия Цензора берусь уговорить!

Имя Цензора вполне удовлетворило издателя. Через полчаса появился «сам» Цензор, очень заспанный. Дело устроилось.

Вышел еще маленький разговор насчет псевдонима мецената. Он осведомился, как будут печатать стихи — по алфавиту или нет. Ему сказали — по алфавиту. «Значит, кто будет первым, Ахматова?» — «Да, Ахматова». — «Ну так я выбираю себе псевдоним "Аврамов"».

На Аврамова мы не согласились. Фридриху Фридриховичу пришлось примириться с каким-то псевдонимом на Б.

Кстати, для этого альманаха я ездил просить стихи у Сологуба. Сологуб был очень любезен, прочел мне несколько стихотворений и предложил самому выбрать. Я выбрал два, очень хороших. Покончив с этим, я извинился, что издательство на первых порах платит только по полтиннику за строчку.

Лицо Сологуба стало каменным. «Анастасия Николаевна, — крикнул он жене в соседнюю комнату. — Дайте мне... те стихи... вы знаете... на нижней полке». «Вот, — буркнул он, протягивая два листка... — Стихи по полтиннику... До свиданья...»

* * *

Уговорить мецената дать деньги на какое-нибудь предприятие было делом сложным и деликатным.

Гумилев несколько месяцев вел правильную осаду на одного богатого эстета. Дело шло не о ста рублях «до завтра», а о крупной сумме на большой ежемесячный журнал. Долгие

вечера проводились в разговорах об искусстве вообще и необходимости проектируемого журнала, в частности. Эстет явно сочувствовал и склонялся. Когда издалека заходил разговор о необходимых деньгах, он пренебрежительно говорил: «Нет, господа, деньги вздор. Верьте мне, их достать нетрудно. Гораздо важней установить наше отношение к символистам». <...>

Наконец все вопросы были вырешены и все позиции определены. Будущий меценат ужинал в царскосельском доме Гумилева. Ужин прошел отлично, гость и хозяин даже выпили на «ты». Развеселившийся эстет болтал о журнале как о деле решенном, повторяя, что деньги вздор. «Вот они, деньги», — даже заявил он, хлопнув себя по карману.

Гумилев повел наконец охмелевшего мецената под ручку укладывать его спать. «Слушай, Сергей, — сказал ему Гумилев, прощаясь. — Ты помнишь наш сегодняшний разговор?» «Помню», — вяло ответил тот. — «Славный будет у нас журнал!» «Славный», — поддержал меценат так же вяло. «Так ты дашь деньги?» — поставил Гумилев вопрос ребром. «Ничего я не дам», — выговорил меценат с большой твердостью, засыпая. И действительно, ничего не дал.

* * *

Люди, имевшие пристрастие к меценатству, но сдерживаемые благоразумием, удовлетворяют свой инстинкт дачей взаймы, приглашением в рестораны и т.п., не пускаясь на более крупные дела. Это было спокойнее, но тоже выходило накладно. Один из них рассказывал: «Приходит утром поэт Х. с запиской от поэта У. — болен, просит сто рублей. Вечером Б. звонит по телефону, прося денег для У. — заболел и он. Через день появляется Х. благодарить за помощь и заодно просит выручить из беды его друга Б., попавшего под трамвай. А вечером встречаю всех троих, весело ужинающих в “Вене”».

* * *

Меценатки-дамы, как ни странно, водились реже и по большей части были очень скупы. Впрочем, я знал одну, при воспоминании о которой многие представители петербургской богемы улыбнутся с нежностью. Ее муж, некто П., разбогател во время войны — феноменально, сказочно разбогател. И она, вчера еще жена мелкого торговца, вдруг оказалась од-

на в пышной квартире на Сергиевской. Она была очень некрасива — наряды ее не интересовали. И она отдалась двум страстям — покровительству искусству... и покупке ламп и вообще всякой затейливой электрической арматуры. Которая из страстей была более сильна? Не знаю. Деньги «на искусство» она раздавала направо и налево, трогательно выводя на чеке «выдать одну *тысяшу*». А в ее будуаре я сосчитал тридцать четыре лампы — фарфоровых, бронзовых, деревянных, маленьких, больших и огромных. Увы, все это кончилось так же неожиданно, как началось, — 25 октября 1917 года — и деньги, и лампы.

* * *

Мне вспомнился еще один из породы мелких меценатов, охотно дававший деньги взаймы без отдачи за удовольствие толкаться в художественной среде. Это М., элегантный петербургский молодой человек. Он одевался в Лондоне, дружески переписывался с кронпринцем и сочинял сонеты по-испански. После революции он куда-то пропал. И вот совершенно неожиданно я встретил его в 1920 году в засыпанном снегом уездном городе. Он там служил при Наркомпросе и голодал. Весь заросший наполовину седой бородой, в тридцать пять лет он выглядел шестидесятилетним. Однажды вечером я проходил мимо его освещенного окна. М. в тулупе, рукавицах и бараньей шапке при свете маленькой коптилки читал. Изо рта его валил пар. В левом глазу сиял монокль — единственное, что у него осталось от Петербурга, заграницы, всей его жизни. Обложка книжки была отвернута. Я прочел заглавие: «Fleurs du mal».

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (6)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

Домом литераторов управлял Харитон. Его недоброжелатели писали карандашом на стенах Дома:

Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон!

Администрация стирала надписи. На следующий день они снова появлялись. Они были несправедливы — Харитон был сама выдержка, благожелательность, мягкость.

С раннего утра Дом литераторов наполнялся посетителями. Право входа имели все, но, чтобы получить обед, надо было предъявить членскую карточку, выдававшуюся «литераторам и их семействам». Но как было определять в советские времена, кто действительно литератор, кто самозванец? Издательств, газет, редакций уже давно не было.

На прием к Харитону являлся человек, оборванный и явно голодный. «Я журналист». — «Где вы писали?» Человек мнется: «В сибирских газетах... и вообще...» Харитон раздумывает минуту (для виду), потом тянется за заповедной карточкой. «Вот... членский взнос уплатите, когда сможете... Обеды выдают с 11 дня...»

О эти обеды! Их главное неудобство было в бесконечных очередях. Сначала за каким-то купоном, потом за посудой, наконец, за самим обедом.

Советское меню — селедка и пшенная каша — всем известно. Дом литераторов старался его украшать как мог — не его вина, если это плохо удавалось. Кроме обеда все получали один леденец в бумажке — и сколько угодно чаю, т.е. бурого кипятку. Любители выпивали вприкуску до десяти стаканов, и еще оставалось полведра на вечер.

Помещение — барский особняк на Бассейной улице — было безобразное и неудобное. Залы, обитые вылинявшим што-

фом, дрянные огромные картины по стенам. Мебели было мало — тоже плохой и роскошной. Зато при доме был прекрасный старый сад.

Если среди «клиентов» Дома литераторов было много людей «со стороны» — разных «сибирских журналистов» и «благородных вдов», попавших туда благодаря мягкосердию распорядителей, — все же здесь кормился почти весь литературный Петербург.

«Хожу сюда каждый день, как лошадь в стойло», — говорил Гумилев. Блок, простояв в кооперативной очереди часа два, торжествующе уносил к себе на Офицерскую пуд мороженой картошки. Кузмин, живший по соседству, уходил и появлялся каждые полчаса. Он принадлежал к числу любителей чая и, распивая его, любил поболтать, только не о серьезном.

— О чем опять спорите? — спрашивает он со стариковской улыбочкой, проходя мимо «поэтического» стола.

— О стихах, Мишенька, тебе неинтересно, — говорит Гумилев.

— Ах, опять о стихах... Когда кончите, скажите — приду к вам посидеть...

* * *

Длинная очередь вьется за супом. С жестяными мисками и ложками в руках стоят, как богаделки, писатели и профессора. В «хвосте» идет тихий разговор.

Студистка, стоящая рядом с В.Пястом, дает ему урок немецкого языка. На плечах Пяста плед, нижняя часть костюма — серая в крупную клетку — непомерно широка. Он терпеливо повторяет: «Кошка — катер, собака — хунд...»

— Простите, барышня, — вмешивается стоящий сзади старичок с густыми бровями. — Вы немецким хорошо владеете, я вижу. Пожалуйста, как будет виноград? Я прошлую ночь стал вспоминать — вертится на языке, а не вспомню. Всю ночь промаялся. — Вейнтраубен. — Вот, вот! Спасибо.

Вьется бесконечная очередь за супом... Вдруг у входа — движение, шум, иностранный говор. Озабоченный Харитон, оставив свой наблюдательный пост в столовой, спешит на шум. «Что такое?» Хорошо одетые широкоплечие господа суют ему в руки — мандат от Петросовета. Представители английских безработных знакомятся с бывшей русской интеллигенцией.

Английские безработные не только розовы и хорошо одеты. Они и культурны. Просят назвать фамилии обедающих и, слыша некоторые, почтительно восклицают: «Very pleased». Поглазев на залу и библиотеку, они идут в столовую.

Седой старичок, спрашивавший, как по-немецки виноград, только что получил свою миску с кашей и бережно несет ее к столу. Его имя, знаменитое по всей Европе, особенно интересует англичан. Они просят их представить, говорят какие-то любезности, раскланиваются. Старичок смотрит на них, холодно мигая красными веками. Любезности его не интересуют. Он хочет есть. Каша стынет. «Уважаемый профессор, — говорит один из делегатов, — разрешите попробовать еду, которой кормит вас ваше уважаемое правительство». Профессор глуховат и сразу не понимает, что от него хотят. Поняв, он хватает свою миску, одной рукой прижимая к груди, другой защищая: «Моя каша, моя каша! Пробуйте у других!»

* * *

Зимою, особенно в голодные и холодные 1919 — 1921 годы, обедающие, съев свою кашу или селедку, не торопились уходить. Все же здесь было теплей и светлей, чем у себя на квартире. И на людях.

Старики и старушки шептались по углам о политике. Появлялся какой-нибудь «сведущий человек». Любопытные тотчас же внимательно к нему присаживались. Подозрительно озираясь, «сведущий» сообщал «новости»: «Англичане стоят у Кронштадта... Белые летали над Москвой...»

Старички слушали, вздыхали, шли на свое место, шепотом сообщали новости соседу. Тот — другому. Вместе с синим дымом махорки эти слухи ползли и переплетались: «Деникин идет на Тулу... Англичане летали над Москвой...»

Молодежь слухами не интересовалась. Поэты толковали о стихах. Любители спорта — о футболе. Влюбленные, как тени, слонялись по дому, ища укромного угла.

Весной, когда промерзшие стены Дома литераторов оттаивали, начинали зеленеть деревья и мерцать белые ночи, — влюбленных появлялось особенно много. Зимой мешали холод, оборванные шубы, стоптанные валенки. Весной нетрудно принарядиться. На «нем» — пусть заштопанный, но свежеразутюженный костюм. На «ней» — старая соломенная шляпа, выкрашенная заново, какой-нибудь цветок, бант. Старушки,

вспоминая молодость, кивают: «Какая изящная пара!» Хмурый пролетарский поэт косится: «Вырядились, недорезанные...»

Советские влюбленные, в исключение из правила, были всегда голодны. Это они расхватывали роскошные «добавочные» блюда — котлеты из зайца, пирожки... «Она» в белом платье мечтательно сидела в саду. «Он», быстро справившись с талонами, купонами, ложками и мисками, бежал к ней, торжествующе неся сразу две или три порции чего-нибудь «очень вкусного». Все тогда казалось очень вкусным. Все, кроме селедок и пшенной каши.

Насытившись, влюбленные гуляли по саду. Старые деревья шумели, дети играли в мячик. Гуляли, мечтали, читали надписи на собачьих могилах: «Здесь лежит Бобоша, умер в Ницце в 1888 году»...

С террасы доносился взволнованный голос Харитона: «Я им сказал — вы отпустите мне муку... А они... А я...»

* * *

В Доме литераторов устраивались лекции, концерты, литературные вечера. Они устраивались часто, плата за вход была минимальная. Я думаю, многие петербуржцы, особенно жившие по соседству, в Литейном районе, с благодарностью их вспоминают. В те времена билеты в театры были по наряду, да если и не по наряду, далеко идти и страшно возвращаться. Это в стихах можно было писать:

Мне не надо пропуска ночного —
Часовых я не боюсь...

Пропуски были нужны на каждом шагу, и часовых все боялись.

Если расхватывались билеты на какое-нибудь «музыкальное трио» или доклад о «раскопках в Крыму», — то понятно, как быстро их разбирали, когда был объявлен вечер Ахматовой, в течение трех лет ничего не печатавшей и нигде не выступавшей.

В день вечера (уже около недели на дверях Дома висел аншлаг) в билетную кассу является дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках — «Дайте мне два билета». Билетерша раздражена: «Вы видели аншлаг — все продано...» —

«Но мне обещали...» — «Ничего не знаю — билетов нет...» Дама с корзинкой раздражается в свою очередь: «Если нет для меня билетов — я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно улыбается: «Пожалуйста, никто не заставляет...» Дама вспыхивает: «Ах так!» И уходит, хлопнув дверью.

На счастье, эту сцену видел издали кто-то из заправил Дома. Уже на улице он догнал негодующую Ахматову и вручил ей с поклонами и извинениями билеты.

Чтобы не быть закрытыми за «опасное направление», надо было лавировать и приспособляться. С этой целью был приглашен читать стихи Сергей Городецкий, только что прибывший с юга, со свежим партийным билетом в кармане.

Публики собралось много. Городецкий, не зная, как примет его «белогвардейская» аудитория, начал с нейтральных стихов «Об Италии». Стихи понравились. Осмелевший Городецкий перешел тогда на свой новый репертуар. Забарабанил рифмы: народа — свобода, капитал — восстал...

Из писателей на этот вечер мало кто пришел. Старички-профессора и великосветские старушки, занимавшие первые ряды, о том, что Городецкий — большевик, не слыхали. Некоторые из них, может быть, вспомнили его недавние стихи о войне, такие «патриотические», что даже «Лукоморье» порой стеснялось. Внешность у Городецкого была приятная, голос звучный... Короче — его казенные восторги были приняты за смелую сатиру. Когда Городецкий кончил, ему устроили настоящую овацию.

* * *

Кто-то сказал, что дни «военного коммунизма» надо считать, как в Севастополе, — месяц за год. Но даже если считать просто, кто сможет, если бы даже хотел, забыть о трех — четырех — пяти трудных и необычайных годах своей жизни? В 1919 году мы все с чувством пронзительной тоски ходили по Петербургу:

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино...

Мне кажется (если это нам суждено), — с тем же чувством мы пройдем когда-нибудь по блестящему, нарядному, шумному Петербургу, «мимо зданий, где мы когда-то»... ели селедочный суп.

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (7)

(Литературный Петербург 1912 — 1922)

ДОМ ИСКУССТВ

В 1920 году зимой прохожие, очень редкие вечером в этой пустынной части города (угол Мойки и Невского), могли видеть странное зрелище. К ярко освещенному подъезду (среди полного мрака соседних) подходили господа и дамы буржуазного вида, и швейцар, кланяясь, распахивал двери. Третий этаж был ярко освещен. Видны были сияющие хрустальные люстры, порой слышалась музыка. С улицы, пожалуй, больше ничего нельзя было разглядеть. Но и этого было достаточно, чтобы потрясти советского пешехода. По Невскому летает ветер, хлопая вывесками давно разграбленных магазинов (вышел декрет, чтобы и эти вывески снять). Холод, ночь, нищета — и вдруг...

Медная доска у подъезда ничего не объяснила: Дом искусств? Ни серпа, ни молота, ни красного флага. Да и посетители этого таинственного дома не походили на коммунистов, хотя бы потому, что не подкатывали к нему на сорокасильных машинах.

* * *

Дамы и господа буржуазного вида подвигаются по ярко освещенной лестнице. Они чинно снимают шубы и идут дальше через какие-то блестящие помещения. Всюду зеркала. Дамы пудрятся, кавалеры поправляют ладонью и без того прилизанные проборы. Сдержанный говор, шелест шелка, запах духов...

...Ночь, холод, нищета, 1920 год!

В огромной зале за роялем знаменитый пианист. Изящные дамы и господа чинно слушают его игру. В соседних гостиных — другие курят, болтают, пьют чай. Чай разносят лакеи в серых куртках, ловко ступая по толстым сплошным коврам.

Концерт кончен. Начинаются танцы. Мелькают голые плечи, развеваются фалды фраков... Но все-таки что же действительность? Советский Петербург 1920 года или это изящное общество в этих раззолоченных салонах?

* * *

Фраков и бальных платьев было действительно довольно много. Это было не так уже хитро. Фраки не находили покупателей (вот смокинг — другое дело). Не в цене были и роскошные платья. Покупатели — псковские мужички и чухонки-молочницы — ни в фалдах, ни в голых плечах не нуждались.

Чтобы убедиться, что это общество — не выходцы из другого мира, а настоящие советские петербуржцы, — достаточно было поглядеть на их сапоги или руки. У большинства сапоги в заплатах, руки, почерневшие от кухни и черной работы. Но губы улыбаются, манеры изящны, все — словно играют роль...

Так и было. Раз в неделю советские граждане, вымывшись и нарядившись, собирались и играли в «старое время». На час-два один снова был знаменитым адвокатом, другой — светлейшим князем. Назывались эти «птиже» «пятницами Дома искусств».

* * *

Помещением Дома искусств была квартира X., известного петербургского богача.

Есть безвкусие невинное, порой уютное, порой милое: шелковые будуары, фотографии, «декадентские» вещицы, семь слонов. Пошло, но «человечно». Покои Дома искусств были совсем в другом роде.

Главная лестница — мрамор и золоченый чугун, рытый ковер, китайские вазы. В прихожей фальшивая готическая мебель. Столовая — копия из дворца Медичей, на стенах тисненые инициалы владельца под дворянской короной. Потолок большой залы — копия одного из версальских. (Художник не рассчитал, и живопись не вполне уместилась — кое-кто из фавнов остался без хвостов.) Другая столовая — роспись Каразина: купидоны с цветами. Один из них вместо розы играет Станиславом 3-й степени. Библиотека — потолок в виде заросшего тиной пруда, кувшинки электрические. В шкафах буль (фальшивый) «Тайны венценосцев» и «Русский палом-

ник». Баня (4 комнаты). Предбанник в помпейском вкусе, парильня — «декадентская» — вся в лилиях. Спальня хозяев — единственное окно во двор — почти полная темнота, похожа на гроб...

В «салонах» гобелены, электрические «поленья» в каминах, мрамор на золоченых тумбах. «Настоящий» Гинзбург... «Подлинный» Жуков... Когда Дом искусств принимал имущество, в темном углу нашли мраморную группу, закутанную в марлю. Прислуга пояснила: господа купили, не понравилось — велели вынести. Мрамор, «не понравившийся господам», — оказался первоклассным Роденом.

* * *

Но эти версальские залы и помпейские предбанники были натоплены, ярко освещены и казались райскими людям, одуревшим от коптилок и буржуек. Именно в свете, тепле, чистоте просторных комнат было главное значение Дома искусств. То, что считалось главным — «культурно-просветительная деятельность», — разные лекции в студии, — было, в сущности, делом второстепенным.

О бесчисленных советских студиях стоит рассказать особо. В те дни студии — литературные, театральные, научные — были в чрезвычайной моде. Не отставал и Дом искусств. Читал Гумилев, читали Замятин, Чуковский, Волынский, читались десятка два разных курсов, в разные дни, в разных залах...

В числе молодежи, посещавшей эти «классы», были, разумеется, способные люди. Некоторые из них успели прошуметь, напр. кружок «Серапионовых братьев», бывших студентов Замятина. Насколько их успехам содействовала пройденная ими «учеба», я не знаю. То, что из студистов Гумилева, «педагога», во всяком случае, не менее умелого, чем Замятин, за три года работы не вышло ни одного поэта, скорее говорит о противном.

* * *

В Петербург приехал Уэллс. Дом искусств чествовал его банкетом.

Приглашенные — человек тридцать — собрались к сроку, прохаживались мимо столовой и поглядывали на сервирован-

ный великокняжеской посудой стол. Всех интересовал завтрак. Наиболее предприимчивые наведывались на кухню — сообщали: «Кулебяка... ростбиф с горошком...»

Но Уэллс не ехал, завтрака не подавали. Традиционное понятие об английской точности и вежливости колебалось.

Наконец вбежал Чуковский, размахивая длинными руками, красный, взволнованный. «Идет! Идет!» За Чуковским в сопровождении Горького сам Уэллс.

Небольшой рост. Серый костюм. Плечист. Толстое лицо. По виду — лавочник средней руки, сознающий, что он — центр внимания. С таким видом провинциальные мэры закладывают какой-нибудь «первый камень». Величие, важность, небрежность...

Банкет был позорный. Уэллс с видимым усилием ел «роскошный завтрак», плохо слушал ораторов и изредка невпопад им отвечал. Ораторы... некоторые из них выказали большое гражданское мужество — напр. Амфитеатров, предложивший присутствующим, чтобы показать высокому гостю, «что они с нами сделали», — расстегнуться и продемонстрировать ему свой «диссу».

* * *

Это смелое предложение принято не было. Но Амфитеатров был наказан: Уэллс, обратившись к нему, назвал его мистером Шкловским.

Остальные речи были в том же роде. Чуковский вился вьюном, смягчая в переводе наиболее острые места. Горький, хмурясь, как морж, кусал усы.

«Большевики чествовали меня в Доме искусств», — обмолвился Уэллс, вспоминая об этом банкете. Бедные ораторы. Стоило стараться, рискуя тюрьмой!

Если Уэллсу меню завтрака явно не понравилось, то чествовавшие его «большевики» были другого мнения. После банкета, доедая набранный в карманы шоколад, развлекались беседой с «говорившим по-русски» сыном Уэллса, мальчиком-подростком.

— Как вам нравится Петроград?

— О... да...

— А Москва?

— О... да...

— Долго ли вы собираетесь пробыть в России?

Пауза. Застенчивая улыбка. — «Не понимай!» Говорившие по-английски и не скомпрометированные крамольными речами были представлены Уэллсу и удостоились от него услышать, что Москва — lovely и погода — cold.

* * *

При Доме искусств было общежитие для писателей и художников. Кто понастойчивей — захватили под жилье роскошные «барские» комнаты с потолком в виде пруда. Более сговорчивые расселились по бесчисленным людским и службам. Гумилев, Ходасевич, Пяст, Мандельштам, В.Чудовский, Волынский, Шагинян, Леткова-Султанова, В.Рождественский — это только начало длинного списка обитателей Дома искусств. По вечерам на просторной кухне собиралось блестящее литературное общество. Комнаты, конечно, отапливались... но все-таки не мешало погреться у плиты. При общежитии был буфет. Очень скромный, но по тогдашним временам роскошный. «Своим людям» продавались даже пирожные.

Кстати, о пирожных. Эти кружки сладкого теста, залитые кремом или шоколадом, имели особое мистическое значение в те годы.

Когда все потребности были сведены к минимуму — не умереть с голоду и не замерзнуть, — пирожное стало символом всего запретного и соблазнительного. Съедая его, гражданин тогдашней РСФСР чувствовал себя на мгновение приобщенным к беззаботной и расточительной буржуазной жизни.

Так смотрели на это и власти. В январе 1921 года в Доме искусств был бал-маскарад. Первый петербургский бал за три с половиной года. Не знаю, как удалось получить разрешение, но маскарад этот состоялся и вышел необыкновенно веселым и многолюдным. Ни капли вина, разумеется, не было выпито, но все казались немного пьяными, как разыгравшиеся дети. И как дети расхватывали единственное, что было в буфете, — пирожные.

На другой день в «Красной газете» под грозным псевдонимом «Браунинг N...» появились стихи «Бал на Помойке»:

Разутюженные брючки,
Миль пардон, какие ручки.

Автор (Василий Князев) описывал, негодуя, в этих стихах наглые толпы буржуев, объедающихся пирожными в «сердце красной России», и взывал: «Чека, где ты?»

Чека откликнулась. Однажды во время завтрака все выходы были заняты мрачного вида красноармейцами и элегантный молодой человек в галифе, проверив заодно документы у всех завтракавших, опечатал буфетную красными огромными печатями. Через неделю печати были сняты и «задержанное имущество» — десяток увядших эклеров — был возвращено буфетчику. Он был человек со связями.

* * *

Осенью 1922 года, перед отъездом за границу, я зашел в Дом искусств. Давно кончились «пятницы» и литературные вечера, кончились без лекторов и слушателей студии. В залах Дома искусств, освещенных «ажиорно», были поставлены столы для рулетки и баккара. Уголовного вида крупье во фраках слонялись без дела: «казино» безнадежно пустовало, конкуренция с казенным «Сплендидом» была не по силам.

Это был закат Дома искусств — жалкий закат! Какие-то неизвестно откуда взявшиеся дельцы всем распоряжались. Прислуга не знала, кого слушаться. Во всем была бестолочь. Положение пансионеров Дома искусств становилось все неприятнее. Кто мог — выезжал, остальных переселяли в подвалы и чердаки.

В прихожей полдюжины лакеев подобострастно бросаются к случайно забредшим «хорошим гостям» — толстому нэпману и его накрашенной спутнице... Я вышел на улицу. Швейцариха мокрой тряпкой сцарапывала со стекла нижнего этажа уцелевшую здесь рукописную афишу. Всего полтора года назад, весной 1921 года, эти афиши рисовал и расклеивал со своими сотрудниками покойный Гумилев!..

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (8)

У Народного Комиссара Луначарского — прием в Зимнем Дворце.

Народный Комиссар сидит в кабинете, обтянутом «веселеньким» кретоном в цветочки, за «декадентским» письменным столом белого дуба. Кругом — диванчики, пуфы, семь слонов, колченогий тигр. Народный Комиссар, должно быть, предпочитает «изящный уют» — дворцовой пышности. Он, конечно, мог бы выбрать помещение повнушительней. Выбирать есть из чего — весь Зимний Дворец.

Вот, например, Штернберг, комиссар «Отдела Изобразительных Искусств». Он прибыл из Парижа, точнее, из «Ротонды» прямо в Зимний Дворец, чтобы «принять власть» из рук «призвавшего» его пролетариата. Выбор пролетариата был сделан правильно. У Штернберга был солидный художественный стаж фотографа-ретушера. Было и «марксистское прошлое» — вечера, проведенные на углу Распай и Монпарнаса за «боком» и художественно-революционной беседой с будущим Наркомом искусств.

«Восставший пролетариат» на примере Давида Штернберга лишний раз показал свое умение ставить людей как раз на то место, к которому они предназначены самой судьбой. Телеграммой Луначарского он призвал Штернберга вершить российские художественные судьбы. Спешно отретушировав последние заказы (не стоит ссориться с клиентами — неизвестно, как еще обернутся дела), выпив в Ротонде прощальное «деми», — Штернберг прибыл.

Помещение себе — не в пример Луначарскому — он выбрал величественное.

Маленький, щуплый, заикающийся, он сидит в каких-то раззолоченных хоромах. Кругом малахит, штофные занавеси, саженные вазы. В гигантском кресле на львиных лапах с кожаной обивкой, тисненной золотыми орлами, в сереньком пиджачке и голубых манжетах «Линоль» (не требуют прачки — целлулоидировано — патент) сидит бывший фотограф-ретушер, а ныне,

после Луначарского, «первое лицо в живописи» — Давид Штернберг. Сидит — и скучает. У Луначарского — полная приемная. У Штернберга — никого. За неимением дел он занимается на досуге... немного забытым в Ротонде русским языком.

— У меня болит нóга, — читает он вслух.

— Ногá, — поправляет приставленный к нему секретарь.

Штернберг обижается :

— Ви поправляйте настоящие ошибки! А ви придираетесь к пустякам. Нóга — ногá — ну какая разница!

Редких писателей Штернберг занимает разговорами о парижской художественной жизни.

— Пикассо!.. Если только он заметит у вас там краску или интересный мотив — так кончено. Украл. У нас на Монпарнасе все художники его остерегаются. Если он придет — я, как и говорил: "Погодите, господин Пикассо — у меня не прибрано". И пока он ждет за дверью — все холсты переверну к стене. Так ему что! Такой нахал — перевернет обратно и все высмотрит. И если что ему понравится — так это уже не ваш мотив — это его мотив...

Но посетители у Штернберга редки. Похвастать секретарем и царским помещением, потолковать о Пикассо — не всегда удается. Посетители пока, минуя кабинет комиссара Изобразительных Искусств, осаждают приемную Народного Комиссара.

Кокетливая приемная — тоже кретон, пуфы и слоны — полна народу. «Какая смесь одежд и лиц!»... Итальянец — скульптор, специалист по «Ню» (преимущественно «на шкуре льва» или «со змеей») — принес проект памятника Лассалю. Актриса из «Аквариума» — очень миловидная, кстати, — хлопочет о переводе в Мариинский. Старуха княгиня с трясущейся седой головой держит свернутую трубкой жалобу на Совет, грабящий ее особняк. Тут же и Председатель Совета — жуликоватый молодой человек в галифе, крутя ус, презрительно поглядывает на старуху: посмотрим, чья возьмет. Иероним Ясинский — первый из «крупных русских писателей», признавший большевиков. Саженный рост, седая грива, выражение лица — «сплошное благородство». Очень импозантный старик. Для воспроизведения на открытках, на фоне серпа и молота, вполне заменяет Льва Толстого. Ну и эстеты, поэты, художники в возрасте от семнадцати до двадцати трех, все больше левых течений — «ничевоки», «всеки», «ослиные хвосты», «бубновые тузы». Теперь на их улице праздник — футу-

ризм официально объявлен «господствующим искусством». Что ж, в добрый час!

Собственно пролетариата — почти не видно, если судить по платью. Впрочем, вот в углу два не то старших дворника, не то водочных сидельца солидно переговариваются:

— Да, это тебе не шутки. Это тебе не вакса.

— Родной племянник, сестрицын. Все наше семейство от него отчуралось. Первое дело — вор, второе дело — пьяница запойный, третье дело — хулиган. Родную мать только и не зарезал, что она прежде того от горя померла...

— Д-да... Это тебе не шутки.

— ...Лежит, бывало, на Лиговке, в дерьме, рожа расцарапана, на ногах опорки...

— Д-да... Это тебе...

— ...Теперь комиссар в нашем районе. Захожу к нему — все-таки племянник, сестры сын. Насчет муки и вообще. Сидит он, брат ты мой, за ломберным столом, куртка на нем кожаная, новенькая, золотые зубы вставил. Эй, кричит, подать мне мою машину. Еду в партейный Комитет...

— Это тебе не вакса. Многое случается. А сюда зашли по какому делу?

— Насчет стекол. Стекла выбитые подрядились в Зимнем вставлять. А вы?

— За разрешением. На рояль. Рояль у нас в доме с самой войны в подвале стоит. Немецкий. Зря стоит. Домовый комитет постановил распилить на дрова. Ан — нельзя без Луначарского. За разрешением и пришел. Думаете, выдаст?

— Выдаст. Он, говорят, добрый...

...В общем, просителей человек пятьдесят. Секретарь Луначарского — молодой человек, бледный, томный, с челкой на лбу, с подведенными глазами и сиреневым галстуком-«папильоном». Он — эстет неопределенной профессии. Лицо его давно примелькалось всем посетителям «Вены», «Бродячей собаки», разных концертов и вернисажей. Он уже лет десять толчется в петербургской богеме. Все его знают в лицо, никто не знает толком, ни кто он, ни как его фамилия.

Женоподобный и завитой, секретарь не помнит зла. Не помнит небрежно протянутых двух пальцев, невежливо недослушанных излияний, неотвеченных поклонов на улице. Нет — «власть» не вскружила ему голову.

На любезные улыбки тех, кто вчера еще отворачивался от него, — он отвечает сияющей готовностью сделать «все от не-

го зависящее» для «старых приятелей». Таких оказалось вдруг множество.

На густо напудренном лице товарища секретаря играет смесь томности, растерянности, удовольствия. Грациозным жестом он откидывает портьеру, отделяющую будуар-приемную от «будуара» Народного Комиссара. Из толпы просителей новоиспеченные «друзья» делают ему знаки — «меня»... «меня». Секретарь на минуту задумывается: как бы провести «приятелей» вне очереди, не вызвав неудовольствия остальных? А! — Придумал.

— Граждане, кто с запиской от Горького — пожалуйте.

Три четверти ожидающих радостно вскакивают: я... я...

... У Народного Комиссара — прием. Он сидит, обложенный папками, печатями, циркулярами и другими атрибутами власти. Поблескивая пенсне, он перебирает эти бумаги, сметы, чертежи...

Входит посетитель.

— Прошу садиться, — бросает Народный Комиссар, мельком, но «проницательно» взглянув на вошедшего и снова опуская взгляд.

— Прошу садиться. Изложите ваше дело. По возможности короче. Я страшно занят.

Посетитель редко «излагает дело» сам. По большей части у него есть записочка «от Горького», не от Горького, так от кого-нибудь другого.

— Вот, товарищ комиссар, — мнется он. — Вот... письмо от... где... я...

Дрр... Звонит переносный телефон на столе у Луначарского. Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить, товарищ — Алло! У телефона Народный Комиссар... Дрр... Дрр... Дрр... — Алло! Да перестаньте же звонить!

Наконец телефон перестает звонить. Телефон новенький. «Акустика» в нем хорошая. Не одному Луначарскому слышно, как на другом конце проволоки кто-то надрывается:

— Откуда?..

— У телефона Народный Комиссар...

— Откуда? Зимний? Позовите Якова.

Луначарский, пожимая плечами, оборачивается к секретарю.

— Спрашивают какого-то Якова. Есть у нас товарищ Яков?

Секретарь презрительно улыбается.

— Яков? У нас? Connais pas, — вдруг жеманно выпаливает он, забыв о неуместности для представителя рабоче-крестьянской власти парижских оборотов... — Понятия не имею, —

поправляется он, смутившись. — Впрочем... Кажется, кто-то из товарищей-служителей. Я сейчас справлюсь...

Он грациозно ныряет за портьеру.

Луначарский ждет, поблескивая пенсне и перебирая бумаги. Ждет и посетитель, машинально откручивая кончик конверта на письме, где «все изложено».

— Откуда?.. Зимний... Откуда?.. — гудит снятая телефонная трубка...

Через некоторое время секретарь возвращается в сопровождении румяной бабы. Она распространяет сильный запах жуковского мыла, рукава ее засучены.

Баба берется за трубку. Хлопок мыльной пены, помедлив на ее локте, падает на портфель Народного Комиссара.

— Откуда?..

— Яков Петрович вышли... На Васильевский, струмент починять. Скоро должен вернуться...

— У... У... У... — гудит трубка.

— Только сейчас признали? — жеманится баба. — Вот вы какие, не узнаете... Маланья Сидоровна и есть...

Она жеманится и болтает. Новый клок пены начинает собираться на багровом конусе ее локтя, угрожая на этот раз колену Луначарского. Народный Комиссар осторожно отодвигает колено.

— Вот вы какие, — воркует баба, — без делов к нам уж и не заглянете...

На лице Луначарского смесь досады: время — деньги, с озабоченной торжественностью — да, пролетарские министры — не царские. Проситель, открутив угол рекомендательного письма, теперь тщательно его разглаживает. Губы эстета-секретаря, против его воли, складываются в брезгливую усмешку.

— Вот вы какие... А еще кумы...

Наконец это торжество демократизма кончается. Баба уходит. Снова берясь за бумаги, Луначарский бросает:

— К вашим услугам, товарищ. А?.. Письмо? Позвольте...

С сурово озабоченным видом он пробегает письмо.

— Гм... Отсрочка прибыла?... Деятель искусства... Конечно... Лично я — бессилен... Впрочем... Товарищ, — обращается он к машинистке, — будьте добры... Военному комиссару... Прошу... В виде исключения... Отсрочку... Совершенно незаменимому... Лично мне известному...

— Как ваша фамилия?

— Петров.

— ... Лично мне известному товарищу Петрову... А фамилия вашего друга?

— Попов.

— ...И лично мне известному, высокоталантливому...

... Сияя, «лично известный и высокоталантливый» уходит, унося свежеотпечатанное «отношение». Просьба Луначарского — еще подействует на этот раз. Комиссар, прочтя адресованную ему просьбу, поморщится, но все-таки исполнит просимое. Только все сильней они морщатся, все неохотнее исполняют... Скоро...

...В кабинете Луначарского уже новый посетитель. Снова Народный Комиссар грозно — благосклонно — диктует:

— ...В изъятие из правил прошу снять арест с сейфа, принадлежащего гражданину Сапогову, председателю ассоциации поэтов-футуристов «Куб».

Снова Нарком размашисто расписывается и протягивает гражданину Сапогову заветную бумажку. Гражданин Сапогов, вероятно, добьется своего и, вынув из сейфа свои брошки и портсигары, успеет уехать за границу. Но скоро... Скоро — Военный Комиссар, прочтя просьбу Луначарского, топнет ногой и разорвет ее в клочья. И Комиссар банковский холодно улыбнется в лицо «председателя ассоциации поэтов-футуристов». — «Ничего не можем сделать... Слишком много записок пишет товарищ Народный Комиссар, по... доброте сердца...»

Скоро в кретоновом будуаре расточительного на рекомендации Народного Комиссара сильно поубавится посетителей. И прибавится их — этажом выше, в кабинете просто комиссара Штернберга. Скоро комиссар Штернберг уже не будет иметь досуга изучать позабытый в Ротонде русский язык...

Заседание идет к концу. За столом — Штернберг-председатель и несколько членов только что образованного «И-З-О» (Отдела Изобразительных Искусств). Члены ИЗО — художники из левых, уже доказавшие свою преданность пролетариату прославлением его «конструктивно» — и в гипсе, и на полотне. Заседание как раз и посвящено вопросу, как поддержать этих самоотверженных борцов за революцию. Нет ведь больше Морозовых и Гиршманов, чтобы покупать картины. Да эти безвкусные снобы разве способны были бы оценить их передовое творчество? Ну, хотя бы шедевр товарища X, над которым он так долго работал. К гладильной доске прикреплен никелированной цепочкой от ключей кирпич. Называется «Ленин в ссылке». Разве Морозовы бы оценили?

Но пролетарская власть — оценит. Недаром Штернберг возглавляет ИЗО. В самом деле, не все ли равно, ногá или нога? Было бы стремление к высшему и революционный энтузиазм.

— ...Приобрести для музея бывшего Александра III конструкцию товарища Х «Ленин в ссылке»... — читает секретарь.

... Музей Александра III, конечно, недурно. Но в конце концов, все-таки — наследие буржуазии. Наиболее передовые товарищи даже требуют сожжения всех этих мертвецких. Сжечь, пожалуй, слишком крутая мера. Но основать собственный музей — необходимо.

— ... Постановили, — читает секретарь, — основать Музей Художественной Культуры... Изыскать... Установить... Ассигновать... Управление Музеем возглавляется Коллегией. Председатель Штернберг, члены — следуют имена присутствующих, секретарь, читающий протокол, с благородной скромностью произносит собственное имя.

Главное — сделано. Музей — основан. Суммы отпущены. Но все-таки — где будет помещаться Музей, чем пополняться?

Совещаются по этому поводу недолго. Там, где есть революционный порыв, — могут ли быть несогласия? Секретарь дочитывает протокол:

— ...Впредь до приискания помещения суммы, ассигнованные на Музей, выдать на руки товарищам... — следует перечень членов коллегии... — для приобретения ими произведений искусства, которые и составят ядро Музея...

Секретарь несколько обиженным тоном читает эту часть протокола. Увы, здесь его имя не фигурирует. Досадно. И несправедливо! Неужели, если человек при «кровавом царизме» был аптекарем, для него закрыты возможности революционного строительства?! Нет, не скоро мы изживем предрассудки проклятого прошлого!

Все это — заседания у Штернберга, основание Музея, дружное согласие насчет раздела «сумм» — скоро все это осуществится. Пульс художественной жизни страны переместится из «ситцевого царства» Луначарского в пышные покои Штернберга. Переместится и забьется по-иному — ровнее, методичнее.

Посетители «с письмами от Горького» будут уходить неудовлетворенными, их даже не примет товарищ комиссар. У него нет никакого вкуса к «широкой манере» его предшественника. Конечно, эффектно, морща лоб и поблескивая пенсне, рассыпать деньги и рекомендации, как Лоренцо Велико-

лепный, но разумно ли такое распыление «революционного порыва»? В тиши кабинета, в тесном кругу действительно «незаменимых» и впрямь «лично известных», работа идет, может быть, и не с таким блеском, зато результаты ее... реальные.

...Скоро будет так. Но пока Штернберг скучает один, а машинистка Луначарского отбила себе все пальцы, отстукивая письма и отношения. С лица изящного секретаря давно сползли пудра и крем-симон, и оно блестит вполне по-пролетарски. Сам «министр искусств» тоже как-то увял.

Со стороны может показаться не столь уж тяжелым делом — сидя в комфортабельном кресле, фигурно расчеркиваться на четверке бумаги. Но попробуйте проделать сто, а то и двести таких росчерков, особенно при каждом — ритуал открытых вопросов, понимающих кивков, строгих улыбок — одним концом губ...

...Завтрак опять пропущен. К «Фаусту и Городу», драме, которую сочиняет Народный Комиссар, опять не удается притронуться. Нет времени. Никогда нет времени! Время Луначарского — поистине деньги. Еще точнее, деньги и рекомендации.

После творческого дня — творческий отдых.

Большая гостиная. Восковые оплывающие свечи в старинном канделябре. Стол, покрытый парчой. На столе развернутая рукопись «Фауста и Города». Над ней склоненное, утомленное, строгое лицо Народного Комиссара. Рукопись... Свечи... Стакан воды... — Луначарский читает.

Слушают — «внимательно и чутко» — десятка два «избранных». Многие лица нам уже знакомы: они были утром на приеме в кретоновом кабинете — их принимали без очереди...

Теперь, «забыв угрозу жизни», они слушают «четкие стихи» Народного Комиссара в его «мастерском» чтении. Когда он останавливается на минуту, чтобы выпить глоток воды, легкий шепот восхищения проносится по залу. И снова — благоговейная тишина.

После чтения обмен восторженных мнений. X хочет писать музыку к поэме. Z — ее иллюстрировать. Y — переводить ее.

За дружеским диспутом распивают не одну бутылку вина, полученную по записке с печатью Наркомпроса со складов Смольного. Икра и ананасы в банках — тоже оттуда.

— ... Изумительно... Конструкция фразы — чисто мольеровская, — вдумчиво роняет козлобородый критик.

— При этом — гетевская просветленность, — вставляет другой.

— И темп Маринетти...

Народный Комиссар — нет, не комиссар, просто поэт среди братьев по искусству, может быть, старший из них, более озаренный, более мудрый — и только, — слушает эти отзывы, мягко поблескивая стеклами пенсне. То, что товарищ X отметил просветленность, его особенно радует. Именно просветленность тона он считает важнейшим достижением поэзии. Конечно, если при этом сохраняется темп...

Пустые бутылки сменяются новыми. Икра — тоже. Хозяйка салона — пышная дама с большими бриллиантами в ушах (конечно, они спасены из сейфа благодаря хлопотам Наркома), — пышная хозяйка в пышном пунцовом платье — кринолином, — отводит Луначарского в сторону.

— ... Анатолий Васильевич, — слышится шепот из угла. — Я в отчаянье... Ваша любезность... Наш театр... Все так дорого... Предыдущая ассигновка...

Луначарский отечески улыбается.

— Пустяки, дорогая. Мы это устроим...

Скоро все изменится. Скоро теперешние восторженные слушатели «Фауста и Города», основав Музей Художественной Культуры, перестанут «гутировать» стих Наркома и его мастерское чтение. Скоро благосклонная хозяйка салона станет менее благосклонной — ассигновки Наркома возвращаются неоплаченными. Скоро... Много неприятностей скоро придется испытать товарищу Народному Комиссару Просвещения и Искусств...

Но пока — свечи оплывают, камин горит, ценители поэзии тихо переговариваются, доедая последний ананас. Народный Комиссар собирает рукописи в портфель. Пора домой, он устал. Еще бы не устать! Но есть что-то бодрящее в этой усталости — трудовой, творческой, революционной. И *просветленность* и *темп* в одно время.

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (9)

«Пески» за чертой Суворовского проспекта были совсем особое царство — захудалое, сонное, провинциальное. Суворовский, конечно, тоже был не rue de la Paix, но все-таки там ходил трамвай, на одном углу кондитерская, на другом кинематограф, городовой в медалях регулирует движение, и публика, особенно по вечерам, идет стеной. И сама эта публика, хотя и не была блестящей, все же имела вид более или менее столичный — котелки и вуальки, перчатки и муфты. Но стоило свернуть с Суворовского на любую из пресловутых Рождественских, сделать несколько шагов в глубь «Песков» — и картина менялась.

...Восемь-девять вечера, но тишина и пустота такая, точно в три ночи. Желтый фонарь уныло мигает. До следующего такого же мутного и тусклого шагов тридцать тьмы. Огни в домах потушены, окна занавешены. Вот из «междуфонарной» тьмы вырисовывается какая-то подозрительная фигура: что, если это разбойник, которому вздумается вас ограбить? Кричите сколько угодно — кругом никого, ничего.

Фигура медленно приближается к источнику мутного света, очертания ее вырисовываются ясней. Нет, это не разбойник, это мирный житель сих мест, вышедший на вечернюю прогулку. Дойдя до фонаря, он, покачнувшись, останавливается. Левой рукой обхватывает фонарный столб, правой достает из кармана полбутылки. Уши чухонской шапки треплются на ветру, голова «запрокинута к звездам», водка слабо и сладко булькает...

Рождественские пересекались Дегтярной. За этим пересечением была уж совсем глушь — фонарей еще меньше, какие-то домишки, какие-то деревянные заборы, сквозь щели которых нередко высовывалась лохматая собачья голова, чтобы хватать за ногу зазевавшегося прохожего. «Пески», одним словом. И вот тут-то, в самом сердце «Песков», на углу вось-

мой Рождественской и Дегтярной, помещалась редакция газеты «Петербургский Глашатай».

В 1911—1912 гг., время от времени, по газетам и журналам, по литературным и театральным знаменитостям, просто по адресам, взятым наугад во «Всем Петербурге», рассылались отпечатанные на бледно-лиловой с жилками бумаге не то приглашения, не то уведомления или, как значилось на подзаголовке, «инвитации». В «инвитации» значилось, что получившее лицо имеет право посетить устраиваемый в редакции поэзо-праздник. Далее следовало перечисление изысканных удовольствий, на этом празднестве предстоящих, например танцев с факелами в исполнении «знаменитой танцовщицы Кармен, солистки инфанта Испании», или tire aux pigeons в роскошном зимнем саду редакции. Меню ужина, тут же сообщавшееся, было не менее «эпатантно»: филе молодых соловьев в Шамбертене 1799 года и фиалки в снегу из шампанского обещались тому, кто пожелает приглашением воспользоваться, не пожалев ничтожной суммы — пятьсот рублей, — взимаемой редакцией «Петербургского Глашатая» на «покрытие расходов».

Пятьсот рублей были, конечно, вполне надежной гарантией, что никто, кроме составителей отдела «Смесь» на последней странице какой-нибудь «Биржевой-вечерней», поэзо-праздником не заинтересуется. Но из вящей осторожности «директориат» «Глашатая» рассылал свои «инвитации» с опозданием на два-три дня против числа, на которое поэзо-праздник назначался. Так что если бы против всякого вероятия нашелся в Петербурге такой «любитель изысканного», который не пожалел бы «ничтожной суммы» за наслаждение отведать соловьиное филе под танцы испанской солистки, он, взглянув на календарь, мог только вздохнуть, увы, я опоздал. Если же этот эстет, велев приготовить свой голубой лимузин (ибо без голубого лимузина, разумеется, такого сверхэстета немыслимо себе и представить), отправился бы взглянуть хоть с улицы на место, где всего три дня тому назад происходило столь блестящее торжество, он увидел бы на углу Дегтярной и восьмой Рождественской вросший в землю деревянный домик с мезонином, герани и клетку с канарейками в окнах, дощатый забор, утыканный по верху гвоздями, и на калитке надпись «Остерегайтесь собаки». Что подумал бы эстет, глядя из своего лимузина на все это, решить не берусь — я не эстет, слава Богу.

«Иван Васильевич Игнатьев — директор эдиции «Петербургский Глашатай», Игорь Северянин, Василиск Гнедов, Константин Олимпов, Граал-Арельский — члены директориата на отдыхе в Ницце».

По тем же адресам, что и лиловые с жилками «инвитации», рассылалась и фотография-открытка с такой подписью: «Директориат» сидел на фоне мраморной урны и трельяжа, вытянувшись по-солдатски на козетке в пуговочки. На директоре — Игнатьеве — распахнутая хорьковая шуба, цилиндр и тройная цепь, пущенная по жилету. Игорь Северянин в «приличном пальто» с каракулевым воротником. Арельский — в студенческом. Олимпов и Василиск Гнедов с поэтическими кудрями, покрывающими свежезакупленные бумажные воротнички. На круглом столике перед козеткой — бутылка шампанского, предусмотрительно повернутая этикеткой назад и пять длинных граненых бокалов из приданого бабушки «директора эдиции»...

...В начале 1911 года, когда Игорь Северянин из своего знаменитого четверостишия —

Я, гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеместно обэкранен.
Я повсесердно утвержден —

мог с легким сердцем (что он и делал на все лады) «утверждать только содержимое первой строчки, ибо победой упиваться было пока не с чего — будущего мимолетного «властителя дум» медичек и бестужевок еще никто не знал — к Северянину, невероятно, пришел издатель, желающий его печатать. Он был немного молод для издателя — ему было девятнадцать лет, но хорьковая шуба выглядела солидно и тройная цепь, пущенная по жилету, была полновесной 56-й пробы. Потом уж выяснилось, что именно эта цепь вместе с огромными наследственными часами и есть главный фонд «Петербургского Глашатая». Часто, чтобы выкупить из типографии какую-нибудь «эдицию» страниц в пятнадцать объемом, цепь эта отправлялась в ломбард. Иногда за ней следовала и хорьковая шуба. Но как бы там ни было — все-таки это был издатель, первый издатель, разбивающий своим появлением стену всеобщего равнодушия, о которую уже столько лет как рыба об лед бился Северянин с 1905 года, день за днем, год за годом ожидавший славы, которая все «почему-то» не приходила.

Кстати, говорят, что все зависит от силы желания, если «как следует» желать, то и сбудется желаемое, как бы оно ни было маловероятно. Не этим ли объясняется успех певца «ананасов в шампанском», успех, исчезнувший так же молниеносно, как начался? Редкая «физическая» талантливость Северянина, конечно, несомненна... но все-таки, когда на вечерах «божественного Игоря» я смотрел на тысячную, без всяких преувеличений, толпу (и не из одних же швеек она состояла!), рычащую от восторга на разные его «грезовые эксцессы» и «груди, как дюшес», я спрашивал себя, что же все-таки с этими людьми? В самом деле, может быть, Игорю Северянину так хотелось славы, что он вызвал ее из пустоты, как факир из пустоты выращивает пальму. Потом «упоение победой» ослабило страстность желания и мираж исчез так же, как появился?..

Итак, Игнатьев явился к «еще неведомому избраннику» и предложил в его распоряжение свой кошелек, точнее, часы и шубу. Издавать было что — три огромных тома стихов, «приготовленных к печати», давно ждали издателя. Но нет, издавать их в расчеты Игнатьева не входило. Книги можно издать когда-нибудь потом, когда «дело разовьется». Теперь же он предлагал Северянину газету, пока еженедельную, где о гении его будут писаться статьи и где самые смелые, самые «острые» его поэзы будут помещаться в таком количестве, в каком Северянин пожелает. Закладывать шубу в ломбард только для того, чтобы содействовать «обэкраненью» и «повсесердному утверждению» Игоря, в расчеты Игнатьева не входило. Он не менее Северянина «желал славы». Только в отличие от Северянина, в даре которого, при всей его пустоте, было что-то и впрямь «божественное», — Игнатьев был бесталанный человек с низким скошенным лбом и тяжелым взглядом, которому, на его несчастье, захотелось блистать, удивлять, очаровывать сердца, потрясать мир.

«Петербургский Глашатай» начал выходить, правда не еженедельно, а когда придется. Внешность его была жалкая — четыре страницы газетной бумаги малого формата, с расплывающейся печатью захудалой типографии. Содержание... Северянин печатал там свои поэзы, Игнатьев — критические статьи и афоризмы. Перо у него было бойкое. За неимением досуга он еще не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни даже Пушкина, в чем без особого стеснения признавался. «Зато» — прочел всего Пшибышевского и «Портрет Дориана Грея». Лорд Генри особенно его пленил. Он считал себя подражателем уайльдовского

героя, только на новый, футуристический лад, что, понятно, еще «шикарней».

В промежутках между выходом «Петербургского Глашатая» устраивались те самые поэзо-праздники, о которых задним числом извещали бледно-лиловые «инвитации».

...Часа два ночи. В трех маленьких, низких комнатах мезонина страшная жара: печи докрасна натоплены, окна без форточек глухо замазаны на зиму. Под висячей керосиновой лампой — растерзанный стол с грязными тарелками и пустыми бутылками. По диванам и стульям разваливались гости и директориат, опьяненные «Шамбертеном 1799 года» из казенной лавки напротив. Северянина нет, когда «празднество» начинает становиться гнусным, он неизменно уезжает. Его и не удерживают, его умение пить не пьянея и барственный холодок стесняют компанию. Но вот он, единственный человек, которого здесь стесняются и побаиваются, ушел. Теперь — гуляй вовсю.

Гости, как на подбор, не просто пьяницы, а прирожденные алкоголики. Вот семнадцатилетний мальчик с голубыми глазами и розовым припухлым ртом — Константин Олимпов, сын Фофанова. Он был уже в белой горячке — стрелялся, топился, бросался на мать с ножом, дважды сидел в доме для умалишенных. Вот Василиск Гнедов, постарше, в плечах косая сажень, кулаком как-то убил волка. Тоже побывал на «одиннадцатой версте». И еще какие-то — все «поэты», все «фантасты и грезеры»... Всех их подобрал где-то по ночлежкам и пивным директор «Петербургского Глашатая» — ссужает их двугривенными, поит «Шамбертеном 1799 года» и печатает их пьяный бред в своих «эдициях»... Зачем?

«Солистка инфанта» — Кармен — женщина лет сорока со смуглым лицом, странным и не без прелести — плачет. На коленях перед ней огромный человек с длинными всклокоченными седыми волосами, по фамилии Ларионов. Он тоже плачет обильными пьяными слезами. Он влюблен в эту гуляющую по вечерам между Коломенской и Пушкинской героиню Мериме.

Он плачет, размазывая рукавом по лицу текущие, как вода, слезы.

— Калмен... дологая... Калмен — я тебя люблю... — Ларионов не поэт, он только любитель поэзии и мелодекламатор. Он совершенно шепеляв, так что часто трудно его понять сразу. Это-то и пленило Игнатьева.

— Калмен, дологая... Не плаць! Плиеспай ко мне в Гатцино. Я подалю тебе... самых луццих яицек импелатолского птицника...

Он не хвастает. В самом деле, пожелай только Кармен, — он подарит ей сколько угодно «яицек», самых свежих, самых отборных. Он в Гатчине заведует дворцовым птичником.

Но Кармен не слушает.

— Калмен, я буду тебе читать стихотволения...

— Эй, — вдруг кричит Игнатьев. — Эй! Tire aux pigeons! Tire aux pigeons! — вскакивают все, кроме Кармен и Ларионова. — Tire aux pigeons!

Крича и толкаясь, прихлебывая из стаканов и бутылок, по узкой деревянной лесенке взбираются на чердак. На чердаке лютый холод, но никто его не замечает. Напротив, иные сбрасывают пиджаки, чтобы было ловчей...

...По низкому, тесному чердаку, между веревок с бельем и разной рухлядью, мечется ошалелый, выпущенный из клетки голубь. За ним гонятся, швыряют в него пустыми бутылками, камнями, чем попало. Деваться ему некуда, окна забиты, потолок низкий. Ошалелая птица мечется среди ошалелых людей под градом камней и бутылок. Как ни неловки пьяные движения, какой-нибудь удар попадает наконец в цель...

Сам Игнатьев не участвует в охоте. Он только смотрит и улыбается. Улыбка у него неприятная...

...Однажды Ларионова, возвращавшегося с такого «поэзопраздника», задержала полиция за появление на улице не только в пьяном, но и «неподобающем» виде. Вид был действительно неподобающий, особенно для «придворного лица», как он любил себя называть. Половина его пышной седой шевелюры была гладко выбрита, и череп выкрашен был в зеленый цвет масляной краской. Лоб и щеки расписаны синими вопросительными знаками и красными восклицательными. На изрезанном в клочья пальто болтался бубновый туз...

Все это проделали над ним участники поэзо-вечера по почину и под руководством «директора эдиции». И — маленькая подробность: подбирая вокруг себя пьяниц и спаивая их, сам Игнатьев не пил ничего. Он пил клюквенный морс или чай, редко стакан пива. Так что и бритье Ларионову головы, и многое другое в том же роде — всего не перечислишь — делалось им в состоянии совершенно трезвом...

Случайно (кажется, это было в начале 1913 года) я попал к Игнатьеву на свадьбу. Я получил приглашение и запомнил адрес. Как раз в вечер свадьбы мне пришлось часу в двенадцатом ночи проходить мимо той кухмистерской на Кузнечном, название которой стояло на свадебном приглашении. Все окна

были освещены, слышалась музыка. «Это не Игнатьева ли свадьба?» — спросил я у швейцара. «Так точно», — распахнул он дверь. Не зайти ли? Но раздумывать времени не было, какой-то футурист из игнатьевской свиты узнал меня и потащил представлять невесте.

Невеста была совсем молоденькая, с птичьим миловидным личиком. Она все время поправляла фату и тоненьким голоском приговаривала на все стороны: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». Столы были завалены индейками и заливными, приглашенных видимо-невидимо. Игнатьев во фраке, напомаженный и завитой, тоже потчевал гостей и улыбался. Улыбка была всегдашняя, неприятная.

На другой день молодые делали визиты, а когда вернулись домой, Игнатьев зарезался.

— ...Иван Васильевич был, как всегда, веселый, шутил. Были у тетеньки, потом у Никифоровых, потом у полковницы... Извозчик был у нас по часам взят. Когда вышли от полковницы, Иван Васильевич говорят: «Поедем в гостиный, выбрать тебе брошь». А я отвечаю: «Лучше завтра, устала я». Они посмотрели так сбоку и говорят: «Завтра? А если опоздаем? Впрочем, как желаешь», — и велел кучеру ехать домой. Я еще спросила, почему же завтра поздно — ведь будний день, среда? Только они ничего не ответили...

...Как вернулись домой, вошли в кабинет, Иван Васильевич сейчас же дверь на ключ. Зачем закрыл? А он уже ко мне. Смотрит так страшно, — любишь меня, шепчет, любишь, хочешь вместе со мной умереть? И бритва в руках.

Не помню, как и вырвалась. Должно быть, хоть на ключе, да щеколда не задвинута — дверцы и поддались. Вырвалась, подняла крик. Покуда сбежались люди — они уже лежат все в крови, хрипят...

Заплаканные глазки на миловидном птичьем личике смотрят так же наивно-удивленно, как несколько дней назад на свадебном балу. И в тонком голоске та же интонация, что тогда: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». В кабинете Игнатьева, где мы разговариваем, чисто прибрано, канарейки заливаются, на столе аккуратно сложенная груда «эдиций» и рукописей, над столом на гвоздике пузатые часы с толстой цепью пятьдесят шестой пробы. И рядом в рамочке под стеклом — «художественное увеличение» с открытки: «Директориат «Петербургского Глашатая» на отдыхе в Ницце»...

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ (10)

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее, блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался «роковым».

Казанская площадь была полна народу. Флаги, портреты, «Боже, царя храни» с одной стороны, с другой свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагонадежными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городовых с криком «Расходитесь, расходитесь, господа» оттиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. «Последние тучи рассеянной бури» — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать кому-то жалобу; кричал, что он знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было

совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава.

Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.

— Маленькое недоразумение... Сейчас мы это уладим... — Он взялся за карандаш. — Ваши фамилии, господа, адреса...

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и «род занятий», пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Господин пристав. Даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца.

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав. — Вы вон писатель... Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборея» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом.Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наколке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет, задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя...

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. Поэтому скажу два слова об обоих.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А.Горенко печатала там стихи:

На руке его много блестящих колец
С покоренных им девичьих нежных сердец.
Но на этой руке нет кольца моего.
Никому, никому не отдам я его.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое — его опять, еще пуще, ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А.Ник.Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Си-

риуса», скоро прекратился сам собой. Тогда Гумилеву пришла мысль — не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, — но того же типа, т.е. поэты сами хозяева и «полная независимость».

«Гиперборей» выходил ежемесячно, аккуратно изданными книжками в 32 страницы. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле. «Послушайте, — сказали как-то Лозинскому, — Ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно». Лозинский нахмурился. «Действительно, вы правы, неловко...» Но сейчас же лицо его прояснилось: «Ну ничего, я им скажу...»

Повторяю, редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, «к сожалению», возвращались, вряд ли могли долго сердиться — так мягко, деликатно и необидно для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то отвергнутый поэт переменялся с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей, из великолепного котика, Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он по крайней мере клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы хотя бы с такими общепризнанно-мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены, как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете,— оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, — его не видно, он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость — и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление.

«Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость», — говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев утверждал, что, если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке. Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает — так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, — незамысловатый экспромт.

Не унывай
Садись в трамвай
Такой пустой
Такой восьмой.

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный:

«Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?»

Спрашивал это... мужик. Простой мужик в картузе, в валенках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные сверлящие глаза.

«На Разъезжей, 26», — сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно — минуту мы стояли, не понимая, почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол...

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он узнал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услыхал обрывок разговора? Нет, он шел нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, не о том ли «пустом восьмом трамвае».

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ. «Это вам показалось со страху после участка». Практический Б.Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес, ну и спросил, может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик. Наша собственная фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое. Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова.

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург, — бродит вот так, мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице. — «Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?» Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбове, т.е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то, зачем-то бродит — уже очень долго, с начала девятисотых годов, — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он неизвестно почему вдруг прекратил, уйдя от нее вот так с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и, мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из «четвертого измерения» строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался «Из книги невидимой». Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» — для нас — была видимой, кому надо, кому надо «объявятся», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности. На время? Навсегда? Кто знает — поэзия дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана
Вышло больное дитя.

Это Добролюбову посвящено. И эпиграф пушкинский к нему: «А.Д.М. своею кровью...» — имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

...Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться «рыцарю бедному», давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем...

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: «Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?»

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом «сыпал» вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое... не хуже какого-нибудь Чаплина, — оставаясь при этом в каждом движении, каждом шаге «ангелом», ребенком, «поэтом Божьей милостью» в самом чистом и «беспримесном» виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: «Георгий Иванов и О.Мандельштам». Конечно, заказать такую карточку пришло в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши «молодые поэты», что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены, так что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», «комического персонажа» — из жизни поэта Мандельштама.

В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот, уж наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
...Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.
Нам остается только имя:
Блаженный звук, короткий срок.
Прийми ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная, «Пушкин прощается с морем»), — поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, — выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом «живописном уголке Крыма», — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры служанки, чтобы ему дали графин воды; получив его, он выпивал, конечно, все сразу, и опять начиналась мука... Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения «живописного уголка». Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок». Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель — армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...

С флюсом, обиженный, некормленый, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам».

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед — может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, — видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок... Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим...

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо: «Господин — часы обронил». И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув «свиное ухо»...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ (1)

* * *

Кончалась «музыка» в Павловске, начинался сезон в Петербурге. Ничего особенного не случалось — из года в год было все то же. Осень, вернисаж, первый снег, балет, новая книга стихов, крещенский мороз — так до первого дыхания ни с чем не сравнимой петербургской весны, до белых ночей, до новой «музыки»...

И только. Но веял над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

Отблеск этого «света» лежит на всех наших воспоминаниях о Петербурге.

Будущий коммунист граф З. открыл в 1911 году в своем дворце институт для изучения искусств.

З. любил, чтобы его звали Herr доктор — он был доктором философии какого-то немецкого университета. В начале войны он в патриотическом порыве отослал свой диплом обратно «коварным немцам». Впрочем, все обошлось благополучно — граница была закрыта, и диплом вернулся к графу. З. по костюму знали многие петербуржцы. Он одевался под тридцатые года, носил баки и старомодный цилиндр. На «вербах» он обходил ларьки, покупая «матрешек» и «американских жителей». Два рослых лакея, одетые гайдуками, шли за доктором философии, неся покупки.

Этому З. пришла идея института. Сказано — сделано. Несколько комнат дворца были отведены под библиотеку и аудитории. З. с великосветской галантностью сам развез приглашения будущим студентам. Те, что приглашений не получили, могли записываться у директора. Граф принимал просителей лично. Для молодых людей лучшей рекомендацией

рвения к искусству был прилизанный пробор, для девиц — миловидность и хороший французский выговор. Косоворотки и синие чулки отвергались беспощадно.

Допущенные к занятиям — могли пользоваться библиотекой, перенумерованной через десять номеров для солидности. Вскоре начались лекции*.

Два «гайдука» устанавливают проекционный фонарь. На кафедру входит лектор — элегантный молодой человек. Тема — псевдонародные песни. «Гайдуки» наводят фонарь на экран — бледно и криво рисуется страница какой-то старинной рукописи. «Правей, болван, — шипит директор неуклюжему лакею, — еще... еще прибавь огня...» «Виноват, ваше сиятельство». «...И тэк, господа... — цедит лектор — ...здоровое народное творчество одно, а эт-то... эт-то совсем другое... Д-да... Народ — великий художник...

Девичий стыд вином залила,
Целый подол серебра принесла.

Натяжка! Нелепое преувеличение. Целый подол серебра, т.е. рублей двести... Э-э... за то, что стоит четвертак».

Как и полагается барину, меценату, З. вывез из Италии живописцев для декорирования своего дворца. Декорировали, впрочем, только один кабинет. Зато образцово: девицы, войдя в это святилище, заливались краской и ахали, молодые люди с проборами ржали. Искусство было не первоклассное, но знание предмета и разработка деталей — поразительны.

Один из этих итальянцев во время войны вошел в большую моду — он занялся скульптурой: «Вильгельм под русским сапогом», «Немец с союзным младенцем на штыке». ...Другой шагнул еще выше. В 1919 году я видел его в Публичной библиотеке: на ломаном языке, размахивая мандатом, он требовал себе все книги о Перовской и все ее портреты. Наркомпрос заказал ему памятник знаменитой революционерке...

* * *

Одна из первых студенток этого института, конечно, была NN, знаменитая NN.

---

* Позднее этот институт потерял свой «светский» характер и стал учреждением вполне серьезным. — *Прим. авт.*

Не забыта и...
В титулованном кругу.
Ей любовь одна отрада
И где надо и не надо.
Не ответит, не ответит, не ответит «Не могу».

Эти стишки Кузмина, исполнявшиеся хором в «Бродячей собаке», привели NN в восторг.

— Ах Михаил Алексеевич, какой вы милый, что так верно обо мне написали!

— Дорогая NN, я очень рад.

Круг был титулованно-артистический — другого NN не признавала. Сама она звала себя «демонисткой» и все собиралась устроить черную мессу. Но так и не собралась: надо было резать кошку, а NN обожала животных.

Ей было лет тридцать. Наружность? Если бы не перья, ленты, амулеты и орхидеи ее нарядов, NN можно было бы назвать хорошенькой.

Пока были отцовские деньги — была экзотическая квартира на Фурштадтской, где грум с «фиалковыми глазами» разносил гостям кофе и шерри-бренди, ловко шагая через оскаленные морды леопардовых шкур. Потом деньги вышли, и NN переехала со шкурами, но уже без грума в Черняковский переулок, в здание знаменитых бань. С неудобствами новой квартиры ее мирило именно то, что она помещалась в банях. «Не правда ли, как экстравагантно! — Где вы живете? — В бане. Звонят в телефон. — Это баня? Попросите NN. — Сию минуту. Адски шикарно!»

Кстати, имя и отчество были подлинные — родители благоговели перед классицизмом.

У Паллады — чай. Титулованно-эстетическое общество.

Три четверти гостей — тоже поэты. Все они сочиняют стихи в смешанном стиле Бальмонт — Кузмин. Переписывают в сафьяновые тетрадки, читают на пятичасовых чаях, потом печатают в «Сириусе» на самой лучшей бумаге. Сам автор, преодолев стыд, разносит книгу «на комиссию» в книжные лавки. Приказчик презрительно морщится, вертит типографский шедевр: «Оставьте пяток... возьмем парочку... Расчет через шесть месяцев».

Через шесть месяцев автор получит обратно свои книги, увядшие, засиженные мухами, с порванными обложками. Не беда! Надо только переменить обложку — и будет второе издание...

4 Заказ 642

Хозяйка, откинувшись на диване с папироской в зубах, рассказывает, «как ее принимали»... в Тирасполе. Ведь она — артистка. Декламирует Бальмонта и «танцует» босиком его стихи.

— Ах, как меня принимали — цветы, овации, шампанское...

— Мой кузен Бубенчиков там предводитель, — вставляет курносый лицеист.

— Бубенчиков?.. Такой крупный, интересный?.. Как же! Он в меня влюбился... Он говорил — останьтесь у нас, будьте звездою Тирасполя... Но разве я могу жить без Петербурга, без белых ночей...

NN не только артистка, она еще пишет сонеты. Цезура в них не всегда в порядке, но зато сколько демонизма!

Пьют чай. Курят. Болтают. Разговор сам собой переходит на темы, скользкие во всяком другом обществе, но вполне естественные здесь.

— ...Картина Лаврова выставлена в Парижском салоне...

— Как я рада, — восклицает хозяйка. — Он талантливый мальчик... Он был моим... другом. Барон, достаньте из шкатулки мой список...

Она перелистывает маленькую золотообрезанную книжку. — Вот. Лавров... N 49... в позапрошлом году...

— А теперь который номер, NN?

— Семидесятый. Когда будет семьдесят пять, я буду справлять юбилей. — И она нежно прижимает к губам свою записную книжку. — Это моя душа — она переплетена в человеческую кожу...

* * *

Восемь часов вечера. У подъезда останавливаются собственные и извозчичьи сани. Гости раздеваются по петербургской привычке у швейцара и подымаются во второй этаж. Их встречает молодой человек в смокинге, с голубой гвоздикой в петлице — распорядитель вечера. В большой гостиной расставлены, как в театре, венские стулья. Это домашний спектакль, но не какой-нибудь чеховский «Медведь», а полупьеса — полубалет семнадцатилетнего гения. Другой гений — двоюродный брат автора — написал музыку, третий — его товарищ — декорации в бледно-сиреневых тонах. Балерины — сестра и ее подруги. Главную — мужскую — роль играет незаменимая NN.

Приглашенные — цвет петербургского искусства. Вот Н.Н.Врангель, вот Судейкин, вот Гумилев... Гости рассажива-

ются. Гаснет люстра. Взамен ее вспыхивает что-то серебристо-голубое. Густо напудренный, но красный даже сквозь пудру автор музыки ударяет по клавишам.

Первая картина. Поэт — один. Он повторяет монотонные слова: «Печаль — печаль... Снег — снег... Любовь — любовь...» Потом читает:

Прилетели бескрылые птицы
Из страны бледно-розовых роз.
Побледнели таинственно лица —
Прилетели бескрылые птицы...

Вдруг — ослепительный свет. За сценой барабан и крики «гип-гип ура». Композитор делается багровым от усилия, музыка — оглушительной. Потом — молчание. Входит коммивояжер — NN — с хлыстом в руках: «Где тут американский бар — я хочу сода виски!»

...Семь барышень босиком танцуют странный танец. Семь голубых цветов падают с потолка к их ногам...

Почетные гости первых рядов давно сидят, уткнувшись лицами в носовые платки. Кое-где заглушенный смех переходит в явный. Монокль прыгает в глазу Врангеля. Лицо Ахматовой перекошено от усилия сохранить серьезность.

В задних рядах — родственных — шепот, смесь гордости и недоумения... «Декадентское, но очень мило...» — «Charmant, charmant...» Одна мамаша возмущается: «Что сегодня с Машенькой — ведь она всегда так чудно танцует вальс...»

* * *

Их было очень много, надушенных и томных поэтов с хризантемами в петлице. Их внешность без ошибки свидетельствовала об изяществе музы. Поэты «божьей милостью» должны были пьянствовать и ходить оборванными, «народные» — в сапогах бутылками, футуристы — в кофте — так полагалось. Отступления принимались враждебно и товарищами и публикой. Футуристическая карьера Бенедикта Лившица не удалась, потому что он носил котелок и гетры.

Футуристы жили коммуной в пустой и холодной квартире на Петербургской стороне. Мебели не было — сидели на чемоданах, спали на соломе. Ходили они повсюду тоже скопом, пугая

встречных страшным видом. Огромные братья Бурлюки, такой же Маяковский и рядом тщедушный Хлебников и Крученых.

Футуристы с утра пили водку — кофе в их коммуне не полагалось. Прихлебывая «красную головку», стряхивали папиросный пепел в блюдо с закуской. Туда же бросались и окурки. Крученых, бывший по домашней части, строго следил за этим. Насорят на пол — приборка. А так — закуску съедят, окурки в мусорный ящик, и посуда готова для обеда.

За «кофе» толковали о способах взорвать мир и о делах более мелких. Как-то Хлебников этой ночью связал по ногам и рукам спящего Давида Бурлюка и хотел его зарезать; перед сном они поспорили о славянских корнях. Крученых совещался, что ему «читать» на предстоящем вечере — просто ли обругать публику или потребовать на эстраду чаю с лимоном, чай выпить, остатки выплеснуть в слушателей, прибавив: «Так я плюю на низкую чернь». Коммуна была за лимон.

Потом шли по делам — занимать деньги у доктора Кульбина, покровителя футуристов, подбирать обложку для «Садка судей» под цвет Исаакиевского собора, требовать интервью с «Игрушечной маркизой» — в журнале для женщин.

Давид Бурлюк, мозг школы, оставался дома, готовился к лекции о Репине. Он надевал куцый сюртук, сжимал в огромном кулаке крошечную лорнетку, вращал одним глазом (другой был вставной) и перед зеркалом репетировал вступление:

— Репин, Репин, нашли тоже — Репин. А я вам скажу (рычание), что ваш Репин... — Тут он делал привычное движение локтем в защиту от апельсинов и сырых яиц. Потом, церемонно кланяясь, выходил читать «на бис»:

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина!

* * *

Поэты «из народа», которых каждый сезон открывал Городецкий, держались в обращении тона елейного:

— Мы серые мужички — вы наши отцы, мы ваши дети...

Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.

Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились вы в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет заступница нас грешных. Смекал клетушку — много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-бусурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин — хороший человек, хоть и француз. Тут за углом, Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну вот и ладно, ну вот и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

— Ну вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай сверчок свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно.

* * *

За Калинкиным мостом, очень далеко, жила баронесса Т. Она писала стихи и печатала их под псевдонимом в собственном журнале.

Когда ночью загулявшей компании не хотелось расходиться, а ехать было некуда, кто-нибудь предлагал: поедем к баронессе.

Вопрос был только в извозчиках — повезут ли в такую даль? Гостям в доме за Калинкиным мостом были всегда рады.

Заспанная горничная не удивлялась, впускала ночных визитеров. Через четверть часа в пышном пеньюаре выплывала густо нарумяненная, тоже заспанная, но улыбающаяся хозяйка. «Ах, как мило, что заехали... Раб (голос ее становился повелительно-суровым), раб, — кричала она куда-то в пространство, — собери закусить».

Еще через четверть часа «раб» — муж баронессы, морской офицер, распахивал двери столовой: «Пожалуйте, господа».

В столовой, просторной и хорошо обставленной, в углу стоял человеческий скелет. В костлявых пальцах — гирлянда электрических цветов. В глазных впадинах — по красной лампочке.

Закуска, сервированная «рабом», не отличалась роскошью, зато вина и водки подавалось «сколько выпьют». Баронесса показывала гостям пример. Муж больше курил и молчал. О нем вспоминали, только когда слышался окрик: «Раб — еще мадеры! Раб — принеси носовой платок!» Он исполнял приказания и стушевывался до нового окрика.

— Баронесса, расскажите историю вашего скелета.

— Ах, это такой ужас. Он был в меня влюблен. Имя? Его звали Иван. Он был смуглый, красивый... Носил мне цветы, подстерегал на улице. На все его мольбы я отвечала — нет, нет, нет. Однажды он пришел ко мне страшно бледный. — «Баронесса, я пришел за вашим последним словом». Я смерила его взглядом: «Вы его знаете — нет».

Он уехал в свое имение (он был страшно богат) и стал учиться стрелять. Учился целый год, но представьте, выстрелил так неудачно, что мучился сутки, пока не умер. Ужас! Свой скелет он завещал мне.

Баронесса подносила к глазам платок:

— Иван, Иван, зачем ты это сделал!

— И вы не ушли после этого в монастырь?

— Я сделала больше — я написала стихи. Они выгравированы на его могильной плите.

В широком (слишком широком для мужского скелета) тазу «Ивана» видна аккуратно просверленная дырка — след рокового выстрела. Скелет маленький, желтый, он дрожит, когда его трогают, и трясет своей электрической гирляндой.

— Прежде он стоял в моей спальне, — томно прибавляет баронесса, — но пришлось вынести — несколько раз он обрывал свою проволоку и падал ко мне на кровать.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ (2)

...В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной — мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция «Гиперборея».

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино.

Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, к себе ночевать. Он два года пропадал — был в Крыму, оттуда выслали в Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с одним Мандельштамом путешествие через всю Россию, — и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.

— Кто там? — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака...

— Кто там?

— Это я.

— Кто я?

— Я... Мандельштам...

Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой после того, как он немного осмотрелся и отошел, было достать себе «вид на жительство».

— Да успеешь завтра.

— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем сейчас в Совдеп или как его там.

— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

— У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу.

— Вот. «Командующий вооруженными силами на юге России» значится в заголовке. Удостоверение... Дано сие Мандельштаму Осипу Эмильевичу... Право жительства в укрепленном районе... Генерал X... Капитан Y...

— ...И с этим ты хотел идти в Совдеп!

Детская растерянная улыбка.

— А что? Разве бумажечка не годится?

* * *

Первые стихи Мандельштама были напечатаны в «Аполлоне» в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть — все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены — их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин. Вскоре в петербургских литературных «салонах» стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы — он учился в Париже.

Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами, характерное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.

При всем этом он был похож чем-то на Пушкина... Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары и т.п. посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело, она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время и т.п.

Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой: «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштамта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!»

Стихи Мандельштама были замечены. Но мало кто оценил это «чудо», как называла их Ахматова. И он, инстинктивно чувствовавший свое «божественное» происхождение и с де-

тской беспечностью этого не скрывавший, — постоянно терпел обиды.

Мандельштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи. Ответа не получил — ну, мало ли что — письмо затерялось, может быть.

Приехав в Петербург и напечатавшись в «Аполлоне», решился позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор:

— Можно попросить Федора Кузьмича?

— Я у телефона.

— Говорит Мандельштам.

Молчание.

— Я бы хотел приехать к вам, Федор Кузьмич.

— Зачем это?

— Чтобы прочесть вам свои стихи.

— Я их уже читал.

— И услышать ваше мнение.

— Я не имею о них мнения...

В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников, одна поменьше, другая побольше. Брюсов объяснил: «Вот об этом — кипа поменьше — я буду писать в «Русской мысли». Об остальных не стоит».

В ворохе остальных лежал только что вышедший «Камень» Мандельштама.

— Как? Вы о «Камне» не будете писать?

Презрительный жест. Не стоит — эпигон. И Брюсов прочел:

Так. Но прощаясь с римской славой
С Капитолийской высоты,
Во всем величьи видел ты
Закат звезды его кровавой.

— Из этого вышел весь Мандельштам. И конечно, все его римские стихи не стоят одной из этих строк.

— Предположим. Но другие? Неужели ни одно вас не «трогает»?

— Ни одно!

— ...Он ненавидит его, — сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора. — Ненавидит за то, что Мандельштам ангел, а сам он только литератор!

Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила — он «пел» стихи, — но не так, как «поют» большинство поэтов, умеренно, но вовсю, как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное «пение» поэтов кажется странным, чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое отрицательное. Улыбавшиеся на манеру Х-а или Y-а, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать.

Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи: «Я опоздал на празднество Расина». Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные. Смешки и подхихикивания становились все явственней.

...Вновь шелестят истлевшие афиши
И слабо пахнет апельсинной коркой...

— Свиньи! — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену.

Я утешал его как мог — он был безутешен. «Свиньи, свиньи», — повторял он. Из зала слышался рев — хохота, криков, аплодисментов. Наконец сквозь слезы Мандельштам улыбнулся. «Какие свиньи!»

Уйдем, покуда зрители шакалы
На растерзанье Музы не пришли... —

сказал я ему в тон строчками из недочитанного им стихотворения.

* * *

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром — здесь он задыхался...

— Если здесь задыхаешься, там сломаешь шею, — холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв — его отъезд; обе стороны — и Мандельштам и его петербургские друзья — это сознавали.

— Может быть, и не сломаю!

— Сломаешь, — твердо повторил Гумилев.

Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у *такого* поэта *такой* голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной

жизни — имажинизма, Всероссийского союза поэтов, казенных издательств. Погуляет козочка и вернется домой. И кто знает, может быть, это Чистилище пойдет ему даже на пользу.

Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов — от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же, но вид у него был какой-то растерянный. «В Москве мне хорошо. А в Петербурге что ты можешь мне предложить?» — была одна из его первых фраз.

— Очень рад, что хорошо, — предлагать мне нечего.

— Нет, ты скажи, — настаивал он, — можно ли в Петербурге устроиться?

От хорошей жизни в Москве его явно тянуло обратно «домой». Я ему посоветовал оставаться в Москве — все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге — одни дорогие могилы.

Заговорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами.

— Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время.

Он смущенно признавался: ничего нет.

Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах среди разных неведомых имен на десятом месте мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами:

Куда как тетушка моя была богата
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель *акажу*,
Людовик, рококо — всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней придти,
И гордая собой упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душенька, Марат; работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот, говорит, портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
Читатель, согласись, не может быть того!

Читатель, грустно, не правда ли?

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ (3)

Один молодой поэт в поисках рифм доискался до такого двустишия:

Душа горит на сотне вертелов,
Лишь вспомню переулок Эртелев.

Неожиданно для себя этот изысканный эстет, правда в несколько причудливой форме, выразил чувства любого читателя «Речи» или «Утренней Биржевой»: в Эртелевом переулке помещалось «Новое Время».

Я сказал «помещалось». Это не то слово. Царило, властвовало... Эртелев, как известно, небольшая улица, и присутствие «Нового Времени» как-то подавляло эти два десятка домов между Бассейной и Жуковской. Вы, заворачивая за угол, вступали в эту «полосу отчуждения» и сразу — будь вы даже человек вполне посторонний газетному миру — чувствовали «нечто», чего два шага назад, на Бассейной, не было.

В том, что огромная типография, занимавшая два дома, грохотала и гудела, артельщики с надписью «Новое Время» на шапке попадались на каждом шагу, ломовые увозили куда-то кипы газет с характерным «готическим» шрифтом подзаголовка — в этом обычном виде места, где помещается большая газета, ничего подавляющего не было. «Нечто», о котором я говорю, исходило от дома № 6, у которого газетчики не толпились, машины не гудели, кажется, даже не было вывески, поясняющей, что здесь помещается. Двери пышного подъезда были заперты, сквозь стекло была видна фигура величественного швейцара, дремлющего в кресле... Дом имел вид тихого, редко кем посещаемого барского особняка.

Если перейти на другую сторону улицы и посмотреть в окна, впечатление это усиливалось. За толстыми зеркальными окнами — полузадернутые тяжелые портьеры. Кое-где горит огонь — неяркий свет из-под темного абажура, кое-где виден кусок колонны, силуэт статуи, пальма. Можно простоять час, ожидая, чтобы кто-нибудь из обитателей этого пышного до-

ма подошел к окну, — не дождетесь. Разве только промелькнет на минуту лицо чинного старого лакея, задергивающего поплотней тяжелую портьеру, чтобы уличный шум не беспокоил господ.

И снова — поблескивание окон, затемненный свет, тишина, сон, очки на носу дремлющего швейцара...

Конечно, если быть настойчивым и последить подольше, вы увидите, что ошиблись, думая, что никто так и не войдет за целый день в этот подъезд, не поправит волос у большого зеркала, не подымется по устланной коврами лестнице. Вы увидите, что начиная часов с пяти вечера швейцар уже не спит в своем кресле. Приосанившись и сняв очки, он — наготове, чтобы мягко распахнуть двери, мягко пробормотать «здравия желаю», мягко снять шубу с сутулящихся стариковских плеч: сотрудники «Нового Времени» начинают собираться.

Во втором этаже — редакция, вся в коврах и в зеркалах. Залы, коридоры, салоны, кабинеты. Библиотечные шкафы красного дерева до потолка хранят десятки тысяч книг, в неярком свете полупогашенных люстр тускло блестят на стенах картины. Иногда из этих раззолоченных недр появляется фигура сгорбленного старичка, медленно проплывающая по цельным коврам и снова исчезающая среди мраморов и штофных обоев.

— Кто это? Меньшиков?

— Нет — Буренин.

— А!..

* * *

С весны 1914 года нововременский швейцар, распахивая дверь и снимая шубу с сотрудника, стал говорить не только: «Здравия желаю, Виктор Петрович» (Буренин), но и: «Здравия желаю, Федор Кузьмич» (Сологуб).

Открылось «Лукоморье».

В свое время о «Лукоморье» было много толков и споров в литературных кругах. «Суворин хочет купить русскую литературу». Покупал, впрочем, не лично Суворин, а некто Бялковский, смуглый, юркий, мягкий на обращение восточный человек. Он действительно покупал — с величайшей охотностью — все, что ему приносили: стихи, рассказы, пьесы, рецензии, обложки, заставки. Сделка состоялась — вчера вы были просто X или Y, сегодня вы Лукоморец...

Как известно, многие «видные силы» не устояли тогда против самопишущего пера и клятвенных уверений в абсолютной аполитичности в придачу. Казалось бы — будет блестящий журнал.

Но как нувориш покупает особняк, меблирует его редкостями, хлопочет, изучает стили и марки фарфора, убивает массу денег — и все-таки, к его искреннему недоумению, — «ансамбль» получается печальный, — так было и с Сувориным, решившим стать покровителем искусств. Гонорары платили царские, авансы давали без счету, хлопотали, старались и получалось... «Лукоморье». В чем тут дело и чья тут вина, уж я не знаю...

Для сближения редакции с сотрудниками, т.е. нововременского начальства с теми самыми «декадентами», которых маститый граф Алексис Жасминов еще недавно высмеивал как только мог, устраивались еженедельные чаи.

Чаи были пышные, как все в доме 6 по Эртелеву. Пти-фуры и сандвичи, дорогой портвейн и цейлонский чай разносились почтительными лакеями. М.Суворин в роли любезного хозяина был обворожителен — он не только не моргнув глазом смотрел на старый коньяк, выпиваемый с кряканьем — полчапки сразу, и на дюшесы, исчезающие в карманах некоторых слишком запасливых литераторов, но и слушал — благосклонно и терпеливо — повести Юркуна, — дело нешуточное. Юркун, как известно каждому петербуржцу, причастному к литературе, — протеже Кузмина, если кто желает иметь Кузмина сотрудником, должен печатать и Юркуна, иначе нельзя.

«...Сестра моя двоюродная, которая живет во Франции, имеющая порядочный капитал, — больна...», — дочитывает Юркун сотую страницу своей повести. Наконец он кончает. Не по своей воле, разумеется, — еще добрая сотня страниц его повести осталась недочитанной. Но уж как-то так удачно вышло — Юркун достал платок, чтобы высморкаться, в это время кто-то вошел, хозяин дома встал ему навстречу, все заговорили...

Кузмин недовольно из-под пенсне смотрит на вновь пришедшего, перебившего чтение Юркуна. Но того не смутишь недовольными взглядами — Александр Рославлев знает себе цену, и в «Лукоморье», и вообще.

Это огромный человек — необыкновенного роста, чудовищной толщины. Все в нем колоссально — голос, кулаки, аппетит. Сам он, кажется, этой колоссальности не ощущает. Когда на улице прохожие удивленно оборачиваются на его необычную фигуру, к тому же забронированную в невозмож-

ную крылатку и с широкополой черной шляпой а-ля бандит на голове, он беспокоится.

— Что эта рожа так на меня уставилась? Кажется, я не негр. Еще сглазит — глазищи-то черные, как маслины, — арап. Тьфу!

И сплевывает аккуратно три раза в сторону «арапа», не сумевшего скрыть свое изумление перед гигантом в крылатке.

То же и с аппетитом.

— Александр Иванович, — говорит хозяин, — вы ничего не кушаете. Не угодно ли бисквитов? Или сандвич? Может быть, вы голодны — тут были рябчики.

— Благодарю, я только что пообедал, — басит Рославлев. — Совершенно сыт, благодарю. Да и у вас уже несколько птичек сжевал — не сытны, знаете, но очень вкусные. Не беспокойтесь, благодарствуйте.

От нескольких птичек — т.е. блюда с рябчиками, сиротливо торчат на блюде только несколько косточек, что покрупней. Куски помельче — Рославлев «сжевал» вместе с мясом полдюжины «вкусных, но не сытных птичек».

— От этого не откажусь, — радостно подставляет он, отодвинув рюмку, стакан. — Славный коньяк. Наполеоновский, говорите? Д-да, молодец был Наполеон, не то что Вильгельм, во всякую мелочь вникал — вот и коньяк славный выделывали при нем.

Рославлев подливает себе еще из драгоценной бутылки.

— Добрый коньяк. Наша белая головка, конечно, на вкус тоньше, но крепость, по-моему, та же. Но, — Рославлев видит тень, пробегающую по лицу хозяина, и, как человек деликатный, спешит исправить свою неловкость, — но по военному времени великолепный напиток — где же теперь достать настоящую водку.

* * *

Вряд ли кормили пти-фурами, вряд ли выписывали не моргнув глазом крупные, непогашаемые авансы хозяева «Лукоморья» без всякой задней мысли, из чистого меценатства. Какая-то «программа» во всей этой затее была, вероятно что-нибудь вроде субсидий большевиков — аполитичным издательствам — прикармливание возможных будущих попутчиков. Но у большевиков было поставлено просто — получаете деньги, так старайтесь. Здесь же была (если она действительно была, а не заварил Суворин всю эту кашу просто для раз-

влечения) интрига крайне тонкая и деликатная. Вероятно, считали, что надо долго, очень долго и хорошо, очень хорошо прикармливать «русскую литературу», пока, наконец... Что «наконец» — область чистых догадок: предварительное прикармливание, судя по всему, было рассчитано лет на пять, никак не меньше, а закрылось «Лукоморье» на третьем году своего существования. Так что, волею судьбы, на долю «падших ангелов» отечественной словесности, променявших чистые десятирублевки Проппера на окровавленные сторублевки Суворина, достались одни приятные цветочки. А ягодки сорвать не успели.

Как бы там ни было, но заигрывание со стороны нововременских столпов с молодежью (из которых многим было сильно за сорок) было явное. Официально одна редакция другой не касалась, но на чаях у Суворина нет-нет и появится Меньшиков или Буренин. Появится скромно, с улыбочкой: «Зашел к Михаилу Алексеевичу, а у него тут молодежь собралась. Не помешал ли, господа, а то уйду...»

Нововременские столпы были люди приятного обращения, почтенной наружности, говорили сладко и красноречиво — о разных великих заветах и о национальной мощи. Но если и касались таких скользких вопросов, то случайно, мимоходом, с улыбочкой и комплиментами.

— Вы молодежь... Мы старики... Отцы и дети... Но Россия одна...

И в глазах говорящего светится какое-то беспокойство.

* * *

Это «беспокойство» было едва уловимой и в то же время характернейшей чертой дома № 6 по Эртелеву переулку. Оттенок его лежал на всем — на торжественной мебели, на невозмутимых швейцарах, на респектабельной внешности какого-нибудь Буренина. Все идет хорошо — казалось, убеждали вас и мебель, и швейцар, и лицо Буренина, — все прекрасно, и иначе не может быть. Это редакция знаменитой газеты: самой влиятельной, самой независимой, самой богатой. Статьи «Нового Времени» обсуждаются Советом министров величайшей империи мира, и Совет министров считается с этими статьями. И через десять, двадцать, пятьдесят лет так же будут стоять эти статуи и висеть картины, так же невозмутимый лакей — разносить душистый чай, так же в кабинете при свете

шелкового абажура — редактор, из той же династии Сувориных, писать передовую статью, с которой будет считаться Совет министров...

— ...Что же делать. Мы должны были поместить эту заметку. Банк потребовал. У банка контрольный пакет.

Это газетные крысы шепчутся исподтишка. Стены торжественных кабинетов и люди, сидящие в этих кабинетах, еще хранят (если не всматриваться чересчур пристально) величественное безразличие — все хорошо, все по-прежнему...

Но крысы по передним и по темным углам предчувствуют гибель и шепчутся. Бежать бы, да — увы — некуда.

* * *

Василий Васильевич Розанов — единственный «столп», имеющий непочтенный вид. У него наружность чухонца-вейки, говорит он без всякого красноречия, все больше шутит, и без особого остроумия даже.

— Как вам понравилась моя повесть, В.В.? — спрашивает Юркун.

Вежливейшая улыбка.

— О какой повести изволите говорить?

— Да о моей, которую я только что читал.

Улыбка еще более любезная.

— Как же, как же, очень. Превосходная вещь.

Юркун расплывается.

— ...Превосходная вещь. Филистимляне у вас очень верно описаны.

— Помилуйте, В.В., какие филистимляне, это же из современной жизни...

— Из современной... Вот что. Значит, я не расслышал. Стар стал, глохну, не обессудьте старика. А повесть ваша — превосходная...

Н.Ю.Жуковская — редакторша журнала (Бялковский — тот только выписывает гонорары), крайне милая и бонтонная дама средних лет, считающаяся здесь неизвестно почему знаменитой писательницей, — с неудовольствием следит за переменами выражения лица автора повести «из современной жизни». Этот несносный Розанов опять обижает бедного молодого человека. Ей это доставляет физическую боль, она — сама доброта:

— Михаил Алексеевич так страдал в 1905 году, когда рабочие отняли у нас типографию для этих ужасных «Изве-

стий», — объясняет она кому-то. — Он даже поседел тогда. Подумайте, и он, и покойный Алексей Сергеевич всегда были за простой народ, всегда боролись, а они...

Леонид Афанасьев, грустный старичок с голым черепом, выкрашенным ровно и аккуратно тушью, прощается.

— К сожалению, мне пора... Грустно, знаете, люблю общество молодых — сам молод был и молод душой остался. Но пора — пока доберусь к себе в Павловск. Поезда — сущее наказание.

— Зачем же вы живете зимой в Павловске? Перебирайтесь в Петербург.

Грустные глаза из-под закрашенного черепа смотрят испуганно и недоумевающе.

— Что вы? Да где же тогда я природу наблюдать буду? Где же вдохновения искать? Ведь в городе пошлость, американизм, поэзии и следа нет. Что вы, как можно.

— Вы Надсона отрицаете, и я отрицал, — гудит в углу Буренин. — Где же несходство взглядов?

— Да ведь вы и Бальмонта травили.

— Травил. Что ж такое? А он все-таки в люди вышел... Значит — молодец. Теперь и я его признаю...

Сергей Городецкий становится в позу, откидывает кудри и читает «певучим славянским голосом»:

Свершив последнее моленье,
К народу тихо вышел царь.
Что думал он в тот миг великий,
Что чувствовал, державный, он,
Когда торжественные клики
К нему неслись со всех сторон?

На лице хозяина и его друзей светится ласковое одобрение. Вот — недаром поили портвейном и выписывали ему чеки. А недавно еще писал декадентщину и революционное. Надо только уметь к человеку подойти...

* * *

Странное зрелище представлял дом 6 по Эртелеву переулку после 27 февраля 1917 года.

На груди швейцара — невероятно — красный бант. Впрочем, что же невероятного — только что вышло «Новое Вре-

мя»... с передовой статьей — «Мы всегда говорили, что самодержавие изжило себя...»

Пустынные покои еще более пустынны. Лица всех, от служителя до редактора, испуганно-изумленные. Конечно, «мы всегда говорили», но все же...

Н.Ю.Жуковская трясущимися руками собирает для отправки в типографию материал первого, революционного номера «Лукоморья». От редакции... Это Михаил Алексеевич написал. Ужас. Лучше не читать. Стихи Городецкого «Свобода, ты — алая дева...». О Господи! Рассказ — рассказ из старых, военный. Но статьи: выступление — Волынцев... Клише — Временное правительство...

Она подносит к носу лорнетку и всматривается в лица «этих людей» с молчаливым упреком. Перебирает карточки: Бубликов... Керенский... Милюков...

Дойдя до портрета князя Львова, она оборачивается со слабой улыбкой:

— Конечно, он тоже революционер... но лучше, чтобы он был во главе, если уж... все-таки человек из общества, князь... Посмотрите на его лицо: все-таки — il a le race.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ (4)

Петербург, конечно, был столицей, но — признаемся хоть теперь — столицей довольно захудалой, если «равняться по Европе». Не Белград, разумеется, но и не Лондон и, если рассуждать беспристрастно, — скорее, ближе к Белграду. Мы любим теперь вспоминать о былом петербургском блеске, но, в сущности, всего блеску было четыре кондитерских, четыре ресторана, магазин Кнопа, угол Морской и Невского и — «звезда из звезд, комета из комет» — французский театр. Не в счет гвардейские формы и битье зеркал в «Аквариуме». Это хотя тоже блеск, но блеск скорее ориентальный, так сказать «свет с востока», и к европейскому лоску отнесен быть не может.

С высоты своей «бездушной чопорности», удивлявшей и заставлявшей завидовать провинциалов и москвичей, — петербуржцы делали вид, что в Северной Пальмире, в смысле Европы, все обстоит благополучно. Пристыженные провинциалы верили и завидовали. Но под «ледяной» внешностью в груди петербуржца билось обыкновенное, самое человеческое сердце. И это сердце терзалось сомнениями и стремилось к идеалу, как и всякое другое: трамвайное управление вводило сумки для кондукторов, нового, только что принятого в Копенгагене образца, городская дума «в виде опыта» покрывала улицы неподходящим к климаṫу асфальтом. Дума заранее знала — асфальт не годится — лошади будут ломать ноги... но что же делать, раз в Европе повсюду асфальтовые мостовые. Каждый старался как мог и как умел.

Так шли они под пение свирели
Различными путями к той же цели.

Деятели искусства не имели тогда власти ни над мостовой, ни над фонарями, ни над трамваями. Это потом, после «Великого Октября», они эту власть ненадолго получили и использовали, чтобы сломать решетку Зимнего Дворца (ворота ре-

шетки доломать не успели — их развалины до сих пор свидетельствуют о высоком художественном подъеме тех дней). Деятелям искусства оставался один «путь», ведший к заветной цели: заманивать в Петербург знаменитых иностранцев, устраивать чествования, шум в газетах, произносить речи о русско-французском (или немецком, или шведском) альянсе, очаровывать гостей «широким русским гостеприимством» и тоже с речами и «гостеприимством», проводив гостя на Варшавский вокзал, предвкушать удовольствие ближайшего, очередного визита.

Не знаю, кто этим делом ведал. Кто списывался с Верхарном, приглашал Дебюсси, оплачивал «сежур» Поля Фора в гостинице «Европейская». В те времена, когда знатные иностранцы в Россию еще ездили, — я был слишком молод, чтобы быть чем-нибудь иным, чем скромным зрителем на их приеме. В те же дни, когда гости этого рода снова начали посещать нашу страну — сам оказался в положении иностранца, хотя никем и не чествуемого. Единственное счастливое исключение Уэллс, с которым я имел честь сидеть рядом на банкете в Доме искусств в 1920 году и из уст которого имел удовольствие услыхать приятное пожелание дальнейшего процветания и успехов «вашему советскому правительству».

Не знаю кто, но кто-то занимался этим делом настойчиво и энергично. Визиты в Петербург не прекращались до самой войны.

* * *

Приезд Маринетти был обставлен тайной. Футуристы, его выписавшие, оказались отличными конспираторами. Шел футуристический вечер в зале Калашниковской биржи. Крученых и Бурлюки проделывали «нумера», бывшие когда-то ударными, — обзывали публику сволочью, читали стихи, повернувшись к залу спиной, и т.п. Но искушенная публика не реагировала на это, как бы футуристам хотелось, — не негодовала и не потрясалась. Она смеялась и аплодировала. И сами футуристы на этот раз действовали как-то механически и «без души», комкая подробности. Видно было, что все это так, чтобы убить время, — гвоздь же вечера впереди.

Но что это за гвоздь? В антракте сведущие люди шепотом сообщали: «Крученых будет палить из револьвера... В публику бросят петарду...»

После антракта, кто поосторожней, пересели в задние ряды. Вечер продолжается. Появляются то Хлебников, то слоноподобные братья Бурлюки со своими стихами и прозой. Вдруг гаснет свет.

В зале волнение. Пожар? Или сейчас бросят обещанную бомбу? Или просто перегорели пробки?

С эстрады сначала бас Давида Бурлюка:

— Успокойтесь, складки жира, мышки с пошлостью, вашей жизни ничего не грозит!

Потом — истерический фальцет Крученых:

— Скоты! Вот он — отец — отец... Се слонце с запада... Эх... пропадай моя головушка...

Внезапно свет загорается. Все по-прежнему, зала как зала, эстрада как эстрада. Но на эстраде плотный, краснолицый человек, никому не известный.

— ...Приветствуемая мной страна есть Россия на этот раз, — читает он по бумажке, бойко и внятно, но с необыкновенно смешным акцентом и с не меньшей важностью... — На этот раз я, брюкодержатель времени, говорю вам: старая гиена, любительница круглых луковиц, кое-что ведала...

— Кто такой? Что за чухонец! Откуда взялся? — перебивают его из публики.

Разъяренный Крученых выбегает и кричит уже совершенным петухом:

— Вы! Вы! Перебиваете! Смеете! Кого? Кто вы? Кто! Сам! Великий! Величайший! Сладчайший! Маринетти!.. Ах! Звери! — Он хватается за сердце. — Воды — умираю...

Бурлюки подхватывают его под ручки и уводят.

— Звери... Ах... — слышится из-за сцены его фальцет. Маринетти невозмутимо продолжает читать свое «приветствие»:

— ...обратить к солнцу свое седалище вам мною рекомендуется: со временем будет поздно...

* * *

— Маринетти — маг. У него в Милане три дворца. Дворец Радости. Дворец Страдания. Дворец Мысли...

...Дворец Радости — роскошью превосходит Сераль. Двести красивейших женщин всегда готовы...

Дворец Страдания... Утонченнейшие орудия пыток... Комнаты истязаний... Рвы, наполненные крысами... После часов наслажденья Маринетти переходит в мир боли. Оттуда, про-

светленный, — в Дворец Мысли, в кабинет с сияющими хрустальными стенами, творить искусство будущего...

Это сообщает в сегодняшней «Вечерней Биржевой» В.Бонди — человек знающий. Это он недавно поместил в «Огоньке» снимки с картины Гойи с примечанием: «Это панно принадлежит кисти нашего знаменитого писателя Леонида Андреева. Украшая его стильный рабочий кабинет, они служат недурной иллюстрацией его гениальных произведений».

...Владелец таинственных дворцов, «маг», «брюкодержатель времени», как сам рекомендуется, сидит в отдельном кабинете «Вены», на бархатном диване, под олеографией, изображающей «Бабушку с внучкой». В кабинете еще человек двадцать — сидят за сдвинутыми столами или развалясь по таким же диванам.

«Маг» тычет вилкой в распластанную в гарнире селедку. Поймав, не без усилия, кусок, он опоражнивает очередную рюмку водки и закусывает. «Маг» — человек способный. Попробовав первую рюмку, ему поднесенную, он с отвращением ее отодвинул — очень не понравилось. Но его уговорили. Выпив — он решил продолжать опыт. На пятой рюмке нашел, что водка не так уж дурна. На десятой прищелкивал языком и приговаривал: «Воно... Воно...»

По-русски Маринетти — ни слова. Речь свою произносил, читая сочиненное для него Бурлюками и переписанное латинскими буквами. Разговор идет по-французски.

— Я прочту свою оду о Триполи, — говорит «маг», вращая глазами.

Он начинает:

— Бум, бум... — и поясняет: — это ядра. Бум, бум, бум, — тара-рах — разрыв снаряда. Пик, пик, пик — ласточка пролетает над полем сражения. У-а-а-а, — Маринетти рычит так, что в двери кабинета показывается испуганное лицо лакея, — это издыхает раненый мул. — И, вращая глазами, самодовольно поясняет: «Моя поэзия интернациональна — она понятна и европейцу и зулусу».

Потом просит прочесть стихи присутствующих. Когда прочтенное ему переводят — он радостно перебивает:

— Фабрика? Я тоже описал фабрику: тах-шарах — колеса, ш-шип... — приводной ремень... — Разговор идет по-французски. Но с каждой новой рюмкой Маринетти все чаще переходит на итальянский, не понятный никому из присутствующих. Да и говорит «маг» как-то захлебываясь, глотая слова, чрезвычайно быстро. Но «контакт» не нарушается, напротив.

И «маг» и чествующие его плывут в облаках радужного блаженства.

— Маринетти, душа моя, выпьем на «ты»!

— Как его зовут? Теодор? Значит, Феодор!

Выпьем за Федю,
Федю дорогого...

«Маг» вращает глазами, улыбается и заносит руку с неслушающейся вилкой — на этот раз над балыком.

— ...Отец! Отец! Он — среди нас, — захлебывается пьяный Крученых. — Как Христос среди учеников своих...

— Он Христос, а ты Иуда, — подает из угла голос Хлебников...

* * *

Макса Линдера вряд ли бы стали выписывать специально. Но когда он приехал в Петербург для гастролей в Луна-парке — сейчас же нашлись желающие его чествовать. И довольно много желающих. Помещение «Бродячей собаки», признанное самым подходящим для приема знаменитости столь легкомысленного жанра, было полно в назначенный час. Собрались все больше люди несерьезные.

Поджидая гостя, сильно опоздавшего, несерьезная компания немного выпила, отчего стала еще непринужденней.

Председателем выбрали Аркадия Аверченко. Кого-то из музыкантов усадили за рояль — чтобы сразу по входе Линдера ударить изо всей силы глупый «гимн», тут же сочиненный и «положенный на музыку»:

Мама — киндер
Браво — Линдер
Браво — Макс
Такс!

Когда Линдер наконец появился — «высокое собрание» встретило его ревом удовольствия. Пианист заиграл, хор запел, пробки шампанского полетели в воздух... Наконец-то! Сейчас он нам покажет. Смотрите, какую серьезную физиономию строил! Ха-ха-ха! Браво, Линдер, браво, Макс! Ура!

Линдер вошел деревянно-натянутой походкой, деревянно-натянуто улыбаясь. На рев приветствий холодно раскла-

нялся. Холодно поклонившись еще раз, сел на приготовленное ему место, не снимая белых лайковых перчаток, натянутых на обе руки.

— Сейчас он что-нибудь выкинет... Смотрите, смотрите...

Но Линдер ничего не выкидывал. Он был до крайности, до смешного натянут, сух и серьезен. От вина отказался, отвечал на вопросы коротко, улыбался почти надменно. Сам он говорил преимущественно об эрмитажном собрании Рембрандта — тоном педанта ученого.

— Вы пишете стихи? — спросил Линдер у Аверченко, узнав, что тот писатель.

— Как же, — Аверченко незаметно подмигнул сильно приунывшему «высокому собранию».

— В каком же роде?

— А, знаете, — научные, как Ренэ Гиль, я его последователь...

Кое-кто сдержанно фыркнул, Линдер посмотрел на Аверченко с некоторой благосклонностью.

— Научная поэзия? Это интересно. Я ненавижу все несерьезное, всякий вздор, юмористику...

Кое-как в разговорах о Ренэ Гиле и Рембрандте дотянулся до конца этот веселый обед. Едва он кончился, Линдер уехал. Никто его не удерживал.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Я «вступил в литературу» осенью 1910 года. «Вступил» несколько необычно: по газетному объявлению.

«Редакция большого художественного еженедельника приглашает начинающих писателей присылать свои произведения...»

Это было напечатано петитом на последней странице «Вечерней Биржевой» между извещениями о сдаче квартиры и о продаже велосипеда. Как оно попалось мне на глаза? Ни велосипедами, ни квартирами я не интересовался. Велосипед у меня и без того был, а о квартире в шестом этаже размышлять было несколько рано — своевременней было думать о переэкзаменовках.

Позже, став сотрудником этого «большого художественного» журнала, я узнал, что объявление было дано только раз. И вот попалось-таки мне, никогда никаких объявлений не читавшему. И, разумеется, не мне одному — десяткам таких же начинающих, поторопившихся, как и я, прислать с первой же почтой свои «произведения». Так что не о повторении объявления пришлось заботиться, а о том, как устроиться с горой всевозможных рукописей, заполнивших все столы и шкафы гостеприимной редакции.

Посылая стихи по этому объявлению, я не питал больших надежд. Я был уже человеком искушенным. Отлично знал, что, куда бы ни отправлять стихи, как бы «разборчиво», согласно редакционным правилам, они ни были переписаны, как ни тонко составлено препроводительное письмо, с маркой на ответ и «указанием желаемого гонорара», — результат получался всегда один и тот же. По прошествии трех, четырех, иногда пяти томительных недель приходил толстый конверт со штемпелем журнала. С бьющимся сердцем я его вскрывал. И всегда одно и то же — из конверта вываливалась моя рукопись и клочок бумаги: «М.Г., к сожалению...» Первые ответы

такого рода меня потрясали; с течением времени я несколько привык к этому. Но, конечно, не переставал посылать, не переставая каждый раз безнадежно надеяться. На объявление в «Вечерней Биржевой» я ответил, впрочем, с некоторым упованием: приглашались ведь начинающие авторы, а права на это звание никто не мог у меня отнять. И еще — раз приглашались начинающие, — значит, нет в редакции того засилья признанных, знаменитых, кем я считал каждого, чью подпись видал в печати и чьим интригам приписывал свои неудачи на поприще славы.

Да, надежда на этот раз была больше, чем обычно. Но-все-таки очень отдаленная. Настолько отдаленная, что, когда, дня через три, я получил ответ: «Ваши стихи приняты, просим зайти лично...» — я был ошеломлен не менее, чем первым: «М.Г., к сожалению...» Даже больше, пожалуй. Я получил это письмо, сидя в корпусе, на «вечерних занятиях». Воспитатель мой, старичок подполковник, укоризненно покачал головой, передавая мне вскрытое им (все письма читались воспитателем) письмо. Он относился скептически к поэзии и к листку с моими четвертными отметками приписал недавно: «Преждевременное увлечение новейшей литературой вредит успехам и не обещает в будущем ничего хорошего...» Стихи Бальмонта и собственные им подражания, которыми была полна моя голова, «успехам» в самом деле вредили. Отметки у меня были отчаянные, не исключая и отметок по русскому языку, блеск которого собирался я обновлять.

«Ваши стихи приняты, просим зайти...» Я перечитывал по многу раз эти магические слова, и они казались мне музыкой. Музыкой казалось и название, декадентскими литерами выведенное на бланке: Редакция журнала «Все новости литературы, искусства, театра, науки, техники, промышленности и гипноза». Это «и гипноза» несколько меня смущало. Какой-то смутный инстинкт подсказывал, что все-таки лучше бы обойтись без гипноза.

Отправляя стихи на этот раз, я благоразумно не указал «желаемого гонорара». И хорошо сделал: чтобы не уронить достоинства, я обычно назначал гонорар скромный, но солидный: пятнадцать копеек за строчку. Редакция «Новостей гипноза», начинание молодое и неокрепшее, как я справедливо догадался, таких бешеных денег платить не могла. Гонорар был мне уплачен по пять копеек за строчку, всего рубль восемьдесят копеек. Прибавив три двадцать собственных, сэко-

номленных на пирожных и папиросах, я внес эти деньги в полугодовую подписку на «Аполлон».

Собственно, подписываться на «Аполлон» было излишней роскошью — можно было бы его по-прежнему брать в библиотеке. Но отправляясь подписываться, я имел смутный, неопределенный план, питал смутную надежду на возможный счастливый случай. Вдруг в конторе «Аполлона» заговорит со мной Блок! Вдруг я заведу знакомство с Брюсовым! Надежда оказалась неосновательной. В пустой конторе на Мойке усатый красноносый конторщик жег на печке клейкий лист, облепленный мухами. Мухи, погибая, отчаянно жужжали. На вешалке висело несколько пальто и шляп — может быть, какая-нибудь из них и принадлежала Бальмонту, кто знает, — и я посмотрел на вешалку с почтением. Но я никого не увидел, никаких знакомств не завел. Красноносый конторщик, оставив мух, вяло принял мои пять рублей, вяло выписал квитанцию и потребовал еще пять копеек за марку. Пять копеек, по счастью, у меня нашлось — последние, на трамвай. Я отдал их конторщику, спрятал квитанцию, посмотрел еще раз на вешалку и пошел пешком домой на Каменноостровский...

«Новости гипноза» скоро закрылись, кажется на четвертом номере. Но великая вещь — напечататься в первый раз, хотя бы и в «Новостях гипноза». Остальное делается уже само собой...

Вернее, делалось само собой в старые (добрые или недобрые) времена. Теперь времена, конечно, изменились...

Вспоминая прошлое, как не пожалеть нынешнюю литературную молодежь. Старое правило: «Поэт, не нашедший типографии для своих стихов — не поэт» — к ней неприменимо. Можно быть трижды поэтом и типографии все-таки не найти. Да и не в одной типографии дело. Если даже удастся пристроиться в журнал или выпустить книжку, то положение мало меняется. Ведь найти типографию не значит еще найти читателя. А где теперь этот читатель, особенно читатель стихов?..

Кто наполнял когда-то до отказу литературные вечера, до дыр зачитывал и поэзию, и беллетристику, и критику, делал на полях то восторженные, то негодующие пометки, свидетельствовавшие если не о хорошем вкусе, то о повышенном страстном интересе к литературе? Кто, в сущности, создавал всероссийскую, мгновенную, часто совершенно незаслуженную славу? Студенты и курсистки.

Да, «главным читателем» в России было, конечно, студенчество. Этот «главный читатель» был не особенно разборчив,

в голове у него был порядочный сумбур. Но у него было драгоценное свойство: он читал «до дыр», а не почитывал в часы досуга, восторгался, а не снисходительно одобрял, негодовал, а не откладывал, пожав плечами, непонравившуюся книгу. Это повышенное, страстное отношение огромной и «влюбленной» в литературу аудитории было настоящим «воздухом» для искусства.

Оскудение этого воздуха началось давно. Началось оно с войны. Я, «вступив» при помощи «Новостей гипноза» в 1910 году в литературу, «краешком» застал еще другие, лучшие времена.

Главное было сделано — я напечатал первые стихи. Остальное пошло само собой. Через год я был в самой гуще «литературной жизни», правда не особенно «первосортной».

...Какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Вечер стихов, диспут о стихах. Стихи — чушь, споры — бестолковщина. Но кто-то благодарит, кто-то жмет руки, просит автографов, подносит цветы. Потом, по снегу, на нескольких извозчиках в шумную и бестолковую «Вену» большой компанией, за сдвинутыми столами — шумный, бестолковый, веселый разговор. «Вена» закрывается; снова сани летят куда-то по снегу. В небе звезды, голова кружится от вина, в голове обрывки стихов, в ушах шум незаслуженных аплодисментов. Завтра опять диспут, надо дать отпор кубофутуристам. Да здравствует эгофутуризм! Сани летят, и не от одного вина кружится голова — еще от тщеславной мысли: неужели это я, только год тому назад...

Сколько знакомств завязывалось тогда, сколько неожиданных встреч! Вот хотя бы С.

Поэт С., сын крестьянина, круглый сирота, поступил двенадцати лет в страховое общество лифтбоем. А в двадцать пять был директором этого общества, получал огромное жалованье, держал рысака, одевался у Калина, прочел по-французски, итальянски, гречески все, что можно было на этих языках прочесть, и был близким другом «Таврического мудреца» — Вячеслава Иванова.

Я познакомился с С. в «Гаудеамусе», студенческом эстетическом журнале. Его редактировал Вл. Нарбут, в нем печатала свои первые стихи начинающая поэтесса — Анна Ахматова. Однажды я зашел в редакцию. Но зашел неудачно. Нарбута нет, никого нет. Я сел подождать. Кроме меня, в приемной

ждал еще один посетитель — розовый молодой человек, щегольски одетый, со странно-неподвижным взглядом удивительных серо-холодных глаз. Нарбут не приходил. Мы разговорились. Так началась наша дружба...

Странная это была дружба. Что нас связывало — не знаю. О чем вели мы с С. бесконечные беседы, о чем на десяти страницах переписывались летом? Не помню. Вылетело из головы. О стихах, конечно, о литературе. Но, конечно, не стихи С. — умелые и довольно бесцветные, не его литературные мнения меня привлекали. Что же? «Что-то», что было в С. Какая-то тень тайны на его жизни. Иногда он вел со мной странные разговоры.

— Ты дворянин?

— Дворянин, а что?

— А вот я мужик. Дед крепостным был.

— Так что же? Ты ведь не крепостной, чего тебе беспокоиться?..

— Ты не поймешь этого...

— Чего же?

— Важности быть дворянином... в иных случаях.

— Действительно, не понимаю.

— Видишь ли. Как тебе объяснить. Вот ты дворянин, и, значит, у тебя есть герб и корона. Герб твой дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики, какой-нибудь лафет и груда ядер. А другому дан герб с тремя лилиями и с соломоновой звездой, дан господином, за доблесть, и он должен таить его от всех, потому что не имеет дворянства, которое каждый отставной генерал имеет.

— Это не тебе ли дан герб с тремя лилиями?

— Может быть, и мне.

— И у тебя не хватает для него короны? За чем же дело стало? Давай я тебя усыновлю, и ты украсишь моей короной свой замечательный герб, — шутил я.

В 1914 году весной С. собирался за границу, я уехал в деревню. Вдруг получаю от него письмо с Кавказа. Недоумеваю, почему он отложил свою поездку в Германию, совсем решенную, даже паспорт, кажется, был уже взят. Ответ загадочный: теперь поздно. Скоро будет война. Это в июне 1914 года. Вернувшись в Петербург, спрашиваю С.:

— Откуда ты знал?

Улыбка.

— Так, показалось...

— Если тебе часто так кажется, ты мог бы, право, как мадам Тэб, заниматься предсказаниями.

Улыбка делается насмешливой.

— Как мадам Тэб? Спасибо! Это бы и ты мог. Она в этих делах, поверь, совершенная невежда.

Может быть, С. просто смеялся надо мной. Не знаю. Может быть, никакой тайны в нем не было. Может быть. Но если бы оказалось, что он и впрямь человек необыкновенный, с двойной жизнью, с таинственными познаниями, — я бы не удивился...

И другие встречи того времени — все непохожи одна на другую, каждая по-своему «пронзительна». Например, Гатчина — мещанский кривой домишко, жаркие, заставленные барахлом комнаты, чад кухни, дым дешевых папирос, бульканье водки, человек десять каких-то оборванцев собутыльников, и среди этого нищий, пьяный, грязный, всклокоченный — Фофанов. Умирающий Фофанов.

Жена Фофанова — сумасшедшая. Дети — сколько их — всех возрастов, тут же вместе с отцом, пьющим водку стаканами, — дети сумасшедшей и алкоголика. Собутыльники — шулера, взломщики, агенты охранного отделения. Фофанов с искаженным лицом опрокидывает стакан, страшно, дико кощунствуя, тянется к киоту — закурить от лампадки. И, икая, читает стихи, ворох стихов, на каждом из которых сквозь вздор и нелепость отблеск ангельского вдохновения, небесной чистоты.

Шулера и агенты охранки внимательно слушают. На глазах у них слезы. Фофанов шатается. Потом, изможденный стихами, водкой, усталостью, валится под стол, на плевки и окурки, на грязные сапоги сыщиков. Валится с невнятным бормотанием: «Бессмертия мне!..»

Это была его любимая фраза. Это были его последние слова, когда он умирал от белой горячки.

Утром вспоминаешь такие встречи, как сон. Страшный сон — только бы он не повторился. И с особенным удовольствием одеваешься в чистой комнате, моешься в белой ванной, завтракаешь в залитой скупым петербургским солнцем столовой.

Вечером снова диспут — надо подготовиться. Да здравствует «эгофутуризм», долой «кубо» — Бурлюков и компанию.

Снова какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Аплодисменты, споры, восторженный или негодующий «главный читатель». И снова сани летят куда-то по сияющему петербургскому снегу...

ПЕТЕРБУРГСКОЕ...

Была у меня знакомая У. — существо очень петербургское и богемное, истерическое и милое (как ни странно это соединение). Было ей лет тридцать или около, жила на ренту, впрочем довольно скромную, занималась искусствами — всеми понемножку; то танцами, то стихами, то живописью. Начнет и бросит. «Я декадентка, — говорила она, — не важно, что я делаю, пишу стихи или играю. Главное в том, что я декадентка».

Самоопределение было точное. Прическа, ядовито-зеленые или розовые платья, растерянно-эстетические словечки: «Астрис», 1900 год, Бредслей, фиолетовые руки, les paons blans, Монмартр, абсент — все это было собрано в ней, как в фокусе. Ну, конечно, и Чухломы была порядочная доза, как же без этого. Но, повторяю, моя знакомая была милым существом. Была она, скорее, хорошенькая, немного fannee, разумеется, влюбленная и, разумеется, самим Богом определенная влюбляться несчастно.

Бывал я в ее игрушечной, стилизованной под врублевскую «Жемчужницу» квартире довольно редко. Раз — не был что-то долго — собрался. Застал ее, конечно, в шелковом сумраке, полулежащей на диванчике-директуар и, конечно, с мигренью.

— Здравствуйте. Где пропадали? А я влюблена. Господи, как я влюблена.

— В добрый час. Но в кого же?

— В недобрый час, напротив, я знаю. Но все равно. А в кого? Вы хотите знать имя и фамилию? Ах, я забыла... Я не хочу их помнить. Я зову его «Прекрасный принц».

«Прекрасный принц» не замедлил явиться. Позванивая шпорами, ловко вошел в комнату, ловко шаркнул, ловко склонился к ручке хозяйки. М. — отрекомендовался он, щелкнув шпорами вторично. Поглядел мне прямо в глаза детскими ясными синими глазами и улыбнулся:

— Очень рад. Кажется, встречались у фон Б.

— Как же. И мой приятель Ц. говорил мне о вас.

Должно быть, в интонации моего голоса, против моей воли, был какой-то «оттенок». М. поглядел на меня — так же по-детски ясно и весело, но чуть-чуть с усмешкой.

— А, граф о контрор (прозвище Ц.). Славный старичок. Он вам не жаловался, что я его хотел задушить? Жаловался — по глазам вижу. Не врет — действительно хотел. Впрочем, рад, что не вышло... Славный старик.

— Ты и меня убьешь, прекрасный принц, — простонала моя декадентка с диванчика-директуар. — Ах, я знаю, знаю.

— Зачем же вас убить? Вы и так мне все отдадите.

— А когда все отдам — ведь убьешь?

— Какой же смысл тогда?

— Прекрасный принц... Как я тебя люблю... и какой ты негодяй...

Разговор этот привел меня в крайнюю неловкость, и я поспешил откланяться.

Прошел год, полтора. В квартире под врублевскую «Жемчужницу» я был раз или два: хозяйка была все та же, роман ее с М. протекал, кажется, очень бурно и, кажется, действительно был начат в недобрый час. Моя декадентская дама стала еще бледнее, еще больше fannee, да и сафьяновая шкатулка с брошками и кольцами, довольно многочисленными, кажется, была пуста. Сама она об этом, да и вообще о своем романе не разговаривала — я не расспрашивал, довольствуясь тем, что слышал со стороны: сплетничали на этот счет по петербургским литературным гостиным немало. Самого «Прекрасного принца» я у У. не видел — но о его недавнем присутствии в «Жемчужнице» красноречиво свидетельствовали золоченый стул, разрубленный шашкой пополам, и веер пуль от нагана в дубовой обшивке столовой.

— Ужас, — томно протянула У. — Вы видите, как он со мной обращается. Но не расспрашивайте меня, ради Бога...

Я и не расспрашивал.

Февральская революция, потом июль, потом октябрь. В ноябре или в декабре я сидел в каком-то кафе на Невском (их много развелось тогда ненадолго). Вдруг — за моей спиной звон шпор, щелканье каблуков, знакомый голос — М.

— Разрешите присесть?

— Пожалуйста.

Вид у него был франтовской, какая-то фантастическая форма, уже без погон, разумеется. То же «прелестное» лицо, та же детская улыбка. Но на лбу шрам, рука на перевязи.

— Ранены?

— Сами видите. Только, думаете, на фронте? Нет, мерси, довольно с меня фронта. Дисциплины никакой. Офицерство избивают, сволочи всякой изволь слушаться. Нет, я на фронт махнул рукой, какой там фронт. А цапнули меня здесь же в Петербурге.

— Что же, Зимний Дворец штурмовали?

М. закурил папиросу, по-«кавалерийски» надломав длинный мундштук.

— Нет, так, по частному делу.

— Однако дело, я вижу, было жаркое. Расскажите, если можно, — прибавил я.

— Почему же не рассказать? Можно.

— Мы здесь на Фонтанке живем, неподалеку. Компания пестрая, знаете. Два матроса, один бывший борец, учитель музыки, тоже бывший. Ничего, славно живем, водка есть всегда, ну и, понятно, кокаин. Обладили дельце — если возьмем хорошо — потом неделю дым коромыслом, — отдыхаем. Как раз у нас тогда были неудачи, даже отощали. Вдруг прибегает один человек. Ребята, — можно наверняка взять двести тысяч. Так и так, такой-то домовладелец получил из банка, за картиной запрятаны. Ну, понятно, мы долго не собирались. Машину завели (своя у нас машина, как же, на революционные нужды еще в июле достали), взяли ордер на обыск, своего изделия понятно, и катим. Распределили так — я и Гришка (царствие небесное) подымаемся наверх по ордеру чрезвычайной комиссии — для проформы пороемся, потом за картину, цап деньги и домой. Приехали. Шоферу нашему говорим, — держи на холостом ходу, если что — стреляй в воздух. Ну, подымаемся. Открыл старичок в халате, такой благообразный. Затрясся, понятно. Мы ему ордер — он и не смотрит. Товарищи, товарищи, какое у меня оружие — я бедный, больной старичок. Нет, так и отлично, гражданин, — а сами для виду туда-сюда, будто бы ищем. Разворочали книжный шкаф, выпустили из подушки пух — старичок все за нами: товарищи, товарищи... Порылись мы так немножко и в залу. Висит картина — как нам человечек говорил, направо от двери и нарисовано, как сказал, замок на скале. Только мы к ней, за окном выстрел, другой, третий. Мы к окну. Перед домом толпа, орут что-то и руками

машут. А наш шофер (непечатное слово), отстреливаясь от милиционеров, катит вовсю по Гороховой. Что делать — засыпались. Мы к хозяину, прячь с.с. Трясется он еще больше, куда же я вас, товарищи, спрячу, все равно найдут. Его правда — найдут. А в дверь парадную уже колотит прикладами милицейская сволочь. Выскочили мы с Гришкой на черную лестницу. Разделились — он наверх, я вниз. Бегу вниз через три ступеньки и во двор. Что же вы думаете — двор, колодец, ворота на запоре и уж рожи какие-то из всех окон высовываются. Куда деваться? Даже помойной ямы нет. Оглянулся, знаете, как зверь затравленный, вижу, сугроб. Я в него, зарылся совсем. Сижу, холодно, за шиворот ползет снег, трясусь. Долго сидел. Думаю, не нашли, пронесло. Вдруг слышу — топчут ногами, ищут. Все ближе. Шваркнул какой-то по сугробу сапогом — прямо мне в шею. Встал я, отряхаюсь, все равно найдут. Загалдели, заорали.

...Ведут меня, знаете, и все бьют, все бьют. Ручками наганов по голове. Боли уже не чувствую, только в ушах страшный звон, и все розовым кажется, это кровь глаза заливает. Вывели на улицу. И все по голове наганами. Народу — черно, и орут все и ко мне рвутся. И вижу я вдруг у подъезда какие-то куски и тряпки — Гришка, по штанам стрелковым узнал, лицо как черный блин, все наворочено. А те кричат и ко мне рвутся. Сейчас и со мной так сделают... Больше ничего не помню.

— Как же вы спаслись?

— Товарищи подоспели. Шофер-то с.с., когда у него милицейские ордер спросили, испугался и удрал. Ну, отстрелялся, прикатил к нашим. Матросы наши, краса, гордость, сейчас в машину, кольты наготове, в самый момент подоспели, когда меня приканчивать собирались. Отбили. Лежал недели три. Теперь ничего, как видите, рука только болит.

Он улыбнулся, посмотрел мне в глаза детскими, синими глазами. — Ничего, до свадьбы заживет. — Закурил и прибавил: — Шофера, понятно, наши в тот же день уложили. Поехали как будто прогуляться вечером, ну и пулю в затылок. Так ему и надо, собаке...

О КУЗМИНЕ, ПОЭТЕССЕ-ХИРУРГЕ И СТРАДАЛЬЦАХ ЗА НАРОД

(Из петербургских воспоминаний)

Поэт М.Кузмин, живший у Вячеслава Иванова, поссорившись с ним, перебрался к Х., известной писательнице. С Кузминым перекочевала и вся легкомысленная часть общества, ходившая на знаменитую Ивановскую «башню». Остались там одни бородатые профессора, толковавшие об истине или спорившие об «анакрузах». У Х. установился тон, хотя и менее почтенный, зато много более непринужденный, чем в мансарде «таврического мудреца» (от Таврической улицы, где Иванов жил), обставленной пропыленной итальянской мебелью и заваленной средневековыми рукописями.

Х. была известной романисткой. На высокое искусство она не претендовала. Писала бойко и отнюдь не бездарно, во всяком случае головой выше так называемой «средней литературы» из толстых журналов, куда ее не пускали. Впрочем, она этого и не добивалась: «У меня свой читатель».

«Свой читатель» действительно был — книги Х. расходились десятками тысяч экземпляров.

Х. было лет под сорок. Наружностью и характером — русская барыня — помещица средней руки, болтушка и хохотушка, умеющая «простить и оборвать», веселая и гостеприимная. Конечно, она была знаменитой писательницей, и у нее должны были быть «запросы». Она даже жаловалась в стихах:

Ах, никто не понимает
Психологии моей...

Но это было так, для стиля. «Психология» ее была ясна, как зеркало, и ей самой и окружающим.

Кузмин расположился у Х. много комфортабельнее, чем у Вячеслава Иванова. И в прямом и в переносном смысле. Тон глубокомысленных беседований и «волхований» Кузмину давно надоел. Ему хотелось резвиться. Переезд с Таврического на Мойку тотчас же отразился и на его писаниях. С «высо-

кой» литературой было покончено, в права вступила литература легкомысленная.

Х. в простоте душевной видела в Кузмине если не ученика, то попутчика. И очень беспокоилась, зачем он мало пишет. — «Вы должны работать, работать, работать, дорогой Михаил Алексеевич». — Чтобы работа шла успешней, к Кузмину был даже приставлен секретарь.

Секретаря звали Агашка. Был он, кажется, из семинаристов и говорил с «духовным» акцентом. Лицо имел круглое и простодушное, как у чухонки. Но эстет он был отчаянный и считал себя ужасно «порочным и тонким», в доказательство чего носил лорнет, браслет и клетчатые штаны особого фасона.

Агашка, понятно, обомлел от счастья, попав в секретари к «петербургскому Уайльду», как Х. величала Кузмина. Но счастье длилось недолго. Дело в том, что, как натура тонкая и изысканная, Агашка, писавший под диктовку Кузмина, не мог мириться с простотой его выражений и тайком «наводил стиль».

— Женщина подошла к окну, — диктовал Кузмин.

— Молодая женщина волнующейся походкой подошла к венецианскому окну, — записывал Агашка.

Пришлось его отставить.

Часов с трех дня на Мойке начинался съезд. К пяти «салон гудел веселым ульем». Хозяйка, превозмогая свою простодушную натуру, толкует о «красоте порока». Другая, менее известная писательница К., в огромной шляпе, перебивая ее, лепечет о некромантии. Юркун, плодовитейший из беллетристов (только происками издателей можно было объяснить, что трудолюбие его еще не оценено), презрительно бросает кому-то признавшемуся, что любит Леонардо да Винчи.

— Леонардо... Леонардо... Если бы Аким Львович (Волынский) не написал о нем книги, никто бы и не помнил о вашем Леонардо...

Бледное, плохо выбритое существо сидит в углу. У него такой вид, точно он не спал всю ночь и явился, не успев переодеться. Лицо жалкое и милое, беспокойный близорукий взгляд. Это поэт Рюрик Ивнев. Если его попросят прочесть стихи, он долго будет отнекиваться, потом полезет в карман, вытащит сверток измятых листков, просыпет папиросы, выронит платок, засунет все это обратно, покраснеет, передернется, встанет, опять сядет...

Прочесть он может и очень плохие, и прекрасные стихи. Чаще плохие, даже никуда негодные, чушь:

Гляди на Астрахань, на сей град,
И мылом мой лохань. Рад. Рад.

И вдруг, изредка, щемяще-пронзительное:

От крови был ал платочек,
Корабль наш мыс огибал.
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Этот Рюрик Ивнев, будущий имажинист, поэт, «параллельно» пишущий акафисты и страшные богохульства, коммунист, простаивающий часы на коленях, замаливая «наш общий грех».

— Их сиятельства нет дома, — говорит чинный лакей.

Нет так нет. Я поворачиваюсь, собираясь уходить. Но мой спутник Мандельштам вступает в пререкания.

— Как же ее нет, когда она сама нас звала.

— Не могу знать. Вышли.

— А почему в кабинете свет? Вы что-то путаете, — не отступает Мандельштам.

Лакей сдается.

— Не могу я вас пустить, господа. У княжны Ее Величество...

— А!!

Княжна Г. — необыкновенная женщина. Ничего женского в ней нет. Лицо профессора... Плечи пожарного... Крепчайшая папироса в зубах, раскатистый бас... Любимые развлечения — бильярд и стрельба в тире. Принимает гостей. Вдруг звонок в телефон.

— Простите, господа, я вас на минутку оставлю.

Через четверть часа возвращается.

— Где вы были, княжна?

— Да в госпитале... вызвали... пустяки... ампутировала ногу...

Заведующая госпиталем. Блестящий хирург. Выжимает в силомере какую-то чудовищную цифру. И поэтесса. Точнее, поэт — «князь Сергей Г.». Нежный, нежнейший, лирический поэт. Пишет о цветах, ветках, чижиках...

Точно грустный чижик в клетке,
Я сижу один...

Читая стихи, бас, недавно гудевший — «пустяки... гангрена... ампутировала...», — смягчается. Может быть, в самом деле эта душа, бесстрашная в окровавленной операционной, чувствует себя робким чижиком:

Вдыхая аромат душистого левкоя
В вечерней тишине...

Поэта Сергея Г. «открыл» и приобщил к литературному высшему обществу Гумилев. До этого княжна «блуждала в потемках» — боготворила Щепкину-Куперник и печатала свои стихи на веленевой бумаге с иллюстрациями Клевера... Гумилев дал пятидесятилетней неофитке прочесть Вячеслава Иванова. Княжна прочла, потряслась, сожгла все свои бесчисленные стихи и стала писать о «Волшбе»...

...Прием у княжны Г. в разгаре. Гостеприимная хозяйка потчует гостей прекрасной мадерой и... стихами. Общество смешанное. Часть гостей — модернистическая, недавнего знакомства. Часть старые — «собратья по перу» — почтенные дамы и директора департаментов. Эти имеют вид любезно-обиженный. Любезный — с «молодежью» надо считаться. Обиженный — чувствуют, что теперь им в глазах хозяйки дома, с тех пор как она стала декаденткой и пишет о волшбе, не та цена. Читают стихи по кругу. Это тоже не нравится — «не создает настроения».

Дама с шиньоном — нервничает. Она принесла с собой небольшую драму, но читать вряд ли придется.

— Глафира Петровна, вы прочтете что-нибудь?

Вытащить из сумочки заветную тетрадку? Нет, где уж тут, — опять начнут зевать, шептаться, писать друг другу записочки и бесцеремонно уходить в бильярдную, под предлогом курения, хотя курить в кабинете никто не запрещает.

— А может быть, все-таки прочесть?..

Но уже княжна притворно-укоризненно качает головой:

— Не хотите? Как жаль! Тогда, господа, если позволите, я прочту сонет.

На стуле вертится хлыщеватый молодой человек ультрапетербургского вида. Он играет моноклем, слишком непринужденно закладывает нога за ногу, слишком рассеянно щурится. Ежесекундно его лицо подергивается тиком. Говорит он в нос, цедит слова, картавит и пришептывает. Это столп «Аполлона» Н.Н. Пунин, художественный критик и поэт. Он

каждую фразу, начиная по-русски, кончает по-французски, или наоборот.

— Приятно, — признается он, — что в «Аполлоне» сотрудничают более или менее люди нашего круга. В других редакциях приходится здороваться за руку черт знает с кем...

Увы, несколько лет спустя Пунину пришлось часто испытывать эту неприятность: он стал комиссаром «отдела изобразительных искусств».

Соответственно с обычаями нового «нашего круга» тогда изменилась и внешность Пунина: полушубок, пенсне, бородка, «вдумчиво-суровый» взгляд.

Один мой знакомый в 1919 году, сидя в углу вагона, слышал такой разговор.

Так называемый «делегатский» вагон — набит. Перед самым отходом поезда появляется Пунин и еще два молодых человека, одетых в кожу. У них плацкартные места, но что-то перепутали и приходится довольствоваться коридором.

— До Любани, товарищи, — распинается контролер, — в Любани прицепят спальный.

«Комиссары» волнуются и негодуют. Остальная публика, хотя и «делегатская», поглядывает на них явно несочувственно. Слышен шепот:

— Все так ездим, нашлись господа...

Пунин, волновавшийся не меньше других, вдруг меняет тон.

— Полно, товарищи, — говорит он намеренно громко. — Что там сердиться. Как-нибудь доедем мы, старые социалисты, ведь привыкли и не к тому. Все видали, и Сибирь по этапу, и мороз тридцатиградусный, и издевки царских палачей, и теперь по-пролетарски — в тесноте, да не в обиде.

Общественное мнение смягчается.

— Да вы присядьте, товарищ. Потеснимся... Действительно, которые страдали. А то больше мазурики...

...Дымя египетской папиросой, благоухая «Герленом», будущий страдалец за народ читает стихи. Они посвящены императрице Феодоре. В стихах говорится о том, как он, Пунин, «ласкал бы» Феодору, если бы века не разделяли их бессмертной страсти. Стихи звонкие. В том, что византийская императрица была бы в восторге, элегантный автор не сомневается. Все дело в «веках».

...Присядьте, товарищ... Действительно, которые страдали...

— Николай Николаевич, как вам нравится Роджерс в «ла белль Авентюр»?

— Очаровательна. Мы ведь старые парижские друзья. Однажды я завтракал у ней с принцем Уэльским. Принц мне сказал.

...Действительно, которые страдали. А то больше мазурики...

Прием идет на убыль. Один из старых «собратьев по перу», благообразного и сановного вида, улучив минуту, читает с «выражением»:

У меня на столе,
В дорогом хрустале,
Увядает пурпурная роза.
В ней так дивно слиты
И любовь, и мечты,
И тоска, и лазурная греза...

Увы, «настроения» не создается. Никто не слушает. Эта молодежь так бесчувственна к поэзии старой школы. Стоит ли метать бисер?..

Хозяйка, забыв об обязанности сказать что-нибудь одобрительное, краснея, как девочка, берет из рук только что пришедшего Гумилева номер «Гиперборея». Ее стихи наконец там напечатаны. Какая радость. Но лицо ее вдруг темнеет.

— У меня было девять строф, а здесь только шесть. И последняя совсем переделана.

— Дорогая княжна, я нашел, что так будет лучше.

Спорить нельзя. И к чему спорить? Может быть, так и в самом деле лучше.

СПИРИТЫ

(Из петербургских воспоминаний)

Пятница у Н.Н., среда у Х., понедельник у З. Не все ли равно? Те же пти-фуры, те же разговоры, те же остроты. Скучно жить на этом свете, господа.

Ничуть. Вам надоели литературные салоны? Но разве они одни в Петербурге? Разнообразие бесконечное, стоит только поискать. Да что там, как раз сегодня на Каменном острове заседают спириты. Хотите, я вас сведу?

В раззолоченных комнатах особняка на Каменном острове госпожа фон Б., богатая дама, устроила общежитие «для ищущих истины». Она неравнодушна ко всему «возвышенному», играет, пишет, выставляет картины в кружке дам-акварелистов, но спиритизм ее главная страсть.

Хозяйка дома, любезная, очень полная дама с изумрудом, похожим на булыжник, болтающимся на груди. Она не хороша собой. Говорят, давно, очень давно, когда г-жа фон Б. была еще барышней-невестой и не «искала истины», взбесившийся пес откусил ей ухо. Этот случай решил ее судьбу и судьбу двух дюжин «верных», хотя и обладающих обоими ушами, но зато лишенных десяти тысяч десятин в Саратовской или Полтавской и каких-то заводов в Тверской.

«Бдение» еще не началось. В зале с колоннами лакей приготовляет все для сеанса. Круглый стол «без железа», т.е. без винтов или гвоздей. Как известно, дух не станет общаться через стол, в который хотя бы воткнута булавка. И аксессуары — колокольчик, если дух захочет позвонить, сахарница, на случай, если он пожелает швырнуть в лица «верным» горсть сахару. Тут же икона и святая вода для усмирения злых сил.

Часы бьют восемь. Шурша тяжелым шелком, хозяйка грузно выплывает в залу.

— Как мило, что вы зашли. А почему в четверг не были? У нас были явления — дух Карла Великого пролил чернила и загнал Скорпиошу на шкаф.

Скорпиоша — один из котов, благоденствующих в этом доме не хуже, чем люди. Ожиревшие от сливок и сна, они бродят по всем комнатам. Кошки эти тоже как бы посвященные, их допускают на сеанс и зовут по именам знаков Зодиака.

— Что это в маленьком кабинете, — морщится хозяйка, — такой странный воздух?

— Верно, Волопас опять плохо себя вел. Не знаю, что с ним и делать, — отвечает «брат секретарь», человек с шевелюрой и «иконописными» глазами. На его обязанности, кроме переписки с заграничными спиритами на эсперанто, лежит еще заведование кошками.

— Волопас, Волопас, — укоризненно качает головой хозяйка. — Когда же ты исправишься? Брал бы пример со Стрельца! Совсем простой котик, а никогда не пачкает. А ведь ты — ангорский.

Волопас беспокойно выгибает спину, слушая эти ласковые упреки. Он знает, что после выговора его отнесут на место преступления и высекут так же, как если бы он был не Волопасом, а вульгарным Васькой. Прежде этого не было, тогда и Стрелец вел себя не столь уж образцово. Но недавно «брат секретарь» торжествующе показал хозяйке ученую книгу, где говорилось, что даже древние египтяне своих священных кошек за провинность драли.

Пора начинать. Но нельзя — ждут «профессора». Этот титул произносится часто с весом, уважением и расстановкой. «Профессор обещал приехать...» — «Не захворал ли профессор?» — «Позвоните профессору по телефону...»

— Профессор приехал! — радостно объявляет кто-то. Шурша шелками, хозяйка сама идет навстречу желанному гостю.

Входит человек лет тридцати пяти, худощавый, мускулистый, гладко выбритый, с голубыми водянистыми глазками. На нем визитка и бархатный жилет в цветочки. Крепкий запах цветочного одеколона окружает его, как аура.

Профессор здоровается любезно, но с достоинством. Он извиняется — опоздал. Но сегодня столько уроков — и в юнкерских, и в авиационной школе. К тому же он порядочно продрог, — производил опыт — нырял под лед. Он — профессор... плавания.

Продрогшему профессору несут чай и коньяк. Отпив глоток, он доливает его коньяком, отпив еще, снова доливает.

— Нет, мерси, — отказывается он от второго стакана, плеснув на дно пустого последнюю порцию коньяку. — Что ж, приступим...

...Темнота. Руки соединены в цепь. Проходят томительные минуты. Столик начинает колебаться. «Мохнатка» шарит по спинам, дух средневекового матроса отстукивает богохульства. Его успокаивают святою водой. Сменившие его добрые силы рассыпают сахар и звонят в колокольчик.

— Кто ты? — спрашивают нового духа, давшего знать о своем присутствии.

— Грешный скрипач, молитесь за меня!

В благодарность за будущие молитвы скрипач ударяет по басовым клавишам рояля. Хозяйка шепотом выражает удовольствие.

— Это что, — презрительно пожимает плечами одна из гостей. — Вот на моих сеансах постоянно играет Бах.

После сеанса — ужин, и отличный. Решительно спиритические салоны приятнее литературных. Но пора уходить. Профессор плавания осведомляется, разведен ли мост — он хочет пройтись для моциона.

— Мост? — расплывается хозяйка. — Сейчас я узнаю.

Через минуту в соседней комнате слышится легкое постукивание столика.

— Это Петр Иванович? Ах, это Магомет, простите, мой друг, я вас не узнала. Скажите, Магомет, когда разводят Троицкий мост? В час? Наверное? Спасибо, спасибо. А где Мари? В третьей сфере... Поцелуйте ее от меня...

Гости разбирают шляпы и палки и целуют ручку хозяйке. Сестры и братья деликатно зевают в ладонь — подвиг вещь утомительная. Ну, да теперь попьют чаю, почитают вслух Аллан-Кардека, потолкуют о Рама-Кришне, а там и спать... <...>

«БРОДЯЧАЯ СОБАКА»

(Из петербургских воспоминаний)

«Бродячая собака» была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители, от флигель-адъютанта до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись.

Чтобы попасть в «Собаку», надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Тотчас же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан.

Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать: «Нету местов». Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления «общества интимного театра», как официально называется «Собака», хватает вас за рукав: три рубля и две письменные рекомендации, если вы «фармацевт», полтинник — со своих. Наконец все рогатки пройдены. Директор «Собаки» Борис Пронин, «доктор эстетики гонорис кауза», как напечатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятия. «Ба! Кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал? Иди! — Жест куда-то в пространство. — Наши уже все там».

И бросается немедленно к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть! Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Пронин, наверное, разведет руками: «А черт его знает...»

Сияющий и в то же время озабоченный, Пронин носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук бантом летает на его груди от порывистых движений. Его

ближайший помощник, композитор Н. Цыбульский, по прозвищу «граф О'Контрэр», крупный, обрюзгший человек, неряшливо одетый, вяло помогает своему другу. «Граф» трезв и поэтому мрачен.

Пронин и Цыбульский такие разные и по характеру и по внешности, дополняя друг друга, сообща ведут маленькое, но сложное хозяйство «Собаки». Вечный скептицизм «графа» охлаждает не знающий никаких пределов размах «доктора эстетики». И напротив, энергия Пронина оживляет Обломова-Цыбульского. Действуй они порознь, получился бы, должно быть, сплошной анекдот. Впрочем, анекдотического достаточно и в их совместной деятельности.

Раз выпив не в меру за столиком какого-то сановного «фармацевта», Пронин, обычно миролюбивый, затеял ссору с адвокатом Г. Из-за чего заварилась каша, я не помню. Из-за какого-то вздора, разумеется. Г. был тоже немного навеселе. Слово за слово — кончилось тем, что Г. вызвал директора «Собаки» на дуэль. Наутро проспавшийся Пронин и Цыбульский стали совещаться. Отказаться от дуэли? Невозможно — позор. Решили драться на пистолетах. Присмиревший Пронин остался дома ждать своей участи, а Цыбульский, выбритый и торжественный, отправился секундантом к Г. на квартиру. Проходит полчаса, час. Пронин волнуется. Вдруг — телефонный звонок Цыбульского: «Борис, я говорю от Г. Валяй сейчас же сюда — мы тебя ждем! Г. — замечательный тип, и коньяк у него великолепный».

Другой раз Пронин под руку с Цыбульским прогуливались по левой стороне Невского в людное время и пригласили всех более или менее знакомых встречных на обед в итальянский кабачок Франческо Танни на Екатерининском канале праздновать чье-то из них рождение или именины. К обеду явилось человек пятьдесят. Пронин шумит, распоряжается, заказывает меню и вина, наконец, съедено очень много, выпито еще больше. Хозяин подает Пронину счет. Тот берет с явным недоумением. «Что это?» — «Счетик-с». Пронин читает вслух внушительную трехзначную цифру, обводит окружающих диким взглядом и вдруг восклицает: «Хамы! Кто же будет платить?»

Комнат в «Бродячей собаке» всего три. Буфетная и две «залы» — одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал, кажется, в прошлом ренсковой погреб. Теперь стены пестро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В главной зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин. На одной из стен

большое овальное зеркало. Под ним длинный диван — особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом, когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова:

Да, я любила их — те сборища ночные,
На низком столике — стаканы ледяные,
Над черным кофием голубоватый пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки...

Есть еще четверостишие Кузмина, кажется нигде не напечатанное:

Здесь цепи многие развязаны —
Все сохранит подземный зал.
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Действительно — сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем утра он регулярно снимал) грустно гладит свою любимицу Мушку, лохматую злую собачонку: «Ах, Мушка, Мушка — зачем ты съела своих детей?» Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О.А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно механической грацией танцует «полечку» — свой коронный номер. Сам «мэтр Судейкин», скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян — решить трудно. Князь С.М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н.Н.Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья. За «поэтическим» столом идет упражнение в писании шуточных стихов. Все ломают голову, что бы такое изобрести. Предлагается наконец нечто совсем новое: каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть соче-

тание слогов «жо-ра». Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец время иссякло, все по очереди читают свои шедевры <...>

Под аплодисменты ведут автора, чья «жора» признана лучшей, записывать ее в «Собачью книгу» — фолиант в квадратный аршин величиной, переплетенный в пеструю кожу. Здесь все: стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви, даже рецепты от запоя — специально для графа О'Контрэр. Петр Потемкин, Хованская, Борис Романов, кто-то еще — прогнав с эстрады поэта Мандельштама, пытавшегося пропеть (Боже, каким голосом!) «Хризантемы», — начинают изображать кинематограф. Цыбульский душераздирающе аккомпанирует. Заменяя надписи на экране, Таиров объявляет: «Часть первая. Встреча влюбленных в саду у статуи Купидона.(Купидона изображает Потемкин, длинный и худой как жердь.) Часть вторая. Виконт подозревает... Часть третья...»

Понемногу «Собака» пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова — царскоселы, ждут утреннего поезда, другие сидят за компанию. За компанию же едут на вокзал «по дороге» на Остров или Петербургскую сторону. Там в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма: «Послушайте, поезд ушел?» — «Так точно». — «Безобразие — подать сюда жалобную книгу!»

Книгу подали, и Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь... Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении из «Собаки». Однажды кто-то, кажется Сергей Клычков, похвастался, что влезет на чугунного коня на Аничковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цыбульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. «Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело, да ты понимаешь ли... Как смеешь дерзить обер-офицерским детям», — вдруг заорал он на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от «обер-офицерских детей».

На улицах пусто и темно. Звонят к заутрене. Дворники сгребают выпавший за ночь снег. Проезжают первые трамваи. Завернув с Михайловской на Невский, один из «праздных гуляк», высунув нос из поднятого воротника шубы, смотрит на циферблат Думской каланчи. Без четверти семь. Ох! А в одиннадцать надо быть в университете.

ЧЕКИСТ-ПУШКИНИСТ

(Из петербургских воспоминаний)

Три года после октябрьского переворота я прожил безвыездно в Петербурге. И куда, в самом деле, было выезжать?

Застигнутый наводнением, добравшись до клочка твердой почвы, отсиживаешься на нем, ожидая, когда упадет вода. В первые годы большевизма так, по разным углам, отсиживалась вся Россия. Тогда еще все верили, что «вода упадет», неминуемо должна упасть. «Надо переждать, потерпеть...» Все ждали, терпели и... незаметно привыкли к тому, как капля за каплей убывает кругом реальная жизнь и на смену ей, становясь единственной непререкаемой реальностью, вступает в права зловещая советская фантастика.

* * *

Странное ощущение: впервые за три года я еду в поезде. И не в дачном поезде, куда-нибудь в Петергоф или Царское, напоминающем больше конку, чем поезд. Нет, тот, в котором я нахожусь, — настоящий поезд. Он быстро летит, в широких окнах вагона мелькают незнакомые, засыпанные снегом леса и поля. И вагон, в котором сижу я, — настоящий международный вагон: тисненая кожа с позолотой, бежевый бархат, кресло, зеркало, откидной столик. Только вместо лампы под оранжевым колпаком прикапан огарок свечи, да трубы радиатора, несмотря на зиму, — ледяные. И еще маленькое несоответствие с тем, что было раньше: это спальный вагон, но спать в нем не рекомендуется. Бежевый, уютный бархат дивана кишит вшами. Вши занесены с фронта красноармейцами, мешочниками, и укус каждой из них, почти наверняка, — сыпной тиф.

Это так называемый «командировочный» вагон. В отличие от общих, «твердых», снизу доверху набитых гражданами самой свободной страны мира, в неслыханной духоте и грязи сидящих друг на друге, — этот вагон полупустой. Чтобы попасть в него, требуется специальное разрешение. Я, хотя и не без

труда, разрешение это получил. Как-никак, я еду не просто, а по «казенной надобности».

Поезд быстро летит среди снежных лесов и полей. Я стою в коридоре и курю. Человек в красноармейской шинели подходит ко мне. Что, опять проверка документов? Нет, это такой же, как я, пассажир. Просит прикурить, заводит разговор: «Далеко едете, товарищ?»

Красноармеец покурил, поболтал со мной «по душам» и отправился спать. Он не боится «сыпнотифозных» — чему быть, того не миновать.

— С немцами вот, напрасно воевали. Сколько народу покалечило, а чему быть — тому не миновать. Суждено немцам было одолеть нас — и одолели. И царь с Керенским напрасно против Ленина стояли — как суждено было, так и случилось. И Ленину своя судьба предназначена, и как предназначено — так и произойдет...

— Кто же предназначает, по-вашему? — спросил я. — Бог?

— Какой там Бог, товарищ. Бога попы выдумали. Был, да весь вышел. Какой там Бог.

— Кто же тогда?

— Это нам пока неизвестно — наука еще не дошла. Когда дойдет — узнаем. Многое теперь научно исследовано и доказан абсолютный наоборот. Хотя бы вот насчет грома. Тоже предполагали на Илью Пророка, а выходит, что электричество.

У собеседника моего «одно из славных русских лиц» — серо-голубые приятные глаза, вздернутый нос, свежий румянец. Вежливое обращение, учтивый рассудительный разговор. «Чему быть — тому не миновать». Между прочим, «партийный с семнадцатого года» — упомянул об этом с гордостью...

Искры летят в черном воздухе, смутно мелькают белые пространства. Какая-то станция. Стуча прикладами, проходит контроль. Опять мчится поезд, унося меня и мой вшивый международный вагон. Россия, Россия... «С семнадцатого года»! — Много воды утекло с тех пор, вернее, много грязи и крови. И — как не согласиться с моим партийным фаталистом — многому «доказан абсолютный наоборот».

«Казенная надобность», с которой я приехал в Н., была одной из тех «дружеских командировок», которые в те времена раздавались «своим людям» — разными театрами, издательствами, музеями — без особых затруднений и по большей части решительно без всякой надобности для командирующего учреждения. В те времена область науки, искусства была еще

более или менее независимой от властей предержащих — не то, что теперь — и для отдыха, для поездки за провизией, даже для бегства за границу, каждый поэт, ученый или актер легко находил там или здесь лиловую печать с серпом и молотом, закреплявшую на внушительно выглядевшем официальном бланке его права на передвижение по Р.С.Ф.С.Р. вот в таком командировочном вагоне...

Моя командировка, впрочем, не была совершенно дутой. Конечно, главным образом я ехал отдохнуть и подкормиться — однако у меня была и работа. В Н., Псковской губернии, куда я направлялся, были свезены уцелевшие архивы и библиотеки из разгромленных усадеб, и надо было посмотреть их и разобрать. Мало ли что могло валяться там без призору в подвалах уездного наркомпроса: ведь кругом были знаменитые «Пушкинские места».

От станции до города было верст двадцать пять. Выйдя из вагона рано утром, я подъезжал к Н. под вечер. Розвальни, устланные соломой, мягко переваливаясь из сугроба в сугроб, заскрипели наконец по главной улице города — разумеется, «проспекту Карла Маркса». Огни светились кое-где за мутными стеклами мещанских домишек, снег таял, мужик нес ведро, девчонка с криком бежала за курицей... «Вековая тишина» русской провинции лежала на всем, будто и не было никаких революций..

* * *

Я, как уже было сказано, ехал в Н. отдохнуть и порыться в архивах. Совершенно неожиданно мне там пришлось столкнуться с такими вещами, которые не были предусмотрены ни мной самим, ни моим декоративно-внушительным «мандатом» от «Пушкинского дома»...

Несколько дней по приезде в Н. я «наслаждался жизнью». Удивительно сытно завтракал, удивительно вкусно обедал, так же ужинал, валялся на диване в снятой мной у какой-то вдовы-чиновницы комнате (она же меня и кормила) или лениво прогуливался по проспекту Карла Маркса, от кладбища, с которого этот проспект начинался, до болота, которое его замыкало.

Но время шло. Надо было подумать об исполнении командировки, хотя бы для виду...

Однажды, после завтрака, я отправился в наробраз.

— Рукописи? — спросили меня. — Архивы из усадеб? Как же, как же. Возов восемь или девять, считая с книгами. Как же. Местные помещики, — хотя и контрреволюция, — народ, знаете ли, был образованный: Вревские, Вяземские... Веками собирали... Многое погибло, конечно, — пожгли, растаскали, но и теперь — богатейший материал, прямо, знаете, россыпь...

Но когда я попросил мне эту россыпь показать — заведующий наробразом посмотрел на меня так, точно я сказал ему нечто совершенно несуразное.

— Не от нас это зависит... Осмотреть — само собой, отчего же не осмотреть — с научной, так сказать, целью... Тем более и мандат у вас... Только не от нас зависит. Как посмотрит товарищ Глушков...

— Где же этот товарищ Глушков и кто он?

Заведующий ответил опять каким-то странным тоном:

— Глушков-то?.. Ну да — вы приезжий... Вот, насупротив, в белом доме — отдел коммунального питания. Только сейчас вряд ли застанете. Спит он днем. Наведайтесь к нему под вечер. Как вы с мандатом, так сказать, с научной целью...

Глушков действительно спал. Мрачный секретарь, похожий на лошадь, с флюсом, записал мое имя и назначил прийти в девять вечера. Несколько недоумевая на порядки города Н., где литературными архивами заведуют продовольственные деятели, принимающие к тому же по ночам, — я побрел домой. Солнце ярко светило, снег бурно таял, и по проспекту Карла Маркса едва можно было пройти...

* * *

В девять вечера я снова был в продовольственном отделе.

— Товарищ Глушков вас ждет...

...Под темно-зеленым абажуром сидел товарищ Глушков. Он был небольшого роста, курчавый, смуглый. Живые карие глаза, очень красный рот. Я отмечаю его наружность, так как, вероятно, в ней, в этом печальном сходстве, и была разгадка... Но я забегаю вперед.

Наружность Глушкова, впрочем, при этой первой встрече нисколько не остановила моего внимания — человек как человек. Еврей или, может быть, с Кавказа... Смутно мелькнула мысль о сходстве с кем-то... Мелькнула и исчезла. Другое заинтересовало и даже поразило меня — обстановка комнаты, в которой я находился.

Это был музей, настоящий музей тридцатых годов. Все, до мелочей, было выдержано в строгом и чистом стиле — от полированных спинок александровских диванов до коллекции чубуков на характерной стойке.

Вдоль стен очень просторной комнаты стояли шкафы красного дерева. Беглого взгляда на корешки находившихся в них книг было достаточно, чтобы убедиться, что передо мной богатейшая, тщательно подобранная библиотека пушкинской эпохи.

— Да-с, товарищ, — говорил Глушков, — и глаза его, темные, подвижные, смутно напоминающие чьи-то знакомые мне глаза, поблескивали. — Да-с, каждую минуту, свободную от революционной работы, я посвящаю вот этому. Каждую минуту... хотя немного у меня этих минут. И вот за три года... результат, может быть, и скромный, хотя...

— Поразительный результат, — искренне похвалил я.

Лицо Глушкова просияло.

— Рад, что оценили, рад, что оценили, — забормотал он. — Понимающего человека редко видишь, разве есть в нашей глуши понимающие люди? Я даже и пускать сюда не люблю — только ковры топчут, книги треплют... Учителишки какие-нибудь, экскурсанты... С ихним ли носом... Рад, очень рад, товарищ. Вот, взгляните...

Он разворачивал папки, доставал редкую книгу, снимал со стены рисунок, совал мне в руку увеличительное стекло:

— На росчерк обратите внимание, на росчерк.

Несомненно это был музей. Глушков был настоящим любителем и знатоком. Давая объяснения к своим сокровищам, он входил в подробности, высказывал догадки и предположения — часто прелюбопытные...

Странный тип. Отдел продовольствия, черная косоворотка и цитирует, с отчаянным выговором, Парни. Странный тип.

— Скажите, товарищ Глушков, — начал я, — как вы пришли к мысли собирать все это, откуда вы всем этим заинтересовались?..

— Откуда? — переспросил он. — Как заинтересовался?

Лицо его дернулось, глаза забегали и заблестели. Он усмехнулся:

— Как к мысли этой пришел?..

Тут в соседней комнате зазвонил телефон. Глушков вышел на минуту.

— Нечего делать, — сказал он, вернувшись. — Неотложные дела. Вы, товарищ, в Н. долго пробудете? Недели две? Вот и чудесно — выкрою на днях свободный вечерок и извещу

вас. Тогда и поговорим обо всем, и книжки рассмотрите, и, — он снова усмехнулся, — откуда у меня интерес взялся, если нескучно, узнаете. Водочки заодно выпьем. А пока извиняюсь, очень был рад, душевно рад...

Чиновница моя в тот вечер, постаравшись для петербургского гостя, слишком жарко закрыла печку — сделался угар. Пришлось вставать с постели и открывать форточку. Пока комната проветривалась, я, закутавшись в шубу, курил у окна. Темное небо было в торжественных зимних звездах, воздух упоительно свеж и чист. «Вековая тишина», — снова вспомнилось мне. Вдруг где-то далеко послышался грохот автомобильного мотора и сквозь этот грохот как будто выстрелы...

* * *

Я прожил в Н. еще несколько дней и собрался уезжать. К обильной и жирной пище я уже привык, и она перестала меня развлекать. Скука же была адская. К тому же электричество в этом благословенном уголке подавали только три раза в неделю — остальные четыре вечера приходилось сидеть при крошечной лампадке-коптилке, при которой ни читать, ни работать не было никакой возможности. Глушков за мной все не посылал — ну и черт с ним.

Наступила суббота. Отъезд мой был назначен на завтра, вещи упакованы, подвода заказана. Было часов десять вечера. Я уже собирался лечь спать, когда ко мне постучали.

— Войдите!

Взлохмаченная голова моей хозяйки просунулась в дверь. Вид у нее был испуганный.

— Нарочный за вами, гражданин...

— Какой нарочный? Откуда?

— Из...

Но нарочный уже сам входил в дверь. Я сразу узнал его — «лошадь с флюсом», глушковский секретарь.

— Товарищ Глушков очень извиняются, что так поздно, — только что освободились — ждут вас...

* * *

Электричество не горит: два высоких бронзовых канделябра освещают знакомую уже мне комнату-музей. Глушков на этот раз не в косоворотке, на нем широкий восточный

халат — настоящий «архалук» пушкинских времен. Встречает он меня как добрый знакомый.

На столике закуска в старинной посуде, водка, даже вино. Глушков гостеприимно меня потчует. Прекрасная водка — давно я не пил такой, недаром хозяин заведует коммунальным питанием... Сидеть удобно, приятно. Дрова уютно трещат. Шелестят старинные книги и рукописи в руках Глушкова. Оплывают свечи в высоких канделябрах...

И вот от того, должно быть, что я давно не пил, от этой необычайной обстановки, от тепла, свечей, шелеста прошлого — мной начинает овладевать приятная полудремота... Я не сплю и не бодрствую — я нахожусь где-то посредине. Слышу, что мне говорят, и сам отвечаю, но все это идет как-то мимо сознания...

— ...Пушкин был революционером. — Ну, как сказать. — «Друзья, увижу ль я народ освобожденный и рабство падшее...» — Так ведь по «манию царя» падшее... — Дань времени, страшному николаевскому времени... Но мыслил он революционно, между тем как декабристы... — Шамбертен? Да, великолепный, откуда вы взяли его? — Вина кометы брызнул ток? — Это о шампанском, должно быть... Что? Внебрачные дети Пушкина...

Глушков все говорит, говорит... Печка трещит, тепло, уютно... Странно все-таки — сижу в гостях у комиссара... Ну какой это комиссар... все Пушкин, Пушкин, прямо Гершензон какой-то... Разговорчивый малый и знает предмет... Вот ушел куда-то... Однако мне завтра ехать — надо бы домой...

Громкий голос выводит меня из приятного оцепенения:

— Что, похож я на деда?

Передо мной стоит Глушков. Нет, передо мной стоит Александр Сергеевич Пушкин.

Он стоит в белом жабо и сюртуке с приподнятыми плечами. Мягкий свет канделябров золотит его рыжеватые бакенбарды.

— Что, похож?

Он усмехается, довольный произведенным впечатлением и хрипловатым голосом нараспев читает:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен,
Как он неколебим и тверд...

Неслыханное кощунство, которым звучат эти строки в этих устах, мне еще не открыто. Только завтра, во всей своей бесстыдной мерзости, оно мне откроется...

Да, я еще не знаю ничего — и откуда мне знать. И я сижу с ним, пью его проклятый Шамбертен, слушаю его рассказы. О его бабушке-крестьянке, бывшей будто бы любовницей Пушкина и встречавшейся с поэтом в овраге около Н. «Здесь, неподалеку, славный овраг, тенистый, глубокий». О том, что кровь Пушкина вопиет к миру, что она не отомщена, что за нее «надо мстить, мстить...».

* * *

Утром мужик, везущий меня на станцию, показывает кнутом в сторону.

— Вот оно, гиблое место.

— Почему гиблое?

— Глушков овраг. Нешто не слыхали?

И в ответ на мое недоумение медлительно поясняет:

— Сколько тут народу лежит — с пол-оврага, не меньше. Все Глушкова работа. Два года председателем чека был, два года людей глушил. Теперь продовольственный комиссар. Ну да, все одно — лизнула раз крови тигра, всю жизнь будет кровь пить. Хоть и продовольственный — ни одного расстрела не пропускает...

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Это было длинное старое здание с бесконечными коридорами, классами, дортуарами, с двусветной залой, где за обедом и ужином собирался весь корпус. С одной стороны катилась мутная Ждановка, с другой — огромный плац примыкал к серой казарме Павловского училища. По вечерам горнисты наши перекликались. У юнкеров та же самая «заря» звучала иначе, чем у кадетов, — суше, определенней. Так оно и следовало: там в юнкерском шла уже взрослая жизнь, здесь еще продолжалось детство.

Разделяла нас улица и какая-то стена, забравшись на которую можно было наблюдать, как юнкера пьют тайком водку и рассказывают похабные анекдоты. Дальше розовел манеж, ветер трепал черное кривое дерево, и широко уходило к морю бледное небо, необыкновенное небо петербургских окраин. Было в нем, особенно весной или ранней осенью, что-то в одно и то же время райское и тюремное.

Старое здание корпуса широко разрослось на еще более старом страшном фундаменте. Постоянно, когда что-нибудь копали или ремонтировали, в почве попадались разные «вещички»: клещи, щипцы, человеческие кости. Тут когда-то помещалась тайная канцелярия и шли допросы «с пристрастием». Само собой, такое прошлое населяло корпус призраками. Кого только не видели «своими глазами» ночью в плохо освещенных, пустых, жутких коридорах. Петра Меньшикова, Бирона, «великана с обрывками цепей», даже почему-то Пушкина, даже «Белую даму». Но особенно магическую власть над нашим детским воображением имела «мертвая голова».

Петр, может быть, и не сходил с синего парадного полотна на сияющий паркет и не мерил огромными шагами пустую безмолвную залу. И Меньшиков не вздыхал в цейхгаузе, и скрюченный Бирон не пробирался, крадучись, под сводами. Но голова, страшная светящаяся голова... В нее верили все. Таинственное фосфорическое облако, которое окружало ее,

когда глубокой ночью она медленно проплывала то низко, почти на уровне наших кроватей, то высоко-высоко, теряясь в тенях потолка, — окружало и наши мысли о ней. Мы избегали о ней говорить и боялись о ней думать. У нее даже не было точных примет, как у других призраков, населявших корпус. Она была безымянна, туманна, она светилась тихим леденящим светом абсолютного зла. Зарыться, зарыться глубже в подушку, съежиться в комок, не думать, не дышать. Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Да воскреснет Бог!..

Ужас понемногу отпускает душу. Глаза осторожно открываются. Мутный свет ночников, ровное дыхание спящих. Сосед по койке Герман Юрий, первый ученик в классе, смотрит на меня.

— Герман, ты не спишь?

— Нет.

— Тебе тоже показалось?

— Да.

— Тебе очень страшно?

— Мне совсем не страшно.

Он приподнимается на локте и отчетливым шепотом повторяет:

— Совсем, ничуть...

Мутно светят ночники. Ровно дышат спящие. По открытому правильному лицу, по синим светлым глазам четырнадцатилетнего мальчика пробегает какая-то нежная и злая тень, когда он мне говорит:

— Мне страшно, но я подавляю страх. Едва мне становится страшно, я делаю над собой усилие, и вот страха нет. Уже года три как я практикуюсь. Сначала было трудно, потом все легче и легче. Теперь я думаю, нет ничего на свете, что могло бы меня по-настоящему испугать. Знаешь, что я делал сейчас? Я проснулся, лежал, думал, вдруг вспомнил про эту голову. И стал говорить нарочно: «Ну, голова, если ты существуешь, покажись. Плыви сюда, прямо ко мне, — эй ты, голова, такая-сякая, светящаяся». И мне сейчас показалось, что действительно она плывет оттуда, из-за печки. Зеленая, мертвая. Да ты не трусь, ее больше нет: она меня испугалась.

Герман Юрий... Открытое лицо, синие светлые глаза, нежная и злая тень на лице с таким прозрачным ребяческим румянцем. Его в корпусе не особенно любили: был в нем какой-то, одинаковый для всех, холодок, которого «не переступить», и все это чувствовали. Он был всегда «сам по себе», и в толпе мальчишек младших классов, и среди юношей, собравшихся

на последний товарищеский ужин перед тем, как навсегда расстаться и с корпусом, и друг с другом. Герман Юрий (был еще другой Герман — брат его, кажется, Леонид) как шел всегда первым, так и кончил. Это он единственный из всего выпуска носил золотые погоны фельдфебеля и рапортовал государю. Из училища он вышел не помню в какой гвардейский полк. Во время войны, в самом ее начале, имя Германа Юрия промелькнуло в газетах в списке представленных к Георгию. В дни Керенского, летом, я мельком видел его на улице. Рука у него была на черной перевязи, лицо бледное и хмурое. Он скакал впереди какой-то казачьей части, отбывавшей на фронт.

* * *

О петербургском Доме литераторов 1919—1922 годов когда-нибудь будут написаны исследования, а может быть, и поэмы. Несколько писателей и журналистов в те дни в разоренном барском особняке на углу Бассейной и Эртелева сотворили настоящее чудо. На проклятой Богом территории «Северной коммуны», где людям, не желавшим или не умевшим шагать «в ногу с пролетариатом», оставалось только ложиться и умирать, — был создан и отгорожен клочок, где они могли не только как-то кормиться, не только греться в относительном тепле, но — и это было самое важное — дышать. За тяжелой дверью Дома литераторов советское владычество как бы обрывалось. Замерзший и голодный «гражданин» вместе с порцией воблы и пшенной каши как бы получал и порцию душевной свободы, которая там, за стенами Дома литераторов, была конфискована и объявлена вне закона. На те часы, что он проводил в «Доме» — а многие приходили сюда с утра и сидели до закрытия, — он из советского анонима превращался в то, чем он был до «великого Октября». В писателя, министра, адвоката, офицера, художника, купца, князя. Временно на тот срок, что он находился под этой крышей, несчастному петербургскому обывателю возвращалось человеческое достоинство и свобода. И как ни важен был, особенно в те дни, насущный хлеб, — это было важнее хлеба.

В Доме литераторов люди без опаски знакомились и сразу же заговаривали на интересовавшие их темы. Темы были все самые злободневные. Один радостно передавал последние новости об успехах Врангеля, другой искал случая бежать за границу. Говорили свободно, откровенно, зная, что стены До-

ма литераторов, в отличие от большинства советских стен, ушей не имеют.

Однажды в такой компании за морковным чаем шел разговор о бегстве. Взвешивали достоинства и недостатки разных границ и способов их перейти. Там переход был сравнительно легок, но зато возвращали обратно; здесь не возвращали, зато граница свирепо охранялась. Главное же зло, по общему говору, было в том, что занимались этими перевозками темные лица, которые с той же легкостью могли и перевезти, и придушить в дороге, и предать Чека. Жизнь приходилось доверять Бог знает кому.

— Да, предатели, кругом предатели, — вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зеленой вязаной кофте — в недавнем прошлом кавалерственная дама.

— Ну, зачем же все, — возразил ей знаменитый адвокат. — Не все. Вот хотите бежать за границу, — бегите с Голубем. Голубь не предаст.

— Какой такой Голубь? — заинтересовался сидевший рядом Гумилев.

— А это, Николай Степанович, по вашей части, — отнесся к нему адвокат.

— Вы писали стихи о конквистадорах. Вот вам и есть настоящий конквистадор. Молодой, еще молодой человек, гвардейский офицер. Теперь агент не то британской, не то французской разведки. Ходит, представьте себе, через Сестру-реку аки посуху, чуть ли не каждый день. Сегодня в Петербурге, послезавтра в Гельсингфорсе, через неделю опять в Петербурге. Переводит людей, носит почту, снимает военные планы. И все это с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью. Я тут недавно в одном доме с ним встретился и интереснейший разговор имел. «Меня, говорит, каждый агент Чека знает по имени, а в лицо никто. Вот и не могут поймать. Главный же секрет, говорит, в том, чтобы не бояться. И чего мне бояться: вооружен я прекрасно, живым в руки не дамся. Ну, выследят, предположим, уложу я десяток товарищей, это уж обязательно, это при мне. А убьют ли они меня — еще вопрос. Они боятся, а я не боюсь — это большой шанс на моей стороне. А убьют — что ж. Цезаря убили, Лермонтова убили, Столыпина убили, половину моих полковых товарищей уложили на войне. Почему, скажите, пожалуйста, хуже быть убитым, чем умереть от язвы желудка?» И говорит это так просто, точно «выпьем чаю». Замечательное лицо, кстати, у этого Голубя удивительные синие глаза. И выражение

какое-то особенное. Привлекательная очень внешность. Но для контрабандиста не особенно удобная. Вот я видел его раз и никогда не забуду. Как он это устраивается, что агенты Чека не узнают его в лицо, — удивляюсь.

— Интересно было бы встретиться, — сказал Гумилев. — Люблю таких людей. Да и дело может найтись.

— За границу хотите?

Гумилев постучал папиросой о крышку портсигара.

— Там уж посмотрим. Вообще интересно. Устройте мне знакомство, а?

Адвокат наморщил лоб.

— Устроить можно, если он, конечно, захочет. Я его снова увижу. Но ведь это, не забывайте, опасное знакомство, Николай Степанович. Сегодня его не выследили — завтра могут выследить. Сам он признается: «Голова моя оценена, и оценена дорого». Так что... Если желаете, впрочем, познакомлю.

— Буду вам очень признателен. А что касается опасности, — Гумилев церемонно улыбнулся, — у меня, как у этого вашего Голубя, «есть шанс»: я не боюсь.

* * *

— Знаешь, Жорж, — сказал Гумилев, — я вчера говорил о тебе с твоим товарищем по корпусу.

— Как фамилия?

Гумилев засмеялся:

— Фамилию сказать не могу. Сам не знаю ее. А вот поклон могу передать. Он тебе кланяется и предлагает вспомнить инспектора, которого звали Телятиной, и учителя алгебры по прозвищу Флюс. И еще какую-то книгу, которую нашли у тебя в шкафчике в пятом классе, и был скандал.

— Верно. «Санина» у меня нашли. Кто же этот товарищ? Опиши по крайней мере его наружность. Где ты его встретил?

— Описать наружность не могу: не имею права. А встретил я его у себя дома. Он зашел ко мне прямо из Финляндии, у меня и ночевал. Это — помнишь разговор в Доме литераторов? — тот самый Голубь.

Любопытство мое разожглось, и я пристал к Гумилеву с расспросами, но ничего не добился. Сначала он отшучивался, а потом сказал серьезно:

— Это, друг мой, все вещи, которые стоят выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело идет о жизни и

смерти многих. Может быть, даже о всей России. Когда-нибудь сам увидишь, что я не мистифицировал тебя. А пока могу только сказать, что этот твой товарищ один из самых смелых и замечательных русских людей и знакомство с ним для меня большая радость.

* * *

Под грохот кронштадтских пушек я прогуливался по Каменноостровскому. Да, прогуливался. Погода была прекрасная, почему бы мне было и не прогуляться? Конечно, в Кронштадте шло восстание, конечно, по улицам шатались дозоры чекистов, конечно, в домах по ночам проводились повальные обыски, и после шести вечера нельзя было без пропуска никуда выходить. Но все это было бы очень мучительно и жутко, если слышать рассказы об этом или читать в книге. Была сама реальная действительность, в которой мы все были принуждены жить и уже несколько лет подряд жили, и воспринималась она поэтому вполне обыденно.

Чекисты проверяют документы. Что ж — документы мои как будто в порядке. После шести надо сидеть дома — на это есть интересная книга. Обыски? У нас уже было два, третьего, авось, не будет. В Кронштадте гремят пушки — это действовало приятно, возбуждающе. Особых надежд после Деникина под Тулой, после разъездов Юденича у Нарвской заставы, правда, не было. Но все-таки...

Итак, я прогуливался с тем же совершенно чувством, с каким прогуливались или сидели дома множество других петербургских обывателей, жизни которых не грозила непосредственная опасность и у которых дома было несколько поленьев дров, фунт хлеба и восьмушка махорки, чтобы чувствовать себя материально обеспеченным. Я прогуливался. Навстречу мне шел человек в красноармейской шинели. Я взглянул ему в лицо. «Герман!» — вскрикнул я.

И вот тут на мгновенье я испытал жуткое чувство, которого не вызывали во мне ни дозоры чекистов, ни обыски, ни выстрелы. Я вскрикнул — «Герман», и он, чуть отшатнувшись, остановился и оглядел меня с головы до ног своими синими ледяными глазами. Это был ужасный взгляд. В нем была немедленная и неотвратимая смерть. Шесть пуль из нагана в упор моментально, сейчас же, прежде чем я успею что-то по-

думать, сказать, протянуть руку, были в этом взгляде. Потом он усмехнулся. «А, это ты? Вот встреча! Как поживаешь? Счастлив твой Бог, что я тебя узнал...» «Герман», — начал я. «Тсс, тсс, — перебил он. — Нет никакого Германа. Вот что, на улице говорить неудобно. Приходи ко мне. Нет, не записывай адреса, запомни так. Пыталова улица... дом... квартира... спроси Голубя. Приходи завтра в три дня. Выпьем коньяку. У меня есть заграничный. Вспомним корпус». — Он пожал мне руку и пошел не оборачиваясь твердой, легкой походкой.

* * *

Какой-то грязный дом, проходной двор. Обмызганная лестница. Третий этаж. Я звоню. «Кто там?» — «К Голубю». Дверь открывает сам Герман: «Ну, входи, очень рад. Хорошо, что пришел. Я потом подумал, не побоишься ли ты. И напрасно было бы. Здесь мы в совершенной безопасности».

Он вводит меня в большую комнату. Стены, пол, потолок, все в коврах. Ковром завешено единственное окно. Мебели почти нет — пара кресел, широкая тахта. На низком столике бутылки, икра, печенье, давно невиданные диковинные вещи. Герман делает широкий жест: «Садись, пей, ешь, не стесняйся, у меня много».

Мы сидим, пьем коньяк и черный кофе, курим толстые душистые папиросы и вспоминаем корпус. — Помнишь то? — А это помнишь? — Ты неправильно подвязал шнурок, и шпаргалка уехала под лампу. А немец? А математик? Вот, брат, когда пришлось встретиться. Государь убит, России нет. Веришь ли ты, что будет когда-нибудь другое время? — Я не верю.

— Да, не верю, — говорит он, и знакомое мне, нежно-злое, особенное выражение пробегает по его красивому лицу. — Друг твой, Гумилев, писатель, — верит. Мы с ним часто встречались — так, по делу одному — и много говорили. Он умный человек, но рассуждает, как ребенок. Ну, романтик, — все равно. Правда, честь, Бог, прогресс, разум... это как, когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку — палаши наголо, в белых перчатках. Потом поумнели, зарылись в окопы, перчатки сняли, стали кормить вшей, терпеть... Но и терпение не помогло. Что-то в мире сломалось, и исправить нельзя. Веры нет... Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по десять раз в день головой, за нее, вероятно, и погибну. Что

же, думаешь ты, — я в контрреволюцию верю? Не больше, чем они — в революцию. И все-таки они победят. А мы...

— Что же ты не пьешь коньяку? — перебивает он сам себя. — Икру ешь. Дай я тебе намажу. Папирос бери с собой, больше бери, — по пайку таких не получишь. Жаль, что уже надо расставаться. Выйдем вместе, — только из ворот в разные стороны. Здесь тебе ничего не грозит, но по улице со мной ходить опасно. Половина шестого? Хочешь, я пропуск тебе дам на всякий случай. Отличный пропуск — комар носа не подточит. Успеешь и так? Ну ладно. Откуда у меня пропуска? Вот чудак. — Он невесело усмехается. — Как же при моем роде занятий без таких вещей. Да я сейчас в Чека войду, прикурю у одного следователя, справлюсь о чем-нибудь у другого и, выйдя через главные ворота, протяну часовому самую форменную бумажку — преспокойно он меня выпустит, а бумажку наколет на штык. Техника у нас ничего себе, на высоте. На технике и выезжаем. И еще на бесстрашии. Помнишь, я воспитывал в себе в корпусе смелость — палец совал в кипяток, привидений искал, — разные там глупости. Ничего, пригодилось. Нервы у меня, не хвастаясь скажу, железные. Нервы железные, души нет. В общем, вроде машины. А Гумилев твой говорит: героизм, Россия, Бог... Так-то. Ну, рад, очень рад. Еще как-нибудь встретимся — подольше посидим. Я тебе дам знать. Прощай. Иди из ворот направо, я пойду налево. Папирос взял?

* * *

Его убили через несколько месяцев после нашей встречи при переходе границы зимой. Он отчаянно отстреливался и уложил одиннадцать человек. Это я узнал еще в Петербурге. А вот что я услышал уже теперь в эмиграции.

В кафе на Монпарнасе неожиданно я встретился с братом Германа. Он был моложе нас обоих на класс или два, и в корпусе я с ним мало сталкивался. Все-таки мы сразу узнали друг друга. Странно было видеть в сутолоке пестроплеменного «Куполя», среди художников, девиц и американцев те же и не те черты, те же и не те светлые глаза. Внешнее сходство между братьями было довольно близкое, но еще резче, чем в детстве, чувствовалась разница — «калибров», воль, не знаю чего. У «моего» Германа было лицо «поразительное» — этот был «человек как человек».

— ...Да, я видел брата. Последний раз два года тому назад в Петербурге. Перед самым моим бегством.

— Позволь, что ты говоришь? Ведь лет восемь, как Юрий убит.

— Да. И тем не менее я его видел, видел...

«Сумасшедший», — смутно подумал я. Но он грустно улыбнулся.

— Нет, я не сумасшедший. Ты послушай... Арестовали меня в Ростове-на-Дону. Служили в Белой армии? Ничего подобного. Чем занимаетесь? Агроном. Что делали во время мировой бойни? Был белобилетником, служил там-то и там-то. У меня все это было заранее предусмотрено и подготовлено, так что до меня, артиллерийского офицера, и докопаться было нельзя. Агроном и агроном, — и действительно, агрономией все время после отступления из Крыма кормился. Надо было, в сущности, переменить фамилию, и возможность была, — но гадко как-то показалось, остался Германом. Это меня чуть и не погубило. Везут из Ростова в Петербург. Еду. О брате, что с ним, где он, толком ничего не знаю — однако слышал, что ведет он большую игру и здорово большевикам насолил. Таким образом, помню, — в родстве ни в коем случае не признаваться. Хорошо, сижу я недели три без допроса. Вдруг — ночью — на допрос. И первое слово: «Германа Юрия знаете?» — Пожимаю плечами. — «Не слышал о таком, а что?» — «Не слышали? Идите за мной».

Идем. Следователь впереди, я за ним, сзади конвойный. Идем по каким-то коридорам, закоулкам. Вдруг входим в темную комнату. «Сюда, — говорит следователь. — Стойте тут. Смотрите, кто это?»

Он щелкнул выключателем, и в полной темноте зажегся рефлектор. Сильный рефлектор, свечей в триста. Прямо на шкафчик он направлен. А в шкафчике банка. А в банке в спирту человеческая голова, зеленая, страшная. Знаешь, что меня спасло? То, что я не узнал Юрия, не понял, что это его голова. Потом уже в камере сообразил. Натурально так следователю ответил: «Кто? А покойник какой-то. Научный, должно быть, препарат. Как вам не стыдно, говорю, людям такие страхи показывать, да еще неожиданно». Так или иначе мне повезло. Продержали меня с месяц и выпустили. Тут же я и перебежал в Финляндию, на ура, без карты перебежал. Шоферствую теперь здесь — ничего, зарабатываю. Только вспомнишь иногда — шкафчик, банка, рефлектор... Брр... Ну, что там! Выпьем еще по кальвадосу?

* * *

Корпус. Ночь. Мутный свет ночников. Медленно, то на уровне кроватей, то теряясь в тенях потолка, плывет в воздухе страшная, туманная, светящаяся голова, призрак мрачного прошлого — пыток, дыбы, тайной канцелярии. Красивый мальчик с открытым лицом смотрит прямо в глаза отвратительному призраку: «Я тебя не боюсь!» И призрак поддается человеческой гордой воле, призрак исчезает.

Прошли годы. Ночь. Чека, рефлектор, банка со спиртом, бледные неузнаваемые черты. Страшный призрак вернулся, он победил. Он плывет уже не над детским дортуаром — он плывет над бесконечной Россией.

МАГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

(Из петербургских воспоминаний)

Его звали Вольдемар Казимирович. Почему Вольдемар, а не Владимир? Впрочем, в этом человеке все было как-то неизвестно «почему».

В Германии он считался авторитетом по ассириологии. Огромные увражи с изученными Шилейкой клинописями выходили в Лейпциге, и немецкие профессора писали о них восторженные статьи.

Но в Петербурге в египтологическом кабинете университета знали студента Шилейко. Вечного студента, который не сдает зачетов, унес на дом и прожег пеплом от трубки музейный папирус, которого из студенческого общежития хотят выселить. Каждую ночь он, вопреки правилам, возвращался на рассвете, нередко пьяный, и, когда ему надоест стучать и звонить (кастелян велел не открывать), начинал бросать камешки или куски обледенелого снега в окна квартиры этого самого кастеляна. Меньше всего, однако, Шилейко похож на веселого бурша. Ему за тридцать, да и для своего возраста он старообразен. Он смугл, как турок, худ, как Дон-Кихот, на его птичьем длинном носу блестят стальные очки. На его сутулых, до горбатости, плечах болтается выгоревшая николаевская шинель с вытертыми в войлок бобрами. Дедовская шинель.

Дед Шилейки, полковник русской службы, в 1863 году перешел к мятежникам, дрался за освобождение Польши, был ранен, взят в плен, судим полевым судом и тут же расстрелян. В прокуренной, никогда не убиравшейся комнате общежития, где обитал, вернее, гнездился Шилейко-внук, был его портрет. Шилейко-дед глядел из золотой рамы в алом ментике и голубом доломане над разрытой кроватью и столом, где пустые бутылки из-под пива были перемешаны с разрозненными листами Атласа древности Британского музея. Шилейко-дед улыбался со своего великолепного полотна, опираясь, как и полагается гусару, на саблю. Он был красавцем. Фамильное

сходство между обоими бросалось в глаза, не меньше чем вопиющая разница материала, на котором это сходство проявилось. Стоя перед портретом деда, внук казался его отражением в кривом зеркале, отражением, переряженным в лохмотья вечного студента и вдобавок обугленным на адском огне. Для полноты впечатления на руках обоих блестел тот же золотой перстень с гербом. Отец Шилейки каким-то чудом его сохранил, хотя и не надевал никогда: кольцо со шляхетским гербом, снятое с руки расстрелянного мятежника, не особо подходило к его должности. Он был сначала писцом, потом столоначальником в новгородском окружном жандармском управлении.

Крайности и странности биографии Шилейки продолжались всю жизнь. В 1914 г. ему была предложена кафедра египтологии где-то в Баварии. В договоре было обусловлено, что Herr Doktor должен прибыть к месту службы к 15 августа. Через год Шилейко получил наследство в десять тысяч рублей. Оставил их ему приятель детства, полусумасшедший, но одаренный изобретатель М., придумавший какую-то особую ручную гранату. Граната была принята артиллерийским ведомством, но дело тянулось, и М. сам отправился на фронт, чтобы продемонстрировать на практике качество своего изобретения. Граната была куплена и принята к производству. Случилось, однако, непредвиденное обстоятельство. В конце опытов не эта, а немецкая, «устаревшего образца», граната смертельно ранила счастливого изобретателя. Лежа на операционном столе с развороченным животом, М. почему-то вспомнил о Шилейке.

Десять тысяч были уже полностью истрачены на книги, на персидский ковер, такой большой, что он покрывал обе стенки, пол и кусок потолка Шилейкиной комнаты (из общежития он переехать не пожелал), на бесконечные попойки и раздачи направо и налево в долг, — когда Шилейко мобилизовали. На войне ему побывать не пришлось. Где-то он случайно познакомился с графом С.Д.Шереметьевым. Через несколько дней после этой встречи похожего на Дон-Кихота вольноопределяющегося из студентов с одним из блистательнейших русских вельмож у Шилейки был белый билет, теплая шуба, кабинет и спальня, обставленные карельской березой в шереметьевском дворце на Фонтанке. В первый раз в жизни он спал на чистом белье, и лакей приносил ему в кровать утренний завтрак. Шилейко потребовал было, чтобы ему давали с утра пиво, но услышал в ответ, что «их сиятельство велят» пить кофе и кушать овсянку.

Случилось чудо: Шилейко привык к овсянке и чистому белью. Щеки его порозовели и движения приобрели округлую уверенность. Оказалось, что он способен работать восемнадцать часов в сутки, и, по отзывам знатоков, работа его была замечательна. Он расшифровал что-то такое, чего самые ученые немцы расшифровать не могли. Работу эту он так и не кончил. Революция вместе с графом Шереметьевым выгнала из дворца на Фонтанке и Шилейку. Поселившись в комнате на третьем дворе у «благородной вдовы», он признался, что перемена обстоятельств пришла очень кстати. Граф Шереметьев с овсянкой и карельской березой смертельно ему надоел. Надоела вдруг и египтология. Он решил попробовать силы на новом поприще: начал десятками писать стихи. Стихи были недурные, о луне и о розах. Для вдохновения Шилейко включил в утренний завтрак кроме пива еще и водку. Нос его начал быстро заостряться, щеки проваливаться и зловеще темнеть. Он был счастлив. Революция ему необыкновенно нравилась, хотя из духа противоречия он разыгрывал перед робкими еще большевиками монархиста, крепостника и контрреволюционного заговорщика. Туберкулез его все увеличивался. Он кашлял кровью и строил планы на будущее. Планы были разные. Он хотел восстановить культ богини Иштар и издать стихи Пушкина в его, Шилейки, исправлении, а также непрочь был, если позволит здоровье, поступить в мореходные классы.

Теперь Шилейко умер в Советской России. Как, отчего, я не знаю. В письме, полученном с полгода тому назад одной из парижских подруг Анны Ахматовой, есть фраза: «Вольдемар Казимирович похоронен в Вологде». Почему в Вологде? Как он туда со своим туберкулезом попал? В качестве политического ссыльного или — все может быть — облеченного доверием власти научного работника? Или просто так, неизвестно зачем, собрался в Вологду, приехал, попил пива, поголодал, осмотрел какой-нибудь собор и тут схватил тиф или был задавлен автомобилем.

То, что известие о смерти этого странного человека дошло до нас через Анну Ахматову, — не случайно. Среди поворотов и зигзагов его пестрой судьбы был и такой. 1918 год, теплый вечер, Владимирский собор, священник, шафера, певчие. У аналоя Шилейко и Анна Ахматова, недавно разведенная с Гумилевым. «Венчается раб Божий Владимир с рабой Божией Анной». В первую русскую поэтессу и одну из самых прелестных женщин Петербурга Шилейко был давно романтически и безнадежно влюблен. Еще бы не безнадежно! И вот: собор,

певчие, венчается раб Божий. Впрочем, то ли еще происходило тогда в безымяном и фантастическом отрезке времени и пространства, который по привычке еще назывался Россией, Петербургом, 1918 годом... Брак был неудачный. Вскоре они разошлись. Ахматова потом в стихах вспоминала об этом браке:

Мне муж — палач и дом его — тюрьма...

Я был с Шилейко на «ты». Это совсем не означало ни тесной дружбы, ни какой-нибудь особенной близости. Это просто значило, что мы часто встречались то здесь, то там, в кругах петербургской богемы и часто чокались в «Бродячей собаке» стаканами дешевого белого вина. То, что Шилейко пришел именно ко мне в тот вечер, о котором я хочу рассказать, и что именно мне пришлось заглянуть при этом в какой-то потаенный угол его жизни, конечно, не более как случайность.

* * *

Это было зимой во время войны, должно быть в 1915 году. Шилейко еще не получил десятитысячного наследства от изобретателя ручной гранаты. В комнате его не было баснословного персидского ковра. Он очень нуждался, и, когда он неожиданно явился ко мне часов в одиннадцать вечера и начал с того, что пришел просить меня об услуге, я подумал, что он по-товарищески хочет перехватить у меня пять или десять рублей. Точно отвечая на мои мысли, он вынул из кармана скомканную двадцатипятирублевку.

— Вот, — сказал он, — деньги есть. Хватит на все. Возьмем мотор. Это далеко, на Охте.

Он путано и неясно объяснил, что от меня требуется.

— Видишь ли... Впрочем, это все равно. Он ждет меня и если не поехать, то все расстроится. Конечно, я не верю, что он маг: магия — высокая светлая сила. Если овладеть магией, можно все иметь: славу, деньги, любовь, власть. Но откуда ему быть магом? Он простой мужик, кажется раскольник. Однако какая-то необыкновенная власть у него есть, и может быть, может быть... Только мне не хочется ехать одному. Поедем со мной, пожалуйста. Возьмем мотор и через четверть часа будем там. Если ничего не выйдет, потеряем вечер. А вдруг выйдет. И деньги есть. Ему надо дать десять рублей. И вот эта штука со мной. В другой раз будет трудно взять.

Он похлопал по своему потрепанному рыжему портфелю.

— Что за штука?

Шилейко засмеялся своей птичьей улыбкой.

— Там увидишь. Я потому и прошу тебя поехать, что ты ничего не знаешь. Я знаю и не доверяю себе. Самовнушения со своей стороны боюсь. А ты — другое дело. Увидишь, значит, правда было. Не увидишь, значит, и не было ничего. А едем мы производить магический опыт к Василию Петровичу Венникову, мужу больших познаний. Даром, что корову через «ять» пишет и по ремеслу столяр. Если и не выйдет ничего, посмотреть на него — и то любопытно. Так одевайся.

На Михайловской улице мы взяли таксомотор. Шилейко молчал. Только когда мы были на Охтинском мосту, он спросил отрывисто:

— Пушкинское заклинанье помнишь?

— Еще бы.

— Ну-ка, прочти.

Я начал:

О, если правда, что в ночи...

— Не так, не так, — перебил он меня. — Не так читаешь. Интонация неверная. Это не обыкновенные стихи, а магические, колдовские. Пушкин сам не знал, что он написал. По существу, он был простой малый, хотя и гений. Все по поверхности скользил. Лишь бы блестело, журчало, лилось, радовало слух. О чем, ему было все равно — гроза так гроза, луна так луна. И вот взял вдруг не умом, а силой гения, договорился до последних вещей, до самой глубины глубин. Вот как это надо читать:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустуют тихие могилы.

Он читал свистящим металлическим шепотом, полузакрыв глаза и откинув назад птичью смуглую голову. Стальные очки его поблескивали. В горле странно клокотали гласные.

просвистел он, как какое-то настойчивое приказание, которому нельзя не повиноваться. Мне стало не по себе.

— Перестань, пожалуйста, — сказал я. — Ты хочешь, чтобы я был беспристрастным свидетелем какого-то опыта, а шипишь и свистишь так, точно сам колдун. Мало, что может померещиться от одного такого чтения.

Он невесело усмехнулся.

— Ну, от моего чтения ничего не померещится. Это все глупости. И чтение, да и само заклинание пушкинское. Хорошие стихи, гениальные стихи, но все равно стихи, литература — дело рук человеческих. Мы же едем нечеловеческое поддеть на крючок. Да, на крючок. Как рыбку. А вот и приманка. Хорошая приманка. — И он похлопал снова по своему портфелю.

* * *

Дом был одноэтажный, новый. Новенькая вывеска: «Столярная мастерская В.П.Венникова» — весело засияла в свете автомобильных фонарей. Сам хозяин открыл нам дверь. И в его наружности не было решительно ничего таинственного. Синяя поддевка, бородка клинышком, ярославские, светлые с хитрецой глаза.

— Надумали-таки приехать, — протянул он не то недоумевающе, не то недовольно. — Я полагал, уже не приедете, час поздний. Ну, все равно, пожалуйте.

Он пропустил нас в чистую большую горницу. Пахло щами и свежими стружками. Чиж спал в клетке.

— Чайку с мороза не прикажете, господин Шилейкин? Не желаете? Делом, значит, сразу займемся. Как угодно.

Он вздохнул. Что-то недовольное или недоумевающее опять промелькнуло по его лицу. Как будто не хотелось ему заниматься «делом», за которым приехали мы.

— А то, может, все-таки чайку попьете? Ну, ваша воля. Сейчас принесу снаряд.

Он вернулся с куском белого холста и разостлал его на столе.

— Вещичка-то с вами? — обратился он к Шилейке. — Позвольте сюда. Вот так, — положил он небольшой сверток, вынутый Шилейкой из портфеля, под холст и, сильно прикрутив лампу, отставил ее в дальний угол.

— Садитесь, господа, прошу покорно. Как крещены? — обратился он ко мне. — Как имя то есть? Георгий — значит, Егор. Ну-с, начнем, благословясь.

Мы уселись. Хозяин посредине. Справа — я, слева — Шилейко. Накрытый холстом стол с возвышающимся бугорком подложенного под холст неизвестного мне предмета смутно белел перед нами. Минуту длилось сосредоточенное, неприятное молчание. Потом тихим, монотонным голосом, немного нараспев, столяр начал бормотать:

Стоит мать сыра земля,
Бегут по земле три кобеля,
Растут на земле три гриба,
Идут по земле три божьих раба,
Владимир, Егор и Василий.
У каждого кобеля свои дела.
У каждого гриба своя нога.
У каждого человека своя судьба,
У Владимира, у Егора, у Василия.

Он начал медленно, раздельно, отчетливо окая по-великорусски. Потом понемногу стал шептать быстрей и быстрей. Монотонный распев перешел незаметно в свист, мягкое оканье сменилось каким-то металлическим шелестом. Совсем как Шилейко читал в автомобиле пушкинское «Заклинание». «О, если правда, что в ночи...» — вспомнил я. Если правда, что этот мужик-столяр нашептывает сейчас какую-то таинственную сагу и что-то непонятное, сверхъестественное сейчас произойдет. А он шептал все быстрее, все лихорадочнее. Голос его все меньше напоминал обычный человеческий голос. Я взглянул ему в лицо. Лицо было мутно-белое. Глаза закатились, губы прыгали.

Мне стало холодно, грустно, страшно, отвратительно. Свистящая скороговорка помимо моей воли увлекала меня куда-то, и я не имел силы сопротивляться. Что-то мутно-липкое было в этом постепенном опутывании разума набором ритмических свистящих слов, где, как припев, повторялись наши имена вперемежку с Богородицей, Христом, зелеными лугами, морями-океанами и какими-то замысловатыми присказками. Несмотря на елейный смысл, неуловимый оттенок кощунства был во всем этом. Еще все повторялось о руке: «белой руке», «сахарной руке», «царской руке», о которой тоскуют и от которой чего-то ждут Владимир, Егор и Василий.

Явись, рука, из-под бела платка
Владимиру, Егору и Василию.

Вдруг совершенно отчетливо я увидел на холсте перед собой женскую руку. Это была прелестная, живая, теплая, смуглая рука. Она шевелилась и точно тянулась к чему-то, она вся просвечивала, точно сквозь нее проникало солнце...

Шилейко вскрикнул и отшатнулся. Столяр не бормотал больше. Вид у него был разбитый, изможденный, глаза мертвые, на углах рта пена.

— Что же было в пакете? — спросил я наконец, когда мы выехали с Литейного на ярко освещенный Невский.

— Как что было в пакете? Да, ведь ты не знал. Вот смотри.

Он достал портфель и развернул газетную бумагу. В бумаге был ящик вроде сигарного со стеклянной крышкой. Под стеклом желтела сморщенная, крючковатая лапка, бывшая когда-то женской рукой. Такая-то принцесса, назвал Шилейко. Такая-то династия. Такой-то век до Рождества Христова. Из музея. Завтра утром положу на место. Никто не узнает...

Мне было холодно, грустно, страшно, отвратительно.

О СВИТСКОМ ПОЕЗДЕ ТРОЦКОГО, РАССТРЕЛЕ ГУМИЛЕВА И КОРЗИНКЕ С ПРОКЛАМАЦИЯМИ

(Из петербургских воспоминаний)

На экране «Форума» — козлиная бородка Троцкого, повизгивающий голос, штампованные жесты «блестящего» оратора с разжиманием и сжиманием кулаков, «страстным» скрючиваньем костлявых пальцев, хлесткими фразами о «медведе, вставшем на дыбы», — русском пролетариате. В заключение довольно сдержанные аплодисменты аудитории «счастливцев», которым удалось видеть и лицезреть в тихом Копенгагене олицетворение вставшего на дыбы пролетариата в образе пожилого козловатого господина с острыми глазками, беспокойно бегающими под стеклами пенсне.

Жидкие аплодисменты смолкают. «Великий Лев» под надежной охраной шпиков едет обратно в гостиницу средней руки. Потом купе второго класса, каюта с опущенными шторами, шпики, шпики и опять шпики, четыре револьвера, высмеянные репортерами всего мира, шляпа, надвинутая на нос, морская болезнь, вечный страх покушений и снова на райских берегах Принкипо ожидание погоды, которая вряд ли наступит...

Так проходит слава земная.

Мне пришлось однажды попасть на мгновение в поле этой славы, когда она «сияла».

Зимой 1919 года я встретил на Невском доктора К. Знаменитый невропатолог, лейб-медик Николая II, первым определивший у Протопопова прогрессивный паралич и сказавший об этом государю. (К. перестали приглашать в Царское Село.) Служил К. железнодорожным врачом на Николаевской ж.д. и был очень доволен своим местом. Жалованье было неважное, и мазать йодом ушибленные коленки стрелочников (а также лечить их от сыпного тифа) было не очень интересно — зато заветная «провизионка», позволявшая провозить продукты через заградительные отряды, всегда была к его услугам. Член

многих академий и ученых обществ, лейб-медик и действительный статский советник — с мешком за спиной и нагольном тулупе — путешествовал время от времени в хлебные места и благодаря этим поездкам не только жил, но и мог продолжать научную работу. Как-то он мне сказал, что счастлив: его книга, результат десятилетнего труда, кончена. «Я умру — книга останется — я теперь ничего не боюсь». Он ошибался. Месяца через два после этого разговора он был арестован. Пока К. сидел в тюрьме, вещи его растаскали соседи, а рукописи сожгли на растопку. Десять лет труда замечательного русского человека улетели в трубу чьей-то «буржуйки» с такой же легкостью, как улетела в трубу вся русская жизнь; из тюрьмы К. выпустили в апреле, в июне он умер.

Но тогда, в 1919 г., К. еще был здоров и весел. На щеках его горел яркий, свежий румянец. У этого утонченного человека, знатока и врача самых потаенных, самых редких душевных извращений, — была наружность мужика-ярославца, смекалистого и плутоватого.

— Торопитесь? — остановил он меня на углу Пушкинской. — Хотите, пойдем со мной на вокзал. Мне надо по делам на минуту, а заодно развлечемся. Товарищ Троцкий, Наполеон, верховный главнокомандующий, прибывает в три часа. Поглядим на сию особу.

Рябой комендант, увешанный оружием, пожал заодно с К. руку и мне своей широкой лапой как доброму знакомому.

— Поглядеть желаете? — Это можно. Свои люди — это ничего. Вот тут в уголке станьте — все видно будет. А я к вам, товарищ доктор, с просьбой. Больной у меня. Завтра можете заехать? Ну и чудесно — выпьем чаю, закусим — жена рада будет. Под вечер? Заметано. Кто болен, говорите? Да Сенька, кот мой. Прищемил косточку, и все пухнет плечо. Опасаемся мы, чтобы не подох, — такой он чудесный котик. Ветеринар? Был ветеринар и примочку дал — только уж и вы навестите. Ум хорошо, а два лучше.

Лейб-медик Николая II записал адрес больного кота Сеньки. Мы стали в указанном нам углу перрона. Комендант, козырнув на ходу, подбежал к своим. У входа в «царские комнаты» строился уже караул, оправлялось «начальство»: стрелка часов приближалась к трем.

Вот и дымок. Подходит поезд. Но это еще не поезд Троцкого. Это броневой. Холодком отливает сталь, мрачно чернеют отверстия для пулеметов, какие-то хмурые физиономии в шлемах-«спринцовках» высовываются то там, то здесь. Поезд

уводят на запасный путь. Новый дымок, новый состав подкатывает к перрону. Свитский поезд — в нем едут офицеры штаба Троцкого. Несколько спальных вагонов, вагон-ресторан. Развалистой барской походкой выходят штабные офицеры, ловкие, молодцеватые, денщики тащат за ними багаж. В окно ресторана виден край накрытого стола: белая скатерть, вино, серебро, хрусталь... Бывшим офицерам российского генерального штаба, «продавшим шпагу свою», живется, по-видимому, недурно. Но Бог с ними. Отводят и свитский поезд. Опять дымок и грохот паровоза: это Троцкий!

Смирна! На караул! Начальство каменеет. Как его много набралось! Три бледно-голубых литерных вагона и четвертый серый, багажный, проплывают мимо и останавливаются. «Громовые» звуки Интернационала встречают «вождя». Но «вождь» не выходит. Начальство и караул застыли, не шелохнутся. Минута, три, пять! — Троцкого не видно. Интернационал гремит. В вагонах опущены шторы, поезд как мертвый. Пять, восемь, десять минут — никого. На каменных лицах начальства сквозь усердие и революционный восторг начинает проступать тоска. Интернационал надрывается. Наконец распахивается дверь среднего вагона. Долговязый, длинноволосый тип, похожий на дьячка, показывается в ней. Он вяло машет рукой на оркестр. Интернационал смолкает. Долговязый тип опять машет рукой.

— Вольно, товарищи, — говорит он кисло, шепеляво и как бы через силу. — Вольно. Товарищ Троцкий здесь не выйдет. — И он так же вяло скрывается.

— Как же так не выйдет? Что же он, ночевать здесь будет?

Рябой комендант разъясняет нам, в чем дело.

— Видели, товарищи, багажный вагон. То-то и оно. Так уж специально устроено. В багажном вагоне всегда автомобиль стоит под парами. Стенка сзади откидывается, на рельсы кладется настил и фьють... Ждут товарища Троцкого, а товарища Троцкого след простыл. Очень специальное устройство, даже у царя не было.

Он провожает нас по грязному холодному вокзалу и на ходу рассказывает анекдот.

У Троцкого новый денщик. Троцкий, ложась спать, велит: «Разбуди меня утром». Настает время будить, но денщик не знает, как к спящему обратиться: «Вставайте, товарищ», пожалуй, не годится. «Ваше высокопревосходительство, извольте вставать» — тоже нельзя. Денщик подумал и кричит: «Вставай, проклятьем заклейменный».

Комендант расплывается всей своей рябой физиономией — так ему нравится анекдот. Он по-приятельски жмет нам руки.

— Так не забудьте, товарищ медик, моего котика. Прямо чудесный котик, увидите сами. Чайку попьем. Вставай, проклятьем заклейменный, хи-хи-хи! Наше вам пролетарское.

В списке расстрелянных по таганцевскому делу под именем Гумилева сказано:

«Поэт, член коллегии Всемирной литературы, участвовал в боевой организации, сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти».

Прокламации? Во множественном числе? Не знаю. Но одну прокламацию я помню.

Зимой к Гумилеву пришел какой-то молодой офицер с чьей-то рекомендацией и предложил принять участие в заговоре. Кажется, рекомендация была серьезная. Кажется, этот молодой офицер лично провокатором не был. Был жертвой провокации. Гумилев предложение принял. Еще бы не принять. Всю жизнь он только и занимался тем, что изобретал опасности. То ездил в Африку охотиться на львов, то шел на войну добровольцем, зарабатывать «полный бант», то из благополучной Англии, где его застал большевистский переворот, ехал, хотя и имел полную возможность остаться, в советский Петербург, чтобы посмотреть собственными глазами, какие такие большевики. Еще бы он не принял предложения вступить в заговор.

Он уговаривал и меня вступить в свою «команду»: «Ты ничем не рискуешь, твое имя будет известно одному мне».

Я действительно ничем не рисковал. Я в команду не вступил, но о некоторых ее участниках догадывался. Все они, естественно, были очень напуганы после ареста Гумилева. Но испуг их был напрасным. Никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному.

Кстати, когда арестовали Таганцева и пошли слухи, что раскрыт большой заговор, я Гумилева спросил: не та ли это организация, к которой он имел касательство. Он улыбнулся.

— Почем же я знаю? Я только винтик в большом механизме. Мое дело держать мое колесико. Больше мне ничего не известно.

— Но если вдруг это твое начальство арестовано, ведь могут схватить и тебя.

— Невозможно, — покачал он головой. — Мое имя знают только два человека, которым я верю, как самому себе.

Через месяц Гумилев был расстрелян.

И вот о прокламации. Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык, «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил:

— Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть.

— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.

Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то. «Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда — не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть?»

Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся: «Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит».

«Терпения», по-видимому, хватило. «Сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти...»

Нашли, значит. Или, может быть, один из тех двух, о которых Гумилев говорил: «...верю, как самому себе». И где теперь этот проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках, споря с Гумилевым о том, доступно или недоступно «рабочим массам» его содержание.

* * *

Я прожил пять лет в большевистском Петербурге мирным советским обывателем. В заговорах не участвовал, прокламаций не сочинял, но вот и со мной был однажды похожий на этот случай. И неизвестно, что бы со мной стало, если бы...

В 1918 году в домовых комитетах все жильцы между собой перезнакомились. Домовые комитеты были тогда еще буржуазными. Это после они стали комитетами бедноты.

И вот в доме, где я жил, председателем был некий Д. — студент, правый эсер, человек очень обходительный, приятный. Сидя вместе на ночных дежурствах, мы подружились немного. И вот, когда он собрался уезжать на Дон и попросил разрешения поставить на моей квартире «корзиночку с книгами», естественно, я согласился.

«Корзиночка» оказалась двумя большими корзинами, тяжелыми, перевязанными веревками. Места у меня в квартире было уж не так много, но что же было делать. Тем более что Д. уже уехал, спорить было не с кем.

Корзины втиснули куда-то, и я о них забыл. Вспомнил я о них в день убийства Урицкого.

Урицкого убил Канегиссер, мой близкий друг. В сообщениях об убийстве назван он был правым эсером. Весьма возможно, что и ко мне, как к другу Канегиссера, придут с обыском. У меня ничего «такого» нет. Но на кухне у меня найдут две корзины с книгами, принадлежащими другому эсеру — Д. Какие это книги, я не знаю. И нет ли там, кроме книг, каких-нибудь писем, документов? Корзины были заперты. Мы долго рассуждали — вскрывать их или не вскрывать. Решили все-таки вскрыть. Было уже довольно поздно.

В одной корзине действительно были книги, но в другой...

Она была вся набита одной и той же листовкой, сотнями экземпляров ее. Вероятно, это было целое нелегальное издание, которое вовремя не было распространено: «Товарищи, все против захватчиков власти! Грудью за Учредительное собрание!»

Поздно. Час или два ночи. Если придут с обыском, то придут скоро. В квартире центральное отопление. Плита модернизированная, бумаги «не берет». Только в одной комнате камин, поставленный для живописности. Как в нем сожжешь всю эту груду? Сколько часов на это понадобится? И не лучше ли оставить корзины как есть? И если найдут, как есть, рассказать, откуда они, чем быть застигнутым «за работой»...

Мы все-таки стали жечь. Жгли до утра и, конечно, сожгли не больше трети. С обыском ко мне не пришли: в записной книжке Канегиссера не было моего адреса. Он и так его отлично помнил. Те, чьи адреса в ней оказались, были арестованы той же ночью. Кто просидел три месяца, кто пять. А ведь ни у кого из них не нашли решительно ничего, даже пустяка какого-нибудь, не то что корзин с эсеровскими прокламациями.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(Из петербургских воспоминаний)

На белом одутловатом лице Александра Ивановича как-то сами по себе бегали пронзительные, бесцветные глазки — бровей над ними не было. Какой-нибудь красный или оранжевый бант криво поддерживал расползающийся на его шее несвежий воротничок. В январе его можно было встретить в пиджаке, в мае он вдруг надевал шубу. Многие останавливались и глядели ему вслед, когда он грузно переваливался по Невскому, толкая прохожих, не обращая ни на что внимания, бормоча стихи или читая на ходу одну из бесчисленных книг, которыми были всегда набиты его карманы. Книги были самые разные. Гёте и Нат Пинкертон, таблица логарифмов, Кант или самоучитель игры в винт. Александр Иванович в трезвом виде был хмур, застенчив и молчалив. Но он довольно редко был трезв.

Александр Иванович знал множество языков, изучал каббалу, пытался с помощью высшей математики измерить бесконечное пространство и писать стихи. Теперь никто не помнит ни этих стихов, ни псевдонима, которым он их подписывал, но в свое время их печатали в лучших журналах и критика лестно о них отзывалась. Кстати, московское книгоиздательство «Гриф» издало книгу его стихов одновременно с книгой другого начинающего поэта... Блока.

* * *

Едва познакомившись с кем-нибудь (разумеется, если на столе была водка), Александр Иванович откровенно заявлял:

— Я, собственно, негодяй, сукин сын, прохвост. Вы меня остерегайтесь. Я при случае и зарезать могу.

Он иронически впивался в ошеломленного собеседника острыми, бесцветными глазками и наставительно прибавлял:

— Но ты, брат, не задавайся. Не думай, что я черненький, а ты беленький. Ничего подобного. Все мы — широкий жест —

людишки, как один, скоты и мерзавцы. Только вы бессознательные, а вот я сознаю.

В том же духе были и его стихи:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь.
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд.
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит.

Деньжонки, достаточные для «блудного бражничанья» по мелким петербургским кабачкам, откуда-то у него водились. «Девчонки» тоже льнули: вечно он был окружен женщинами. «Истину, совесть и честь» он презирал, кажется, вполне искренно. Жил он бурно и дико. Постоянно с ним случались «истории». То его ловили на одновременном сотрудничестве в «Речи» и «Земщине» и с позором выгоняли и из либеральной и из черносотенной газет, то в хронике происшествий сообщалось, что «во время пожара на окраине города случайный прохожий бросился в огонь, спас кого-то, сам едва не задохнулся, и приведенный в чувство оказался литератором X». Странный был человек. Однажды мне пришлось иметь с ним любопытный разговор. Не знаю, что его расположило тогда к откровенности.

* * *

Весной 1914 года я зашел в ресторан «Поплавок» у Троицкого моста. Была белая ночь. Народу на «Поплавке» было немного. Я сел за столик, заказал себе что-то и только тут увидел, что как раз против меня, перед батареей пустых пивных бутылок, сидит Александр Иванович. Он сидел неподвижно, понурясь; мне сперва показалось, что он спит. Но сейчас же послышалось его бормотание:

— Вы, мещане, скоты... хлещете пиво. Ну, а дальше что? Я вот пью, но я все вижу. Рыба плывет — вижу. Орла на бутылке вижу и сознаю: Российской империи государственный герб, с нами Бог, распивочно и на вынос. Вы, скоты, хлещете... А я самого Валерия Яковлевича Брюсова вижу. Стоит, голубчик, на том берегу и весь светится.

Он помолчал минутку. Потом прибавил тихо и прочувственно:

— Тсс... тишина. Молчание. Бла-го-го-ве-ние. Валерий Яковлевич Брюсов идет по водам. Но не к вам, а ко мне.

Он снова помолчал. И вдруг сказал совсем другим голосом трезво, сухо:

— Порю чепуху. Брюсов — посредственная литературная величина. А я — пропойца и плут.

Он вскинул свои острые глазки и увидел меня.

— Присаживайтесь, молодой человек, — обратился он ко мне так, как будто только и ждал, что я окажусь тут. — Присаживайтесь, будем знакомы. То есть не то, конечно: знаю, помню, встречал, читал, ценю, наслаждаюсь, наш молодой талантливый и т.д. Только извиняюсь, плюю на все таланты, молодые и старые, подающие надежды и оправдавшие их. А если вас это удивляет, если вы желали бы получить объяснение, — то к вашим услугам, — могу и объяснить. Присаживайтесь. Человек, еще пару пива! Так вот...

* * *

— Вы где родились? В Петербурге? Так. Здесь же и воспитывались? Отлично, превосходно. Позвольте же вам, молодой человек, сказать: какой вы русский? Фамилия у вас русская и паспорт русский, но России вы даже не нюхали. Я вот России этой понюхал вдоволь и скажу вам на ушко, чтобы никто не слышал: «Скверно пахнет Россия».

Было это двадцать лет тому назад, и жил я тогда в Тверской губернии. Я, собственно, сибиряк, но это к делу не относится. И как в Тверскую губернию попал, незачем вам знать. Скажем, приехал я из Сибири по отцовским делам, а дела покойник вел порядочные, этак тысяч на сорок обороту, тысяч на пятнадцать чистых. Может быть, так, а может быть, и не так, тем более, согласен, поверить трудно — декадент, пропойца, шантрапа, по редакциям десятки клянчит, без отдачи тройки занимает и вдруг он же... Верьте, не верьте — я и сам плохо верю. Было мне двадцать шесть лет, здоровье у меня было львиное, и — самое смешное — был я чистейшей воды идеалист, хоть и торговал железом. Да, идеалист. С идеализма все и пошло. Впрочем, сами увидите. Подробности всякие пропускаю и коротко скажу — познакомился я тогда с братом и сестрой. Брат блондин, сестра брюнетка, ему под тридцать, ей

года двадцать два. Брат такой тонкий, легкий, белозубый, на борзую похож. А сестра... Еще короче — влюбился я в сестру без памяти и с первого взгляда.

Смешно сказать, хотя я и был юноша разбитной, ловкий, разговорчивый, но женщин — это я-то — еще не знал. Чувство у меня такое особенное было с детства, не марайся, мол, подожди настоящей встречи. Ну, словом, идеализм. Очень крепко во мне это чувство сидело — не вышибешь. Даже теперь не вышибешь, представьте себе. Вот я пью сегодня с утра, — человек, еще пару! Живо! — но голова у меня ясная, и ясно я понимаю всей пропащей своей головой, что это и была та встреча, о которой я мечтал, которую сулил мне Бог. А что мечталось мне немного иначе, чем вышло в действительности, — так это уж вольно было мечтать.

Был конец января. Погода была чудная, на мой сибирский взгляд, прямо весенняя. Градусов двенадцать морозу, снег, солнце. Дела мои были кончены, и шел я ни более ни менее, как на вокзал — дать папаше телеграмму, что на другой день выезжаю. Ну, конечно, российские порядки — телеграфист отлучился, нужно обождать. А я проголодался с хорошей погоды; чем торчать в почтовом отделении, зайду, думаю, в буфет первого класса — выпью рюмочку и чем-нибудь закушу. И вот, как перед собой вижу, вхожу я в зал и сидит у окна под пальмой эта пара... Он блондин, вроде борзой, а она...

Жалкой какой-то она мне показалась. Очень уж большое было в ней несоответствие ко всему. Провинциальный вокзал, грязь, искусственная пальма, отбивная с гарниром, мордастый буфетчик, и вдруг среди всего этого такая птица. Шляпа вся в розочках, шубка голубая, ридикюль какой-то чудной, муфточка необыкновенная... И говорит быстро-быстро по-французски. Я по-французски тогда не понимал, а жаль. Потом уже не то что по-французски — по-халдейски обучился, но, конечно, без всякого толку. А тогда, если бы понимал, может быть, и был бы толк. Но об этом речь впереди.

Да, показалась она мне жалкой, хотя и красивой неслыханно. Может быть, через то я и погиб, что раньше, чем познакомился с ней, слово сказал, разглядел ее хорошенько, — схватила меня за сердце лютая жалость. Я от природы, заметьте, скорее человек безжалостный, расстроить меня трудно, и в молодости я был еще тверже. В этом смысле у нас в Сибири, особенно по купеческому делу, иначе и нельзя. На чужое горе, на разные там вздохи и слезы я всегда смотрел преравнодушно. Но она и не плакала ничуть. Она лопотала быстро-быстро

по-французски и улыбалась при этом, только тревожно как-то. И еще был у нее в руках синий шелковый платочек, и она им помахивала тоже быстро, быстро...

Я все тут же сразу обмозговал и взвесил. Мигнул буфетчику. — Откуда приезжие? — Бог их знает. — А едут? — В Тверь. — Когда поезд? — В четверть пятого. Целых полчаса оставалось. Квартира моя была в двух шагах, сложить чемоданишко мой было пустое дело. Я мальчишку поставил у кассы стеречь, какой класс будут брать, чтобы и мне туда же. Но еще и кассы не открывали, как я все свои дела справил и опять был на вокзале. Как на крыльях меня носило. Подали поезд. Вагон первого класса, понятно, единственный. И понятно, кроме нас троих, в вагоне никого. И вот третий звонок, и катим мы в Тверь. Они заняли двухместное купе, а я, разумеется, купе рядом. Дверка между нами красного дерева, раздвижная — приложил я к ней ухо — все слышно. Она быстро-быстро что-то лопочет, а он будто бы урезонивает или успокаивает. Эх, жаль, по-французски я тогда не понимал. А впрочем, чего жалеть...

* * *

Завязал я знакомство не без труда — сторонились они меня, — но ничего, все-таки завязал. Сначала нехотя со мной разговаривали, но когда узнали, что я человек приезжий и родом сибиряк, приветливее стали. На Сибири наша дружба и сладилась... Очень их Сибирь заинтересовала, и как живут, и какие порядки, и климат. Про мороз особенно расспрашивали — правда ли, что такие холода и долго держатся. Я уж им расписал Сибирь как мог, даже разукрасил. Вижу, им нравится, чтобы похолоднее, я и поддаю холоду. Земля, говорю, в Сибири глубже трех аршин никогда не оттаивает. Вот мамонта нашли недавно в земле — так со шкурой и пролежал тысячу лет свеженький — мясо есть можно. Понравилось — переглянулись даже и французской фразой обменялись.

— А у нас в январе такая теплынь.

— Да, сударыня, — поддакиваю, — здесь настоящих холодов искать не приходится. Вот сегодня еще чуть-чуть морозит, а завтра, помяните мое слово, — оттепель будет, все так и потечет...

— А в Сибири долго еще мороз будет стоять?

— Да уж до половины апреля с гарантией, так сказать, бывает и до мая.

— Ах, Боже мой, — говорит она, — как приятно было бы пожить там, страшно я люблю зиму.

— За чем же дело стало, сударыня: прокатимся, если желаете. И Сибирь вам покажу, и морозу надышитесь. Если есть охота и время позволяет — почему бы вам не съездить в Сибирь.

Переглянулись они опять.

— Как же так? К кому мы поедем, куда? Никого мы там не знаем.

— А ко мне-с?

— Вы нас к себе приглашаете, что вы? Да ведь мы и не знакомы совсем.

— Что ж такое, если не знакомы, — надо познакомиться, вот и все.

Встаю во весь рост и рекомендуюсь: первой гильдии купца такого-то сын и единственный наследник.

Представился и он.

— Карамышев, Николай Петрович, а это сестра моя Зинаида. Батюшка наш, генерал Карамышев, недавно скончался, может, слышали, вот и еду я сестру развлечь после печального события. Думаем в Петербург, а оттуда за границу...

— Не уйдет от вас, Николай Петрович, заграница, а сестрице вашей при ихней любви к морозцу много развлекательней было бы сперва в Сибирь заглянуть. Пожили бы, сколько понравится, а потом можно и за границу.

Прямо дух у меня захватило от волнения. Усмехнулся он.

— Очень уж, — говорит, — неожиданное предложение. Надо обдумать.

А она побледнела как-то и еще прекрасней стала. Откинулась на красный бархат, треплет между пальцами платочек и молчит. И прямо глядеть больно — так хороша.

— Обдумайте, — говорю, — сделайте милость. А решите, ей-Богу не пожалеете. Пока же оставлю вас, Зинаида Петровна, может, прилечь желают, утомил я их.

— Да, — говорит, — слабенькая она. Быстро устает. Спасибо, спокойной ночи.

И она мне ручку протянула, а ручка как лед.

Лег я в свое купе. Понятно — какой там сон. Колеса стучат, искры летят, бархат уши щекочет... Страсть во мне ходит такая, что и не предполагал я в себе — не сплю и слышу, — рядом тоже не спят — все шепчутся, шепчутся и будто целуются. Ну, какие там поцелуи у брата с сестрой... Наконец, повозились, потрещали пружинами и успокоились. Заснул и я.

* * *

Заснул я тогда в поезде, а проснулся... в Томском уезде, в усадьбе отцовской. Очень хорошо помню я свое пробуждение. Вижу, погреб наш знакомый, сырой холодок, луч солнца в темноте острый-острый, и народ, и понятых, и синий мундир исправника. Был май месяц, когда я проснулся. Февраль, март и апрель пролетели во сне.

Из этого трехмесячного сна я помню, кроме ощущения угара, — клочки и отрывки, почти не имеющие между собой связи. То мы кутим еще в Твери, и Зинаида Петровна макает в шампанское розу, бьет меня розой по лицу, — и в глаза мне летят брызги. То уже в Сибири она грустно смотрит на меня и говорит: «Александр Иванович, разлюбите меня, пока не поздно, от моей любви вам не будет добра». И опять тройка летит, бубенцы звенят, она, как птица, хохлится, он скалит свои собачьи зубы, а я сплю, сплю и не хочу просыпаться. Потом ожидание письма от мамаши-генеральши. Не соглашается генеральша на брак с купцом, требует дочку и сына к себе за границу.

«Не беспокойся, Саша, я все устрою, съезжу на месяц и благословение привезу. Приеду — сейчас и свадьба».

Я шучу: «Приедешь, не узнаешь меня, отпущу к свадьбе большую черную бороду».

Сказал, а она: «Ах!» — и в обморок. Полчаса хлопотали, пока в чувство привели.

За границу — а о паспортах и забыли — уехали из Твери без паспортов, неужели обратно в Тверь возвращаться? Да чего там — в Омске меня каждый знает, и я знаю всех. Четвертную в зубы канцеляристу и через полчаса новенькие заграничные паспорта на имя Зинаиды Петровны и Николая Петровича Карамышевых лежат на столе. Вот с деньгами — труднее. И так не догадывается папахень, что по его доверенности продано за бесценок столько-то товару — и в трубу, получено по стольким-то векселям — и туда же. Ничего, нашлись и деньги: восемнадцать тысяч, все пятисотрублевками. Только об одном и жалел, что до двадцати не дотянул.

Поезд. Свисток. Синий платочек в воздухе. Я все еще сплю, сплю...

* * *

Проснулся я самым обыкновенным образом — в своей постели.

Работник тряс меня за плечи.

— Александр Иванович, исправник приехал, стражники дом оцепили. Про господ, что давеча уехали, допрашивает, вас к себе требует.

Вышел я. «Что такое, — говорю. — Ну, и жили Карамышевы, брат и сестра. Уехали за границу. Потому и жили, что невеста моя. Две недели как уехали. Если адрес угодно — вот и адрес. Чемоданы? Верно, есть чемоданы. В погребе лежат. Они налегке уехали. Только какое же дело полиции до этих чемоданов?»

Дело было, однако. Первый чемодан открыли — там селитра, руки, ноги, внутренности. А во втором — голова. Череп проломлен и черная густая борода. Это мужа, значит, она с любовником убила и возила с собой, не знала, куда пристроить. Ничего, удачно пристроили. Так и не нашли их, кажется. Меня стыдили: глупость такая, приговорили к церковному покаянию.

Пока я в предварительном заключении сидел, папаша мой помер и все имущество, натурально, на монастырь оставил. Ну, запил я от огорчения. Не помогло. На науки стал бросаться — не помогли и науки. Хотел горло перерезать — сподлецовал, страшно. Это меня, представьте, и успокоило. Если так, думаю, отчего бы и не пожить на пробу. И вот двадцать лет живу, — ничего, даже потолстел. Стихи пишу, хулиганствую, деньги без отдачи выпрашиваю. Вот кабаллу принялся изучать, — ничего, занятная кабалла... Не протестуйте! Благородно! Любовь движет солнцем и другими мирами...

— Человек, счет!

АНАТОЛИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ

— Давно искал случая... Позвольте представиться?.. Анатолий Серебряный... Разрешите поднести вам сборник моих стихов.

И, теребя грязноватыми пальцами жидкую бородку:

— С одной стороны, будучи последователем классической традиции, с другой — считаю, что поэзия должна улавливать темп современности...

Это еще до войны в 1912—1913 годах. С вылинявшей бородкой, плохо вымытыми руками, тощий, костлявый поэт Анатолий Серебряный всюду, где можно — на литературных вечерах, в передних редакций, на улице, — останавливает совершенно незнакомых с ним людей, жмет руку, подносит свою книгу, сообщает свои взгляды на поэзию, спрашивает адрес: «Сочту долгом засвидетельствовать почтение». И никогда «не забывает этого долга».

Если вы, растерявшись, дали ему визитную карточку или номер телефона — будьте уверены: непременно явится, и в самое ближайшее время. Придет, развязно, как со старым знакомым, поздоровается, без приглашения развалится в кресле, без приглашения вытащит толстую засаленную тетрадь:

— В настоящее время я пишу стихи с мистическим уклоном, так как пришел к убеждению, что в душе современного человека мистика...

Потом он будет читать стихи. Много стихов, и «с уклоном» и без.

Голос у него неприятный, хриплый, жесткий... Читает он нараспев, размахивая руками и разбрызгивая слюну. Иногда, должно быть в самых мощных, по мнению автора, местах чтение переходит в свистящий визг. Тогда острый кадык поэта судорожно подпрыгивает над огромным измятым бантом в горошину и слюна летит прямо в лицо несчастного слушателя.

Стихи же такие:

На струнах людской души
Дух играет злобы,
Подпевает: согреши,
Насладиться чтобы.

В промежутках между стихами и разговорами о «мистических уклонах» Анатолий Серебряный мимоходом бросает:

— Вчера на рауте у княгини Голицыной...

— Мой отец, богатый помещик... юга России... когда я еще был в школе правоведения...

И все это, разумеется, выдумки. Ни на каком рауте он никогда не был и учился в обыкновеннейшей полтавской гимназии, которую так и не окончил, должно быть, к большому огорчению своего отца — кажется, станового пристава.

Настоящая фамилия поэта Анатолия Серебряного — Пучков. Анатолий Никандрович Пучков.

Анатолий Пучков. Говорит ли вам что-нибудь это имя?

Вы не следите за поэзией? Нет, нет — поэзия тут ни при чем. Я ведь спрашиваю не о Серебряном, а о Пучкове. Пучков, Анатолий Пучков? Еще такая закорючка на подписи — вверх, вниз и опять вверх? Не вспоминаете?

Но если вы петербуржец и жили в 1918 — 1922 годах в северной столице — получали же вы из Дом-ком-бед карточку, прикрепляли ее, стояли с ней в очереди за тощим пайком?

Карточка еще такого мышиного цвета. Наверху лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и «Кто не трудится — тот не ест». По бокам купоны — на невыдаваемый хлеб, на несуществующий сахар, знаменитый тридцать третий купон на гроб. Посередине печать и подпись. А на обороте стихи. Хорошие стихи, добрые:

Когда капитализм
Склонится, издыхая,
Откроет коммунизм
Для граждан двери рая.
Но то не будет рай
Господ, а рай рабочих —
Трудись и получай
За честный труд, что хочешь.

Дальше гражданам рекомендовалось «немного подождать», покуда рай наступит. Ну а те, что ждать не могли, — тоже не могли считать себя неудовлетворенными — к их услугам был тридцать третий купон.

Кто же был автором этих стихов? Кто был составителем этой продовольственной карточки, так заботливо предусматривавшей все нужды счастливых граждан, вплоть до соснового гроба? Анатолий Пучков. Чья подпись закорючкой вверх, вниз и снова вверх стояла в центре ее под печатью Петрокоммуны — Анатолия Пучкова!

«Заведующий распределительной частью Петрокоммуны Анатолий Пучк...»

И — закорючка.

То, что Петрокоммуной распоряжается Пучков, «тот самый Пучков», открыл, неожиданно для самого себя, нынешний редактор «Чисел», поэт Н.Оцуп.

Однажды во «Всемирной литературе» на общем собрании после долгих дебатов, суть которых сводилась к тому, что «все что-то получают, потому что хлопочут, а мы никогда ничего, так больше нельзя», — это «общее собрание», составленное из цвета петербургского «литературного мира» (ибо «Всемирная литература», основанное Горьким издательство всяческих переводов, была единственным местом, где можно было, «не теряя чести», если не печататься, то заниматься литературным трудом, получая за него гонорар): миловидных дактило, секретарши и библиотекарши, пышной рыжеволосой дамы, носившей громкий титул герцогини Лейхтенбергской, — это общее собрание, после дебатов, единогласно постановило основать «хозяйственный комитет», который чего-нибудь бы доставал.

И так же единогласно председателем этого комитета решили выбрать поэта Оцупа. Почему именно Оцупа? На это были веские причины.

Во-первых, у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель, в котором во «Всемирную литературу» носили рукописи переводов, а оттуда сахар и всякую подозрительную гастрономию нашей маркитанки Розы. Той самой Розы, которая важно сидела в прихожей «Всемирной литературы», разложив свои товары и расположившись так, чтобы получающие гонорар должники не могли уйти не заплатив, а свободный от долгов не соблазнившись купить чего-нибудь. <...>

Итак, у Оцупа были полушубок военного образца и портфель. От этих полушубка и портфеля, соединенных вместе, действительно, так и разило «завоеваньями революции». Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жал-

ком бланке, — шанс пролезть через игольные уши приемных, сквозь очереди и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь «зава» и что-нибудь у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, — была, от Бога, «сытая» внешность, какая и полагалась настоящему, способному внушить к себе доверие «предхозкому».

Собрание все это учло.

Бедный поэт вздохнул, положил мандат в портфель, надел свой «комиссарский» полушубок и отправился в Петрокоммуну.

Добившись приема у грозного «заведующего распределительной частью», он с удивлением и блаженством узнал в нем старого знакомого — Анатолия Серебряного.

Далее «было все очень просто, было все очень мило». Пучков прочел «венок сонетов». Оцуп одобрил рифмы. Пучков просиял и, оторвавшись на минуту от приятной беседы, прокричал в телефон распоряжение немедленно приготовить ордера «на все» — шапки, пальто, муку...

Потом этот способ разыскивать в советских учреждениях графоманов и при их помощи устраивать железнодорожный билет или калоши стал общеизвестным, опошлился, так сказать. Но честь его открытия принадлежит Н.Оцупу.

* * *

Кстати — очень характерная вещь: обилие всевозможных неудачников от искусства на высоких постах Советской России.

Каждый, кто имеет отношение к литературе, особенно если он редактировал что-нибудь, секретарствовал, читал рукописи, знает, как огромно количество этих людей. И какой «заряд» самолюбия, честолюбия заложен в каждом из них, какая жажда славы и какая уверенность, что на славу эту кто-кто, а уж он-то имеет право.

Потомки. Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву:
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу...

Это случайно всплывшие в памяти стихи одного из таких графоманов. Не помню ни фамилии автора, ни того, где и при каких обстоятельствах пришлось с ним встретиться. Но стихи

запомнились, запомнилось и лицо. Хитрая, острая мордочка, смесь наглости и робости, хвастливой самоуверенности и готовности хоть чужие сапоги целовать, только бы его приняли, напечатали...

Графоман совсем не то, что обыкновенный пишущий без особого таланта. Тот предан литературе, дышит ею. Не его вина, если у него ничего не выходит.

Для графомана наиболее, по его мнению, достойная цель — добыть «народных гениев удел».

Властвовать, распоряжаться, быть предметом внимания — вот на что направлена вся его часто поистине железная воля. В обыкновенные времена эта воля уходит на писание поэм и хождение с ними по редакциям. Но вот настал Октябрь...

Потомки. Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву...

О, как бы еще хотел! И как уверен, что по праву принадлежит. В обыкновенные времена, однако, «взять» не так-то легко, «близок локоть»... Но вот пришла советская власть...

Один мой «перекинувшийся» приятель, встретив меня на улице в 1918 году, соблазнял меня «шагнуть в ногу с революцией», предлагая на выбор места вроде директора государственных театров или публичной библиотеки. «На первое время, потом вас заметят, оценят...» — Предложение было вполне серьезное. То же лицо повторило его вскоре малоизвестному композитору Артуру Лурье. Тот согласился и не дольше как через месяц занимал пост, равный товарищу министра искусств.

Когда такие предложения директорских мест, мимоходом, на улице, чуть ли не первому встречному, стали реальнейшей реальностью — подумать только, какой простор открылся перед всеми российскими неудачниками. Право, не будет большим преувеличением, что памятный саботаж «всей России» в 1917 году был прорван, как вода прорывает плотину, именно этими людьми, так долго и злобно ожидавшими «принадлежащих им по праву» власти, силы, известности.

Так долго длилось ожидание. И вот наконец директорские места валяются прямо на улице, вместе с семечками и окурками. Подбирай, кто хочет.

О, еще бы не хотеть! Ведь всю жизнь только и мечтал об этом.

— Так бери.

Пучков был, кажется, впрочем, не из числа самых первых, оценивших и реализовавших открывшиеся «возможности». Может быть, его смущало (вполне ложный, разумеется, стыд) то, что он еще совсем недавно был членом черносотенной «Палаты Михаила Архангела». Как бы там ни было, ни «Лито», ни «Музо», ни государственные театры ему уже не достались. Поэт Анатолий Серебряный превратился в продовольственного комиссара «Северной коммуны».

Купон на сахар. Купон на гроб. Под печатью с серпом и молотом: «Заведующий распределительной частью Анатолий Пучк...»

И закорючка.

* * *

Когда я слышу о все вырастающем гнете, который теперь испытывают писатели в Советской России, я удивляюсь.

Не тому, разумеется, что гнет существует. Нет — другому. Тому, что мы его не ощущали.

«Мы» — это те, кто прожил в Петербурге до 1922 года. Этот 1922 год был «поворотным».

Весной 1922 года литературная жизнь Петербурга еще текла так, как она сложилась за пять лет революции. Действовали Дома — литераторов и искусств, действовали издательства, настолько еще независимые, что не боялись, например, издавать сейчас же после казни Гумилева его книги, и, например, я, эти книги редактируя, не считал особой смелостью со своей стороны во вступительных статьях давать соответствующую оценку не только стихов, но и личности расстрелянного «белогвардейца».

Разумеется, книг издавалось мало, разумеется, цензура давала себя знать, — но это воспринималось как стеснение, неудобство такого же «физического» свойства, как отсутствие хлеба, дров. Над душой писателя власть еще не имела прав. Может быть, оттого, что тогда никому еще в голову не приходила мысль о возможности быть изданным Государственным издательством, т.е. прикрепиться. Потому тоже, что Государственному издательству не пришла в голову мысль писателей закрепостить — ибо «слаб человек».

Как бы там ни было, до 1922 г., когда все как-то сразу увяло — и «дошло», а надежда на свободную газету и наша жалкая независимость, когда одних выслали, принялись хлопотать об отъезде сами, — в Петербурге возможна была та своеобразная

литературная духовная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с волнением и грустью, от которой осталось ощущение — нет, не гнета, — напротив, какой-то «астральной» свободы.

Но осенью 1922 г. явно пришел конец всему этому. Стало ясно — надо убираться, и чем скорей, тем лучше.

Я стал хлопотать о паспорте. Чтобы получить его, требовалось поручительство хотя бы одного коммуниста. И тут оказалось, что ни у меня, ни у моих друзей нет ни одного большевика, знакомого настолько, чтобы можно было к нему с такой просьбой обратиться. Может быть, в этом обстоятельстве и скрыто объяснение того странного чувства «свободы», которое сохранилось от пяти лет жизни в советском Петербурге.

Подпись была все-таки нужна. Наудачу я отправился к Пучкову. Я не видал его давно, очень давно — с тех самых пор, когда он был еще Анатолием Серебряным. И когда меня впустили в кабинет, я не узнал его. От Анатолия Серебряного не осталось и тени. Из-за пышного «министерского» стола мне навстречу поднялся... Наполеон.

Ну, не Наполеон — Муссолини, Кемаль-Паша, Гитлер — словом, прирожденный диктатор — сталь, гроза. Впервые я воочию убедился, как власть — даже над селедками и калошами — может изменить человека. Его движения были сама отрывистость и четкость, голос — металл, глаза (подумать только, «те же самые» водянистые, заискивающие глазки) — пронизывали. Даже кадык куда-то исчез.

Принял меня диктатор, впрочем, очень любезно. Вспомнил я опять Оцупа и попросил его прочесть мне стихи. Диктатор грозно нахмурился и прочел мне поэму. Поэма была в смешанном футуристически-продовольственном вкусе. Чтобы не подражать Оцупу, я похвалил не рифмы, а ритм. Диктатор просиял, и на его «железном» лице на мгновение промелькнуло что-то прежнее, «серебряное».

Он сгоряча пообещал мне поручительство — охотно, какие могут быть разговоры, — но, когда я принес ему на другой день бланк для подписи, — он подписать отказался. Пробормотал что-то невнятное о партийной дисциплине и перевел разговор.

Поручился за меня какой-то знакомый моего знакомого, никогда не видавший меня в глаза. Я послал ему в ответ (это был коммунист из мелких, какой-то красный командир) свой портсигар из слоновой кости — довольно ценную вещь. Но портсигар на другой день вернулся ко мне с благодарностью и ссылкой... на ту же партийную дисциплину.

* * *

Пучков кончил странно. Недавно мне рассказали, что он не только лишен продовольственного трона, но исключен из партии и отдан под суд. Он, оказывается, влюбился, возлюбленная его умерла. И вот (должно быть, под влиянием потрясения старый яд декадентства бросился в его слабую голову) — он бальзамирует ее тело, строит под Петергофом мавзолей в египетском вкусе и ежедневно ездит туда служить какие-то мессы. Об этом узнали где следует и, естественно, возмутились. Расследование к тому же выяснило, что египетский мавзолей выстроен на «кровные пролетарские деньги» — деньги от калош и селедок.

С БАЛЕТНЫМ МЕЦЕНАТОМ В ЧЕКА

(Из петербургских воспоминаний)

В этот день я с особенной приятностью вышел на улицу. Солнце светило, подсыхающие лужи «пахли весной», с моря летел какой-то особенный, шалый теплый ветер. Трамвай довез меня до Михайловской площади. С Михайловской я пошел пешком.

Когда-то, в давно прошедшие времена (в Советской России бывшее два года назад кажется незапамятным), когда-то в замороженном и опустошенном тогдашнем Петербурге — никто не рассуждал. «Я пойду по Невскому, заверну на Фонтанку, прогуляюсь по Летнему саду, потом домой». Не было ни Фонтанки, ни Невского, ни Летнего сада. Было одно враждебное «нечто», где

> В вечном холоде советской ночи
> На мосту патруль стоит.

В этом безвоздушном пространстве, где жить (и даже резвиться) может только существо с особыми жабрами — коммунист, в этом «вечном холоде» рассеяно несколько точек, где можно укрыться от холода, и от патрулей, и от коммунизма.

Несколько точек во враждебном хаосе, так и представлялся Петербург. Вышел из дому и пробираешься. Ближе всего Дом искусств на Мойке. Следующий пункт — Миллионная, Дом ученых, потом Моховая — «Всемирная литература», Бассейная — Дом литераторов. Краем света была квартира Гумилева на Преображенской. На Преображенской Петербург обрывался...

Но это было когда-то — в 1919 году, — теперь же шел март 1921 года. Казалось бы, какая разница? Только что было усмирено Кронштадтское восстание, только что снято или полуснято осадное положение — тюрьмы полны арестованными и приговоренными. Патрулей на мосту и не на мосту было не меньше, чем в 1918 году. Причем патрули эти в своей профес-

сии сильно усовершенствовались. Отделаться от них, предъявив, как во время оно, лошадиный аттестат или аптекарский анализ, — было невозможно. Но какая же тогда была разница? Огромная.

Прежде всего, у «бывших жителей бывшего Петербурга» — как кто-то назвал граждан «Северной коммуны» — за два года плавания в «холоде советской ночи» развились свои собственные «жаброчки». «Холод» остался, но дышать им стало как-то легче. Количество спасительных точек на улицах Петербурга, несмотря на все стеснения и запреты, увеличивалось с каждым днем. Теперь между Домом искусств и Домом ученых уже не было прежнего абстрактного черного провала. Здесь тайная папиросная лавка, там — книжная. Здесь парикмахерская, там кафе. Все конспиративное, разумеется. Но конспирация и придавала вкус чахлым эклерам и дрянным папиросам — «настоящей старой толстой "Сафо"» или «довоенному "Зефиру"», как рекомендовали свой товар продавцы.

«Всемирная литература» платила построчный гонорар, и гонорар довольно крупный. В период расцвета этого удивительнейшего из издательств, оплачивавшего еженедельно горы переписанных на казенной машинке переводов — едва ли тысячный процент которых попал или попадет когда-нибудь в печать, — такой «квалифицированный» переводчик мог жить по-советски безбедно. Он мог бриться у парикмахера Жака (третий двор, пятый этаж), мог купить самую толстую и самую старую «Сафо» и — предел благополучия для небольшевика — обедать в конспиративном кафе.

Сначала я обедал на Невском у какого-то старика еврея. Открыл этого еврея Гумилев, и, когда он впервые провел меня в эту столовую, богатство ее меня поразило. Гумилев, снисходительно улыбаясь, рекомендовал мне гуся с яблоками и хвастал интимной дружбой с хозяином, который трепал его по плечу, называя «господин Гумилев». Но человек ко всему привыкает и ничем не удовлетворяется. Месяца через два я в свою очередь свел Гумилева недалеко на Николаевскую, к некой мадам Полин, где выбор блюд был гораздо разнообразней и подавали не в патриархальной спальне с огромными пуховиками и портретом кантора Сироты, а в кокетливой столовой с искусственными пальмочками, на кузнецовском фаянсе и накладном серебре.

Кроме изящества обстановки, мадам Полин имела перед гумилевским старцем еще одно неоспоримое преимущество. Она не боялась милиции. Тот открывал двери только на ка-

кой-то сложный условный стук, встречая даже хорошо известных ему посетителей, делал на всякий случай изумленное и непонимающее лицо, вообще явно боялся властей как огня. Моя же Полина не боялась нисколько. Основанием к тому была вовсе не ее природная храбрость, а то, что она выплачивала ежемесячную взятку районному комиссару. Есть борщ с пирожками было приятно, но есть тот же борщ в сознании полной безнаказанности этого уголовного поступка — еще приятнее. А тут еще пальмочки вместо перин, да и скатерть чистая. Короче — симпатичный библейский старец потерял, а обходительная Полина приобрела двух новых клиентов.

...Пахло весной. Солнце светило. Теплый ветер сдувал с моего свежебритого подбородка остатки «Лебяжьего пуха» и крутил дымок «старой толстой Сафо». Пачка новеньких, украшенных серпом и молотом кредиток, только что обмененных на «Мазепу» Байрона или «Кристабель» Колриджа, шелестели в кармане.

Словом, ничто не мешало, напротив, все располагало хорошо позавтракать. Я завернул на Николаевскую и поднялся на второй этаж.

Сколько раз рукой помертвелой
Я сжимала звонок-кольцо.

Сколько раз безо всякой опаски я всходил по этой лестнице и дергал за нос какого-то бронзового сфинкса у дверей Полины. Дергал уверенно и самонадеянно, зная, что дверь сейчас же откроется, приятно пахнет теплом и кухней и плутоватая, заплывшая жиром физиономия Полины улыбнется сквозь стеклянное окошечко в стене.

И на этот раз я вбежал по лестнице так же быстро, как и всегда, и так же занес руку, чтобы дернуть за нос бронзового сфинкса.

Занес, но не дернул. Рука моя, неожиданно для меня самого, точно одеревенела в воздухе. Приятное настроение, с которым я шел обедать, вдруг улетучилось, легкость, с которой я вбежал по лестнице, — пропала. Чувство гнета, тяжести, беспокойства распространялось от этой аккуратно полированной двери. Еще секунда, и я, круто повернувшись, сбежал бы вниз, махнув рукой на завтрак. Я не позвонил и не постучал. Под ногами был хотя и облезлый, но все же ковер, так что шаги мои вряд ли были слышны в квартире. Явления такого рода,

должно быть, имеют научное название и объяснение. Мозговой телеграф? Телепатия? Я не знаю. Не сродство душ, во всяком случае.

Я почувствовал нечто за дверьми гостеприимной Полины. Это «нечто» в свою очередь почувствовало меня.

Дверь распахнулась. Солдат в чекистской форме оглядел меня с ног до головы почти дружелюбно и посторонился.

— Заходите, заходите, гражданин, — сказал он мягко.

Есть приглашения, от которых не отказываются.

* * *

Чекист, распоряжавшийся обыском, посмотрел на меня так, точно все три года своей чекистской практики он только и делал, что стремился меня арестовать. И вот наконец я попался.

— Я вас знаю, я вас хорошо знаю, — процедил он многозначительно. — Обыскать.

И передавая своим помощникам, бросил кратко: «Кокаин и бриллианты ко мне». На мне не было ни кокаина, ни бриллиантов, ни даже запретных царских или думских денег. Скоро меня оставили в покое.

Час завтрака давно прошел. Никто не приходил больше. Но нас не уводили и не отпускали. Чекисты, по-видимому, ждали, что еще кто-нибудь попадется в засаду. Ждали терпеливо, методично. Старший с папироской в зубах, держа руку на расстегнутой кобуре кольта, погрузился в найденный в спальне Полины роман «Тайны венценосцев». Подручные вытащили из кармана засаленную колоду и занялись игрой в дурачки. Картина была мирная. Арестованные шепотом переговаривались. Один из красноармейцев выравнивал ножичком свой стоптанный каблук. Время ползло, как черепаха. Половина четвертого, четыре, пять. Наконец старший чекист захлопнул увлекших его «Венценосцев» и велел собираться.

Мы шли по Невскому, выстроенные рядами по-солдатски. Красноармейцы шагали по бокам, хмуро и безразлично. Чекисты, особенно старший, вились вокруг нашей колонны то здесь, то там, играя наганами и покрикивая. Это была, конечно, манера, выработанная долгой «революционной практикой», — манера, от которой они, в силу привычки, вряд ли бы отказались, даже конвоируя детский сад. «Бандиты» усердно шагали, опасливо косясь на взлетающие и опускающиеся ду-

ла наганов. Заплаканная Полина шла с известной цыганской певицей, бывший меценат и балетоман — с бабой, принесшей мясо на продажу. Со мной в паре шагал толстый румяный спекулянт, завсегдатай столовой. Его бобровая шуба, наивно замаскированная пролетарской кепкой, выглядела трогательно и беззащитно. Обычно разговорчивый до надоедливости, он молчал. Я не вызывал его на разговор: я знал секрет его внезапной молчаливости. Он боялся проглотить крупный бриллиант, спрятанный во время обыска за щеку.

* * *

И вид, и обычаи Гороховой подробно и не раз описывались. Меня поразила мелкость пошиба этого страшного учреждения. Ведь подлинно страшное — чего страшней. А впечатление, как будто от дореволюционного участка — грязно, кисло, уныло, омерзительно — и только.

В общей камере, куда нас провели после нового обыска и долгого ожидания в канцелярии (обыкновеннейшей канцелярии с кокетливыми дактило и любезничающими с ними чекистами в галифе), — шестьдесят или семьдесят пар глаз поднялись на нас. Поднялись и равнодушно опустились. В самом деле, что нового могли принести мы, пришедшие с воли, кроме знакомого им беспокойного недоумения, потом, с течением времени, сменяющегося недоумением равнодушным.

Я «приткнулся» на подоконник. Как и у Полины во время обыска, другой свободной «мебели» не оказалось. Приткнулся и стал наблюдать. Чего же мне еще оставалось делать?

Желтая тусклая лампочка на потолке. Грязные стены, грязный пол, грязные решетчатые окна. Очень жарко, очень душно. И в махорочном дыму — человеческие головы, очень много голов. И все на один лад. Может быть, от света, может быть, от дыма, может быть, от объединяющего всех настроения.

Шепот, храп, шуршание тараканов. Уныние, грязь, жара. И мог же я не пойти сегодня в эту несчастную столовую и вместо того, чтобы скрючившись на подоконнике... Ведь мог?

Кто-то берет меня за руку. Это шагавший в паре с бабой-спекулянткой бывший меценат и балетоман.

— Не спится? — спрашивает он. — Представьте, и мне тоже. — И довольный этой остротой, показывает свои золотые зубы. — Ну, так давайте проводить время, как культурные лю-

ди, попавшие к краснокожим. Давайте говорить о литературе. Например, скажите, Ахматова хорошая поэтесса?

— Плохая, — отвечаю я. — Никуда не годная. Она пишет, что не променяла бы большевистскую Россию ни на что в мире.

Меценат улыбается.

— Ну так она, видите, еще здесь не сидела. Посидит — переменит мнение. Но рифмы у нее, по-моему, богатые.

На Шпалерной, куда нас перевели утром, — старшина из заключенных, розовый и пухлый господин с артистическим галстуком, утешил меня.

— Удачно попали, товарищ. 1 мая — амнистия. Ну еще то и се, с месяц проволочки. К июню можете считать себя свободным. Прямо на дачу.

Он не шутил. В самом деле, попасть за месяц до амнистии было своего рода удачей. Многие арестованные за «преступления» не больше моего уже несколько месяцев дожидались той же самой амнистии.

После общей камеры Чека Шпалерная казалась комфортабельным отелем. Никаких тараканов, чистота, свет, прогулки. Старшина, узнав о моей профессии, разъяснил мне ее выгоду для тюремного житья. Раз в неделю на Шпалерной устраивались «концерты» из «наличных артистических сил», находившихся в тюрьме. Их было всегда достаточно. Для подготовки этих «концертов» устраивались репетиции, спевки и т.д. Короче — дверь моей камеры была открыта весь день. Я мог гулять по коридору, заходить к другим, сидеть в библиотеке. Вместе со мной этой свободой пользовались — уже незаконно — и два моих товарища по камере. Меценат-балетоман, донимавший меня разговорами то о вечности, то об Уайльде, и старожил, к которому нас обоих вселили, — рабочий-путиловец, пожилой человек.

Он сидел уже месяцев шесть. Дожидался той же амнистии, к которой так «удачно» подоспел я. Все шесть месяцев он сидел без допроса, на одном пайке, т.е. четверке хлеба и селедочном супе. Но ничуть не озлобился, напротив. Был всегда услужлив, ровен, деликатен, почти весел. Он прибирал за нас камеру. Мы его подкармливали получавшимися с воли передачами. На вопрос, за что он сидит, он, кротко улыбаясь, отвечал — «За голосование». И пояснял, что куда-то он был выбран, где-то ему пришлось заседать. Через силу пришлось: «Не люблю я этого дела».

— Видишь ли, милый, приехал к нам докладчик, партейный товарищ, значит. Хороший такой товарищ, душевный.

Сначала все доложил, как следует, аккуратно, а потом говорит: «Это, ребята, партейная точка зрения, и желательно нам, чтобы вы ее приняли. Но ежели с партейной точкой вы не согласны, то голосуйте против, и будет, как вы постановите». — Потому что, говорит, вы хозяева, а мы ваши слуги. Душевный такой. Голосуйте, говорит, ребята, по совести, не опасаясь, кто как думает.

— И вы голосовали против?

— Против и голосовали. Как же не против? Предложение, которое по его докладу шло, нам неподходящее было. Непонимающий человек составлял, пустяки и составил.

— Ну и посадили вас за это?

— Как же. В ту же ночь и забрали. Меня и еще шестерых. — И он мягко улыбается.

— Экое смирение, — полувозмущается, полурастрагивается бывший балетоман. La bonte slave. Вот поэтому они и сидят так крепко, что у нас хоть пруд пруди такими Каратаевыми.

— Китаев наша фамилия, — поправляет его путиловец, выслушав эту тираду.

* * *

До первого мая мне все-таки ждать не пришлось. Делегация от Академии наук (вот какая громоздкая машина понадобилась!) ездила к чекисту Озолину хлопотать за меня, цыганскую певицу и балетного мецената и добилась освобождения «случайно задержанных, незаменимых работников искусства». К «незаменимым» как-то примазался и спекулянт с бриллиантом. Он вышел из тюремных ворот вместе с нами, благополучно унося за щекой свое сокровище. Остальным пришлось ждать амнистии...

Небритый, облезлый, с узлом под мышкой я шел домой. Солнце сияло, дул резвый ладожский ветер, и большие льдины, треща и сверкая, проползали по темно-зеленой Неве.

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ

(Из петербургских встреч)

Родители ее были люди с фантазией: дали ей простенькое имя — Паллада.

Когда Паллада шла по улице — прохожие оборачивались.

Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг...

Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики? С Венецианского карнавала? С Марса, может быть?

На плечах накидка — ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом Астриса.

Прохожие оборачиваются — как не обернуться? Существо в кружевах и браслетах растерянно топчется на тротуаре, достает зеркало из сумочки, пудрится, красит рот, роняет пуховку, проливает духи. У стены — нищий. Паллада бросается к нему.

— Ах, бедняжка. Вы слепой? На оба глаза? И четверо детей? Ах, Боже! Вот, возьмите!..

Она роется в сумочке — в шапку слепого летят медяки, потом скомканная трехрублевка, потом кружок от театральной вешалки, унесенный по рассеянности.

Облагодетельствовав нищего, Паллада рассеянно озирается. Какая это улица? Который час? Уже пять? Ах, — опоздала! Извозчик! Извозчика как раз нет. Дороги она не знает, в трамвай сесть боится. Сегодня у нее прием, скоро начнут собираться гости, — а даже пти-фуры еще не куплены. Вот, кстати, кондитерская, кажется приличная. К Балле все равно не поспеть.

Продавщица отвешивает товар, косясь на покупательницу. Фунт сухих, два фруктовых и киевское варенье. Всего — три шестьдесят...

Снова сумочка приходит в движение. Сыплется пудра, проливаются духи. Три шестьдесят. Ах, Боже, — не хватает двугривенного. За извозчика заплатит швейцар — но нельзя же должать в кондитерской. И куда делись деньги — ведь была сдача с десяти рублей. Ну, да — нищий. Он еще не ушел, может быть...

— Подождите, я сейчас, — говорит Паллада продавщице и выбегает на улицу. Где же этот нищий? Ушел? Нет, вот он сидит на прежнем месте. Шурша шелками, она наклоняется к слепому:

— Послушайте... как вас... Нищий! Я только что дала вам много денег. Но я купила печенья, и мне не хватает. Одолжите мне двугривенный до завтра.

* * *

Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное. Еще в институте прочтенный тайком «Портрет Дориана Грея» решил ее судьбу. Она должна стать лордом Генри в юбке — порочной, блестящей, очаровательной, презирающей «пошлые условности».

К этой цели она и стремилась. Для этого носила ядовитые манто, курила папиросы с опиумом и часто в среду утром — ее приемный день — бежала с последней брошкой в соседний ломбард, чтобы было на что купить портвейна и шерри-бренди для эстетического общества, которое у нее собиралось.

От Загородного, у самого Царскосельского вокзала, влево — переулок. Переулок мрачный, грязный. В конце его кривой газовый фонарь освещает вывеску: «Семейные бани». Эстет, впервые удостоенный чести быть приглашенным на пятичасовой час к Палладе, разыскал дом, увидев фонарь, лоток с мылом и губками, эту надпись «Бани», — сомневается: тут ли? Сомнения напрасны — именно тут. Самое изысканное, самое эстетическое, самое передовое общество (так по крайней мере уверяет хозяйка) собирается именно здесь.

У лорда Генри, конечно, был особняк с цветником из орхидей и шпалеры напудренных лакеев, но это неважно. Смело толкайте стеклянную дверь с матовой надписью «Семейные 40 копеек» и входите. Из подъезда есть дверка во двор, во дворе другой подъезд, довольно чистый, хотя не только без орхидей, но и без швейцара. Подымайтесь на четвертый этаж, звоните.

В половине шестого — шесть «салон» в разгаре. Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана. И вся вообще обстановка — ядовитая. Горы искусственных цветов (живые, увы, не по карману), десятки разноцветных подушек, чучела каких-то зверей, перья каких-то птиц. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, — трудно дышать. И еще эта пестрота стен, ковров, драпировок. И эта пестрота лиц...

Хозяйка «загадочно» улыбается. Она еще молода. Если всмотреться — видишь, что она была бы прямо хорошенькой, если бы одной из тех губок, что продаются у входа, стереть с ее лица эти белила, румяна, мушки, жирные полосы синего карандаша. И еще — если бы она перестала ломаться. Ну, и оделась бы по-человечески.

Конечно, все эти «если бы» — неосуществимы. Отнять у Паллады ее краски, манеры, пестрые тряпки — бесконечное ломанье, что же тогда останется?

Паллада загадочно улыбается. Гости толкутся по двум гостиным — голубой и оранжевой. Гостиных две, всего комнат в квартире три. Пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос, роняют и вбрасывают монокли, чинно улыбаются, изящно кланяются.

Кто они, эти гости?

Ну, как сказать... Дамы по большей части артистки — каких театров, об этом не принято спрашивать. Мужчины? Вот барон Врангель, историк искусства, вот граф Зубов, вот знаменитый пианист. Ну и правоведы, лицеисты разные. Есть и плохо выбритые физиономии, грязные короткие пальцы, исподтишка запихивающие в карман взятую из вазы грушу. Словом — «смешанное общество».

В том, что на одном из таких чаев среди этого «смешанного общества» меня познакомили с М., подпоручиком одного из лучших московских полков, — не было ничего удивительного. Удивило меня другое. Месяца три тому назад я уже видел его в московском «Алтаре», ночном кабаре, и хорошо запомнил его лицо. Такой редкой красоты нельзя было не запомнить. Но тогда на нем были погоны корнета и назывался он князем У.

* * *

— Ах, я так влюблена, так влюблена, — говорит Паллада, которую я спустя полгода опять зашел навестить.

— Что же, в добрый час.

— Ах, нет — в недобрый час. Я знаю. Я все знаю. Он негодяй. Убьет любого за рубль. Может быть, и убивал уже. Он меняет фамилии — сегодня князь, гвардеец, завтра сын банкира, послезавтра... Страшная жизнь — мошенничества, грязь, шантажи. Я со стороны слышала такое о нем... Да и сам он не скрывает, говорит: люби меня такого, как я есть.

— И вы любите?

— Безумно. Жить без него не могу. Он мой Дориан Грей, прекрасный принц.

...Еще полгода — газетная заметка: «Покушалась на самоубийство артистка Паллада Б. Причина романтическая». Больничная палата. Бледная, неподкрашенная, на пять лет постаревшая Паллада. Жалкое растерянное лицо, жалкий растерянный лепет.

— Зачем я не умерла? Я так его любила, так... Все прощала ему, все для него забыла. Он знал, что я не шучу, что отравлюсь. Он глядел как каменный: как знаешь, твое дело. И ушел. Из окна ему кричала — даже не обернулся.

...Еще год-полтора. Уже революция. Встреча с Палладой на улице.

— Да, на Украину пробираюсь, оттуда, надеюсь, в Крым, там у меня родственники. Что же мне делать здесь, как жить? Квартиру разграбили. Уезжала в Финляндию полечиться после этой... моей глупости. Вернулась: все пусто, только стул один да ножка от рояля.

— Как же вы поедете одна — теперь это дело сложное.

— Еще бы. Разве бы я могла одна. Нет, не одна еду. Со мной «Прекрасный принц». Он меня довезет и через границу переправит. Если бы не он...

— Как, этот?.. Но, Паллада, понимаете вы, кому вы доверяете жизнь?

— Кому? Ангелу. Чудному, изумительному человеку. Удивлены? Думаете, с ума сошла? Нет, не сошла — он ангел, ангел. Без него я погибла бы уже. Вернулась из Финляндии, больная, без денег — совсем одна. Он перевез меня к себе, полгода, как за ребенком, за мной ухаживал...

Она раскрывает сумочку, просыпает пудру, проливает духи. Ее подведенные глаза смотрят испуганно.

— Да, да ангел. И я так за него боюсь — он такой безрассудный. Хочет в Сибирь ехать, устраивать побег государя. Долго ли погибнуть! И подумать, что его я считала негодяем.

Через месяц — открытка от Паллады из Харькова. Здорова, свободна. Если увидите «Принца», скажите: на всю жизнь я его неоплатная должница.

* * *

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Весна, вечер, 1922 год. Красный отблеск заходящего солнца на небе, на решетке Летнего сада, на скамейке, где я сижу. Из глубины сада музыка, шум, голоса гуляющих. У входа «инвалид гражданской войны», пропуская «граждан» через вертушку-турникет, взимает плату за вход.

Граждане чинно платят, чинно идут по подметенным дорожкам, поглядывая на статуи с отбитыми носами и новенькие таблички: «На траве не лежать, насаждений не портить». Кому же в голову придет лежать на траве? Слава Богу, за эти годы довольно належались, довольно нагляделись всякого беспорядка, да и не такая здесь публика. Так что предупреждение таблички лишнее, но то, что она прибита, приятно радует глаз. Дорожки подметены, музыка играет, инвалид щелкает вертушкой, «На траве не лежать» — тишина, спокойствие, порядок... Приятно. После пяти лет хаоса — почти блаженно...

«Максим Горький нужен, чтобы мою жизнь описать».

Это говорит «Прекрасный принц». Он сидит рядом со мной на скамейке. Проходил мимо, узнал, звякнул шпорами, подсел.

— У Паллады встречались... Должно быть, забыли? Помните? Ну — очень рад. Не грех и забыть — много воды утекло.

И, — щелкая портсигаром:

— Папироску не угодно ли? Хороший табак — не то что на улице. Один товарищ из ГПУ подарил. Буржуйские папиросы — класс.

Он затягивается папиросой и кашляет мелким сухим кашлем.

— Я сам служил в ГПУ. Что? Морщитесь? Не по вкусу? Жалеете, что заговорили? Что ж — на всех не потрафишь. Служил, откровенно говорю. На польской границе. Эх, — широкая была жизнь. Мне все равно где — лишь бы широкая жизнь. Неудача — пришлось смыться — едва не расстреляли. Под судом теперь.

Я смотрю на него. Так вот где — в ГПУ? Что ж — остался чем был. И с виду такой же.

Так же ловко пригнана шинель. Так же, чуть на боку, фуражка «кавалерийского образца». И глаза те же — детские и наглые. Но щеки впалые, под глазами тени, румянец какой-то странный.

Точно отвечая на мою мысль, он поясняет.

— Это даже кстати, что под судом. Отдохну в Питере, подлечусь. На границе у нас жизнь, ну прямо сумасшедшая. Какое там лечение. У меня, между прочим, туберкулез. В гражданской войне нажил вместе с орденом Красного Знамени.

— За что же вы под судом?

— Так. Пустое дело. Эх, такие ли были у меня дела, а цел выходил. Да, жизнь... Максим Горький тут нужен, чтобы описать, не меньше... Впрочем, если бы время, — сам описал бы. Что? Думаете таланту не хватит? Хватит, и не на такое хватало. Да и какой талант для этого. Пиши все, как было, и весь секрет. Знаете, что главное? Главное — не стесняться. Дорогие читатели, я, мол, такой-то сын профессора, офицер царской армии, адъютант батьки Булака, кавалер Красного Знамени, комендант ГПУ и прочая, и прочая, заранее рекомендуюсь: вор, подлец, прохвост. Это главное. Тогда и у меня руки развязаны, и читателю ясно. Начистоту. Тут и без таланту можно написать так, что Толстого за пояс заткнешь.

Он опять затягивается папиросой и снова мелко, сухо закашливается.

— Как же вы все-таки в ГПУ оказались?

— Как? А просто. В восемнадцатом году наш батька под «Стругами Белыми» стоял. С красным отрядом. Переход к белым — это у нас было решено. Ждали случая, ну, а пока ничего, жили. Мужичье у нас по струнке ходило, чуть что — к стенке. Если из центра какие запросы, — ответ один: усмиряем контрреволюционные вспышки. Скоро мужичье жаловаться перестало, видят, только хуже. Ничего жили. Вот в августе узнаю: через неделю перекидываемся. Ладно, думаю, попьем польской водки. Отпросился в Питер на день, все-таки родной город, и девчонка у меня там была одна... Хорошо — еду. Трясет меня поезд, лежу на диване, и приходит мне в голову идея. Очень простая. Что в Польше нас ждет, еще неизвестно. Может, набьют нам всем морду и посадят в лагерь... А вот, если по-другому сделать, то, как в газетах пишут, «ситуация ясная». Если я пойду куда надо да Батьку выдам, что мне за это будет? Не меньше, как полк дадут, а то и дивизию.

— И выдали?

— Сапогом сыграл, опоздал. Марафет подвел, то есть кокаин... Приехал в Питер. Мне бы прямо в ЧК. Желаю видеть председателя. Так, мол, и так, по чувству революционного долга сообщаю о замышляющейся измене, и дело в шляпе. Нет, черт попутал, — поехал в Кавказский погреб. Ну вино, марафет, девчонка одна. Деньги у меня были — пошло дело. Через двое суток продираю глаза, беру «Правду». Жирными буквами: «Измена Булака». Этакое невезение! Теперь не то что отличиться — шкуру свою надо спасать — ведь Батька изменник, а я его адъютант. А мог бы дивизию заработать. Не повезло. Ничего. Вымазал рожу, порвал гимнастерку, явился в ЧК. «Бежал с опасностью для жизни». Поверили.

Он опять курит, опять мелко закашливается.

— Ну, мне пора. И так надоел, должно быть. Руки не протягиваю, не беспокойтесь. Честь имею.

— Постойте, — говорю я. — У меня есть к вам поручение. От Паллады. Она мне писала из Харькова, просила передать, что на всю жизнь вам благодарна. Поручение давнее, но мне кажется, передать его как раз кстати после... вашего рассказа.

Он вдруг краснеет.

— Это вы оставьте. Кстати? То есть, мол, подлец, а способен на жалость? Значит, не такой уж подлец! Ровно ничего не значит, уверяю вас. Вот меня из ГПУ выставили за то же: пропустил какую-то старуху, вроде Паллады, через границу. Привели ко мне, плачет, сапоги целует, двое ребят тут же... И влип через это в глупое дело — сам едва под расстрел не угодил. Ну и что же? Одну пожалел, скольких не пожалел, это вы считали? Так что... — он щелкнул шпорами.

— Счастливо оставаться.

ЧЕЛОВЕК В РЕДИНГОТЕ

(Из петербургских воспоминаний)

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону. Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик «Финляндского пароходства», возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса? Или идти в обход? Нет, ждать скучно, а в обход далеко. Проезжавший мимо «ванька», видя мою беспомощность, заломил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно подхлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, «в сиянии и безмолвии белой ночи». Белые ночи, конечно, хороши, и эта была особенно хороша — но я посмотрел на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо почти с отвращением. Пойду в обход, решил я. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома.

Но идти домой не пришлось. Пройдя несколько шагов, я услышал голоса и звон посуды. «Поплавок», излюбленное место мечтательных пьяниц, был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному «ваньке», нашлось употребление менее обидное.

Народу на «Поплавке» было человек десять-двенадцать. По их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что все это публика солидная, сидит здесь долго, выпила много и еще выпьет.

Я сидел в ожидании, когда придет «перевоз», прихлебывал тепловатое «калинкинское» и наблюдал. Наблюдать, впрочем, было мало что. Картина не менялась. Веселая компания в углу, понемногу соловея, все меньше закатывалась смехом и все чаще икала. Изредка кто-нибудь нетвердым голосом заказывал еще пива, то там, то здесь слышалось всхрапывание. Вода тяжело и глухо ударялась о борта баржи, на которой «Поплавок» помещался. Стало совсем светло. Пароходик, которого я ждал, пыхтя, подплывал к соседней пристани, подавая

тонкие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться. Но тут «на палубе» появился новый посетитель. Вид его заинтересовал меня. Небольшой рост. Коренастые плечи. Пальто — коричневый редингот в талию — хорошего покроя, но с побелевшими швами, заношенное, выгоревшее. На шее в несколько рядов намотан пестрый шарф, на голове цилиндр, в руках трость с вычурнейшим набалдашником.

Он вошел, тяжело ступая. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею. Когда принесли пиво, новый посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся, словно от отвращения, потом медленно обвел вокруг себя прищуренными глазами. Когда на секунду я попал в «поле его зрения», пришла моя очередь вздрогнуть. В серо-холодных, странно-неподвижных глазах светилось выражение дикой тоски. Дикой и слепой.

«Перевоз», жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Вот и мост наводят, — пора. Не любоваться же всю ночь на этого пьяницу с дикими глазами.

Но когда я совсем собрался уходить, человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотания удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался.

...Et pourtant vous serez semblable a cette ordure.
A cetie horible infection...

Странный человек в рединготе, перед батареей «калинкинского», на заплеванном «Поплавке» читал гениальную «Charogne» Бодлера. Это было забавно.

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature
Vous, mon ange et ma passion...

Вдруг он оборвал чтение, выпрямился во весь рост и шагнул к парапету. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Еще шаг, и человек в рединготе был бы в Неве. Лакей подбежал к нему и схватил его за плечи. «Скандалить не...» — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить. На отчаянный крик слуги двинулся грузный, краснорожий хозяин. Ему полетела в голову бутылка.

Как ни любопытно было посмотреть, чем это кончится, я все же поспешил к выходу, — благо он был свободен: другая

бутылка с треском, как бомба, разорвалась у самого моего уха. Я «ускорил шаги». На шум уже перебегал наискось набережную усатый городовой. В общем реве побоища голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, яростно гремел:

— Тронуть... меня... который в высочайшем присутствии... Меня! Друга Григория Ефимовича! Спроси Вырубову, кто я такой, — она тебе скажет. Лапы прочь! Не подходи! Убью!

* * *

Среди множества петербургских литературных обществ было и такое: «Физа».

Название это не расшифровывалось, как подобные ему советские названия. «Физа» не значило — «филологический институт звуковых анализов» или что-нибудь в этом роде. «Физой» звался герой поэмы, очень бездарной и очень пышной, прочитанной на открытии одним из ее великосветских учредителей. «Физа» тем и отличалась от остальных литературных мест, что хозяевами ее были любители прекрасного с громкими фамилиями и в звании камер-юнкеров высочайшего двора. Теперь уж я не помню, как звалась «Физа» по-настоящему.

Над «Физой» все смеялись, но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было не слушать, коротая время в прекрасной столовой за бесплатными сандвичами с икрой и даровой мадерой. Кто-то сказал, что в Петербурге ходят на разные сборища исключительно из-за антрактов — себя показать и людей посмотреть. Заседания «Физы» были сплошным антрактом, да еще с мадерой. И на собраниях ее всегда было шумно и многолюдно.

На одном из таких собраний я сидел по обыкновению в столовой. Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил — и я услышал знакомый голос. Знакомый. Но где я его слышал? Ах, да...

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature...

— Лапы прочь! Убью!

На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой «знакомый» с «Поплавка». Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел самый обыкновенный буржуазный вид. Глаза опущены: не видно их

выражения. Читал он что-то длинное, с цитатами и ссылками на источники о предшественниках Шекспира, читал с повадками заправского приват-доцента.

— Кто это? — спросил я у фон А., того самого камер-юнкера, в чьей поэме героя звали Физой.

Фон А., лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением. Как? Вы не знаете? Восходящая звезда. Тураев в восторге. Бодуэн де Куртене без ума. Удивительная эрудиция, редкая разносторонность. Его исследования о елизаветинцах...

Он назвал мне фамилию, которую я мельком слышал, как имя подающего надежды молодого ученого. Вот уж не ожидал.

— Кажется, он скандалист какой-то? Из распутинского окружения?

Фон А. замахал руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э... э... э... светлая голова. Мы специально его пригласили в будущую субботу. Он нам прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э... э... э... и ассириологии. Удивительная разносторонность. И откуда вы взяли, что он распутинец? Напротив, он, кажется, э... э... э... в связи с революционерами.

В течение вечера я наблюдал «человека в рединготе». Он держался в окружении эстетических дам и великосветских учредителей «Физы». Держался скромно, грустно, достойно, не подымая глаз. Мадера стояла перед ним на столе, но он пил чай с лимоном. Уходя из собрания, я видел, как фон А. усаживал моего скандалиста с «Поплавка» в свою щегольскую карету.

* * *

Часа в три ночи, в один из тихих дней «Бродячей собаки», таких дней, когда публики «со стороны» мало, «свои люди» сидят особняком по углам, электричество из экономии притушено и даже Пронин, неутомимый директор подвала, устал и спит в чулане за кухней, — в одну из таких «будничных» ночей, когда сидишь так неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино, и все кругом выглядит как-то таинственно, — входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал.

Он был опять в рединготе и пестром намотанном кашне. Кажется, сильно пьян. Предлога заговорить с ним мне не пришлось и выдумывать. Потоптавшись у дверей, он сел рядом со мной у камина. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он щелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте, — отстранил он стакан, который я было ему придвинул. — Благодарствуйте, не употребляю этих напитков. Душа не принимает, да и сердце...

— Слабое? — подсказал я.

— Именно слабое. Правильно сказали. Слабое сердце. Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие.

Он закричал в буфет:

— Эй, водки!

Мы помолчали. Потом, не зная, как начать интересующий меня разговор, я сказал:

— А я вас встречал.

— Встречали? Возможно.

— Да. Весной этого года. На «Поплавке». Вы еще Бодлера читали.

— А, вот где. Припоминаю, как же. Не в себе был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато метко. Вы что же — он прищурился, — долго тогда сидели?

— Ушел, когда начали бутылки летать. За голову боялся. После жалел.

— Чего же вы жалели?

Я нанес «решительный удар».

— Жалел, что не досмотрел до конца. Кто победил и... и помог ли вам Григорий Ефимович?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник, внешне по крайней мере, остался невозмутимым.

— Пустяки все это, — сказал он, — и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду... или я разбил. Не все ли равно. Не согласны? Это в вас младая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать. А насчет Григория Ефимовича вопрос не так прост, как вам кажется. Вы вот — признайтесь — полагали: припер я его к стене, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете, нет? Ан, припру...

Впрочем, все это пустые разговоры. И место неподходящее, и я хоть и пьян, а недостаточно. Вы вот поймайте меня

совсем пьяненького. Тогда и разговор между нами пойдет другой. Или, — он подмигивает, и глаза его делаются страшными и пустыми, — выпить нам с вами как следует, для первого знакомства. А? Согласны? Тогда и поговорим.

* * *

Из любопытства я еду с ним — сначала к старому Донону у Николаевского моста, потом еще в какой-то кабак, потом в извозчичью чайную. Наконец попадаем к нему на квартиру. Калашниковская набережная, мрачный деревянный дом. Ветер с Охты ударяет в стекла так, что окна дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает на смятой камчатной скатерти. По стенам, на столах, на полу — книги, книги, книги — на всех языках.

Хозяин пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится в сторону, глаза налились знакомой дикой тоской.

— Что ж ты не пьешь? — переходит он на «ты». — Пей, брат, водка хорошая, царская. Царской водкой самую едкую кислоту зовут, все она прожигает — камень, железо, все. Только алмаза не берет. И эта вот тоже царская, все зальет, все сожжет.

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может водка. Стыд — без остатка. Совесть — точно и нет никакой. Честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот — тоска, как алмаз. Ничего с ней не поделаешь. Стоит в груди и не тает.

— Ну, а насчет Григория Ефимовича как же? — говорю я. — Вы мне рассказать обещали...

Он молча берет меня за рукав и тянет в угол. Берет свечу и подносит к стеклу киота. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой. Первую минуту я не понимаю, в чем дело.

Он подносит огарок еще ближе. В середине под темным окладом выступают черная борода и бледное лицо Распутина. По бокам, тоже в ризах, Ницше, Бодлер, Вырубова. Вперемежку с ними настоящие иконы.

— О Григории Ефимовиче спрашивал? Вот он Григорий Ефимович. Если желаете, можем ему помолиться.

И он на церковный лад затягивает:

— Преподобный Григорий, моли Бога о нас.

Искоса он смотрит на меня, и видно, что отвращение, которое проступает на моем лице, доставляет ему живейшее удовольствие.

* * *

Я видел его еще раз. Он сидел на Мальцевском рынке среди старух с серебряными ложками и мальчишек с пирожками. Он сидел в своем рединготе и цилиндре и торговал книгами. Вернее, безучастно смотрел, как любопытные перебирают его никому не нужный товар и уходят, ничего не купив. Шарф был туго замотан вокруг его короткой шеи, и в стоячих глазах светилась ледяная тоска. Это было при Керенском. Судя по всему, звезда «человека в рединготе» клонилась к закату...

Но в 1922 году я неожиданно услышал его имя, и мне пришлось удивиться еще раз. Это имя теперь сияло высоко, очень высоко на московском «звездном небе», притом в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ.

ФАРФОР

(Из петербургских воспоминаний)

Когда я слышу слова «старинный фарфор», я испытываю нежность, смешанную с отвращением.

Сознаюсь, я до сих пор неравнодушен к этим затейливым вещицам, олицетворяющим блаженную праздность, изящное ничегонеделанье, раззолоченный и разукрашенный сон ума и души. И в то же время, когда я любуюсь ими, меня немного мутит. В художественном фарфоре — дан какой-то предел и изощренности, и ограниченности человека. Как море, на которое вылито масло, успокаиваются бури искусства, затихают раздиравшие его страсти. Все восхитительно мельчает, изысканно глупеет, засыпает волшебно-кукольным сном. Мука становится сентиментальной грустью, счастье превращается в удовольствие, прекрасное делается красивым, безусловное — условным, величественное — грациозным. И утончившись до предела, искусство готово умереть от упоительной анемии, очаровательного вырождения, прелестного размягчения мозга. Это и есть фарфор.

* * *

Вместе с семечками, заломленными на затылок солдатскими фуражками, анархистами на даче Дурново, Лениным во дворце Кшесинской вдруг появилось в Петербурге, летом 1917 года, огромное количество старинного фарфора. Его продавали всюду, его покупали все. В мелочных лавках рядом с мылом Жукова и ящиками от несуществующего сахара продавались гарднеровские чашки и мейсенские статуэтки. Люди, всю жизнь не шедшие дальше сервиза из магазина бракованной посуды, вдруг оказались отчаянными эстетами и знатоками. Они не хотели Веджвуда, им требовалась Ост-Индская компания. От копенгагенских кошек и ласточек, недавно таких недоступно-желанных, они презрительно отворачива-

лись. Весь марколиниевский сакс, весь наполеоновский севр, все чашки и вазы, пастушки и маркизы, поселянки и пастушки, стоявшие десятилетиями в витринах барских квартир и особняков, высыпали на улицу и заполнили Петербург. Люди еще сидели в своих обреченных на гибель домах, еще таились, надеялись, выжидали, сторонились событий, а вещи уже навязчиво предлагали себя, смешиваясь и братаясь с революционным плебсом. Вещи оказались демократичней людей. И особенно назойливым, вездесущим, общедоступным был фарфор.

С фарфора и началась история, которую я хочу рассказать. Впрочем, фарфором она, отчасти, и кончилась.

* * *

Было недоброй памяти лето 1917 года. Невский был покрыт семечками, которые с поразительной быстротой грызли и сплевывали переполнившие столицу дезертиры. Остряки сравнивали эту золотисто-серую, шелестящую, все прибывающую шелуху с пеплом, засыпавшим Помпею. По ночам запоздалые обыватели принимали яркую Венеру на бледном небе за фонарь летящего на Петербург цеппелина и, засмотревшись, не замечали, как их тут же грабили и раздевали догола шнырявшие повсюду налетчики. Троцкий и Борис Савинков в эти дни нередко сидели за одним и тем же «артистическим» столом в «Привале комедиантов». Троцкий хмурился и жевал бородку — это выходило у него удивительно неаппетитно. Савинков охотно читал нараспев только что сочиненные стихи, где говорилось, что все идет к черту и Петербургу «быть пусту». Не помню точно, какой пост он тогда занимал — военного министра Временного правительства или петербургского генерал-губернатора.

В эти фантастические времена я и познакомился с Вихровым.

Познакомился, впрочем, не то слово. Никто нас в обычном смысле не знакомил. Самый факт первой нашей встречи както ускользает у меня из памяти. Когда я впервые его увидел? Не помню. Где я с ним в первый раз заговорил? Не знаю. Помню только лето 1917 года, Россию, расплывшуюся революционным киселем, неопределенность, угар, тревогу. Если сузить поле зрения, то все это — и Россию, и тревогу, и семечную шелуху — закрывают завитушки, улыбки, крылышки и

цветочки бесчисленных экземпляров старинного фарфора. Потом среди кукольных лиц и куртуазно-изогнутых фигурок возникает высокая фигура Вихрова. У него карие грустные глаза, бледное правильное лицо. Он молод — ему лет двадцать пять. Одет небрежно. Роста он довольно высокого и наперекор своей фамилии гладко причесывает на косой пробор рыжеватые короткие волосы...

* * *

Помню поразившую меня сумасшедше-детскую откровенность Вихрова. Он, совершенно не стесняясь, всем и каждому говорил, что монархия будет восстановлена, «разбойники» (так он называл Временное правительство) скоро и жестоко наказаны, что недалек тот час, когда Керенского в клетке повезут в Москву и отрубят ему там на Красной площади голову, как Пугачеву. Удивительней всего было то, что разговоры эти он вел в многочисленных комиссионных магазинах, где обездоленные русские баре, сидя за прилавками, старательно и неумело торговали своим последним добром — картинами, мебелью и, разумеется, фарфором.

Я часто заглядывал в эти магазины: в одном торговали знакомые, в другом можно было пить чай с пирожными, в третьем за бесценок продавались редкие французские и английские книги. Там мне и примелькалось лицо Вихрова и запомнился его громкий хрипловатый голос.

Среди превратившихся в антикваров статс-дам и фрейлин и переодетых в кургузые пиджаки, но не потерявших бравой выправки свитских генералов Вихров был, по-видимому, своим человеком. Он уносил и приносил какие-то вещи, с видом знатока стучал по ободку люстры, озабоченно переворачивал чашки вверх дном, рассматривал в лупу надписи на миниатюрах. Он был своим человеком. Великосветские старушки если и шикали иногда на него, то с явно благосклонным видом. Генералы в приказчичьих пиджаках дружески ему подмигивали. Фарфоровые пастушки и амуры молчали, но, конечно, сочувственным молчанием. Многие из них видели еще Французскую революцию и, наверное, были согласны с Вихровым, что монархию надо восстановить и Керенскому отрубить голову.

Как-то где-то мы с Вихровым столкнулись и стали раскланиваться при встрече. Его взглядов насчет Керенского я не разделял, но что-то в нем самом внушало мне симпатию. Понемногу

мы сблизились. Впрочем, разговоры наши, случайные и короткие, ограничивались книгами и стариной. Он оказался большим знатоком и — что встречается реже — человеком с настоящим вкусом. Вскользь он упомянул о собственных больших коллекциях. Так же вскользь я услышал от него о принадлежащих его семье приисках в Сибири. О политике я с ним обменялся несколькими словами только однажды. На его очередную тираду о «проклятых изменниках» я ему заметил, что ненависть его, кажется, довольно академическая: вряд ли Керенскому грозит опасность оттого, что его враг целыми днями перебирает старинные чашки и статуэтки. Добродушное лицо Вихрова стало вдруг холодным и злым. Казалось, он сейчас ответит мне какой-нибудь дерзостью. Но он промолчал.

Еще недавно ежедневная пушка над широкой гладью Невы обозначала полдень, — петербуржцы проверяли часы. Но вот один-единственный выстрел с «Авроры» гулко, на всю Россию, провозвестил: полночь. Тут и часов не понадобилось проверять.

«Аврора» вошла в Неву и выпустила боевой снаряд в упор в великолепное, беззащитное, растреллиевское создание. Временное правительство кротко сдалось. Савинков из военного министра в мгновение ока обернулся неуловимым «человеком в красных гетрах». По его следам гнались запаленные большевистские ищейки. Они были еще неопытны, расстрелять «человека в красных гетрах» им не удалось. Пришлось удовлетвориться тем, что схвачен и замучен был каждый, вблизи кого эти роковые гетры хотя бы случайно мелькнули, — бравада бывшего цареубийцы дорого обошлась многим ни в чем не повинным людям. Троцкий, который еще недавно, саркастически улыбаясь, слушал декадентские стихи этого «военного министра», сидя с ним за одним столом и даже полупрезрительно чокаясь с ним кисловатым кабернэ, теперь сам был — и много более могущественным — министром. По его приказу — доставить живым или мертвым — Савинкова теперь и ловили. Все в России — еще раз после Февраля — круто, как на вертящейся сцене, повернулось на все 180 градусов.

* * *

Вскоре после победы большевиков я уехал из Петербурга в деревню.

Старинная усадьба в одном из отдаленных углов Петербургской губернии. Холодное осеннее солнце, запах антонов-

ских яблок, голые липы, отражающиеся в озере, большой, еще жарко натопленный, еще дышащий довольством помещичий дом. Медленный уютный быт, пуховые кресла, какие-то необыкновенные блинчики, книги в солидных потертых переплетах, мирные чаепития под зеленой лампой. Как будто нет ни большевиков, ни Савинкова, ни «Авроры», ни опозоренного Зимнего дворца, ни голодных, затравленных петербургских обывателей, ни фарфора...

Фарфор, впрочем, был и здесь, но другой, чем в Петербурге. Он еще чинно стоял на заповедных местах, любовно сберегаемый, родовой, целомудренный, не захватанный чужими руками, непродажный. Но и на этот фарфор я избегал смотреть: он слишком напоминал мне то отвратительное, отдохнуть от чего я сюда приехал.

Был тихий, холодный сине-розовый вечер. Только что выпал снег. Я шел один по лесу, без цели, так, куда глаза глядят. Шел и думал о такой еще недавней и такой безвозвратно-далекой петербургской жизни.

Снег скрипел под ногами шелковым свистящим скрипом. Небо розовело, сосны стояли торжественно и неподвижно. Вдруг я увидел, что совсем близко от меня, перебегая от дерева к дереву, бесшумно движется человек. Я остановился, вглядываясь в него.

Он двигался осторожно и ловко, будто прячась или выслеживая кого-то. В почти белом романовском полушубке его трудно было отличить от снега. «Что он тут делает? — подумал я. — Охотится? Выслеживает лисицу?»

Человек в полушубке пригнулся к земле и быстро побежал наперерез мне. Вот он поравнялся со мной, и я узнал карие глаза и высокий выпуклый лоб. «Вихров!» — хотел вскрикнуть я. Но он повернул ко мне на бегу взволнованное лицо и прижал палец к губам. Через минуту он был уже далеко.

«Быстрее зайца бегает», — подумал я машинально. Самый факт встречи мало меня удивил. В те времена никто ничему не удивлялся. Вихров так Вихров, — не все ли мне равно? Неожиданно в тишине раздался глухой выстрел и где-то близко, с жужжанием пролетела пуля. — Ну конечно, охотится. Но так и меня подстрелить недолго. И я повернул назад из темнеющего снежного леса.

На другой день, когда я еще сидел за утренним чаем, вошла служанка.

— Там вас спрашивает кто-то... Пускать, что ли?

Но мне не пришлось отвечать. Оттолкнув мою Аксинью плечом, в комнату входил Вихров.

— Не ждали? А я к вам чайку попить.

— Откуда же вы знаете, что я тут живу?

Он прищурился и тихо свистнул.

— Ну что и откуда я знаю, об этом слишком долго рассказывать.

Я налил ему чаю. Он стал жадно пить его, улыбаясь и скаля белые зубы, как будто он действительно пришел только для этого.

— Вы вчера охотились в лесу? — спросил я.

Он удивленно посмотрел, будто успел забыть обо мне.

— Да, — сказал он и подвинул мне стакан, — налейте еще, пожалуйста. Ужасно замерз. Да, охотился. Разная охота бывает. И за разной дичью. — И вдруг, вспомнив что-то, полез в ягдташ.

— Вот, я вам русака принес — так сказать, трофей охоты.

И он вытянул за уши большого зайца. Я поблагодарил, и он снова задумался.

— Ну как же насчет Керенского? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — Скоро в клетке повезете?

Он презрительно пожал плечами.

— Мелюзга Керенский. Комар. Улетел, и черт с ним. У нас теперь зверь покрупнее — Ленин, — его-то уж непременно в клетку посадим.

— Что ж, чтобы посадить его в клетку, вы и охотитесь тут? — спросил я смеясь.

Он серьезно взглянул на меня.

— Да, потому и охочусь, — ответил он неожиданно серьезным тоном. — Все организовать надо. И здесь и в Петербурге.

— А удастся?

— Непременно удастся. Уж будьте спокойны. К Рождеству с ним покончим.

Я недоверчиво покачал головой.

— Что-то я не очень спокоен.

— Это уж ваше дело. — Голос его прозвучал неприязненно. — Как вам будет угодно: не верьте — и без вашей веры обойдемся.

Я не стал продолжать. Вихров молча пил чай.

— А в Петербург скоро собираетесь? — спросил он вдруг.

— Недели через две.

— Запомним, — протянул он неопределенно.

Я удивился — с какой стати ему запоминать, но ничего не сказал. Вихров казался мне каким-то странным и неестественным. Спокойствие его было напускное. Видно было, что он возбужден.

Он просидел у меня долго. Время тянулось томительно. Говорить нам было не о чем. Самовар остыл. Наконец он стал прощаться. Я вяло удерживал его.

— Ах да, — сказал он, будто вспомнив. — Вот посмотрите. — Он достал бумажник и вынул из него фотографию.

Я взглянул на нее. Это был снимок молодой девушки, почти девочки, одетой в кисейное платье с оборками. Во всей ее позе, прическе, чертах лица было что-то жеманно-грациозное. Она была похожа на фарфоровую фигурку XVIII века, только глаза, эти черные блестящие глаза, были совсем не кукольными. Они горели гордой и страстной жизнью, они казались совсем неуместными на этом кукольном личике.

— Какая странная, — сказал я. — И прелестная.

Он смотрел на карточку через мое плечо.

— Да, — обронил он. — Я даже не знал, что такие бывают на свете. А ведь — бывают!

Неожиданно он протянул руку и выхватил фотографию, будто ему неприятно было, что я долго смотрел на нее. Я ожидал, что он скажет, что это его невеста. Но он молча спрятал карточку обратно.

— Ну, всего хорошего. Ешьте, не голодайте, живите, не умирайте. — Он крепко пожал мне руку и решительными шагами вышел из комнаты.

В начале декабря я собрался обратно в Петербург. Вихрова я с того дня больше не видел. Да я и не думал о нем.

В день отъезда я пошел пройтись в последний раз по тихим снежным полям. Где-то с карканьем поднялась ворона. Я обернулся. Прямо на меня ехал всадник. От лошади шел пар, из-под копыт летел снег. Подъехав ко мне, всадник соскочил с лошади.

— Слава Богу, поймал вас, — сказал знакомый гортанный голос.

Это был Вихров. Я пожал ему руку.

— А зачем вам, собственно, ловить меня?

Он взял лошадь за повод и пошел со мной рядом.

— Необходимо было до зарезу, — сказал он каким-то трагическим надорванным шепотом. Я посмотрел на него и только теперь заметил, как он постарел и похудел за эти дни.

— Что с вами, — спросил я, — больны?

Он покачал головой.

— Если бы болен! Хуже, гораздо хуже. — Он замолчал и тихо прибавил:— Я погиб.

Несколько минут мы шли молча. Я не решался спросить, что с ним, такой убитый у него был вид.

— Вот, — сказал он и протянул мне сложенный в несколько раз листок почтовой бумаги. — Вы еще можете спасти если не меня, то других. Сделайте это, ради Бога. Отнесите письмо. Там организация. Иначе все погибнут... Пусть уж я, но товарищей предать... — Он не докончил и махнул рукой.

— Думаете, что с ума схожу, — и рот его перекосился, — нет, в полном уме и трезвой памяти. Помните, хвастался, что Ленина в клетке повезем, а вы не верили. Ведь вы правы оказались. Не повезем. И по моей вине.

Лошадь вдруг взвилась на дыбы. Вихров рванул за повод и выругался.

— Так отнесете? Обещаете? Ну, спасибо, — и он крепко сжал мне локоть. — Спасибо. Вам ничего не грозит. Туда еще не добрались, еще неделю самое меньшее, пока доберутся. Только поскорей, — как приедете в Петербург, сейчас же. Ради Бога. Лучше всего — посыльного отправьте. Но и сами можете безо всякого риска. Агафье Михайловне N. Мойка, номер такой-то, в собственные руки. Так пошлете, отнесете? Ну вот. Теперь, как говорится, и умереть можно. Впрочем, умирать мне и так придется. Пришел мне конец.

— Что вы, что вы, Вихров. Еще поживете.

— Нет, конец.

Снег продолжал мягко падать. Все кругом было спокойно, торжественно и чисто.

— Вы торопитесь? — неожиданно спросил Вихров.

— Через полчаса надо ехать на станцию.

Он кивнул.

— Тогда повернем. Я провожу вас. И расскажу вам. Хотите? Ну, так вот.

Вы уже слышали, что у нас организация. Хорошо дело шло, очень хорошо. По всей центральной России связь была установлена. Крепкая связь — как в петле, большевики были. Я стоял — чего там скрывать — во главе. Сам все лично проверял, сам объезжал все. Отлично дело устраивалось, пока не занесла меня нелегкая сюда. Сначала ничего. Работа двигалась. Наладил я что надо и уже в Петербург собрался, как вдруг приезжает она — школьная учительница. Поселилась,

как и я, в пустой помещичьей усадьбе. Ну и Бог с ней. Меня не касается. Только вышло то иначе.

Встретил я ее раз, другой... Беленькая такая, как фарфоровая. Тоненькая — в чем душа держится. И глаза... Ну да, вы видели ее карточку. Познакомились мы. Стал я к ней заходить. Скучала она очень. Свернется на кресле, как кошка, закутается в пестрый платок и молчит. Только глаза блестят. Так и просидит, бывало, вечер. Потом на прощанье скажет: «Спасибо, что пришли, вдвоем легче». А почему легче — не знаю. Ну и я человек не болтливый. Так мы и молчали вдвоем каждый о своем. Печка горит, за окном сугробы... Ничего, хорошо было.

Как-то вечером прихожу я к ней, встречает она меня весело, оживленно. «Гитару, — говорит, — мне из дому прислали. Хотите спою?» Ну, я прошу, конечно, хотя думаю, куда ей под гитару, как цыганке, — ей, такой нежной, фарфоровой. Села она в угол, взяла гитару...

Вихров шумно перевел дыхание.

— Да, с этого все и пошло. С гитары этой проклятой.

Запела она. Голос у ней страстный, высокий, низкий, огненный. Так за душу и хватает. Будто на высоких качелях качаешься — сердце останавливается. И чудесно поет и чуть-чуть отвратительно. И страшно немного. Слушаю, а кровь так и стучит у меня в ушах.

Сидит она передо мной, беленькая, тоненькая и вся как-то светится. Точно фонарь фарфоровый. И поет. Поет без умолку. Одну песню за другой. Я и хочу, чтобы она замолчала — душит меня это пение, — и боюсь, что замолчит. А она смотрит на меня в упор и выводит: «Эти серые глаза, их любить опасно». И я, как сквозь угар, соображаю — про чьи это глаза? Не мои — у меня карие. А у нее какие? Серые. Сообразил — про себя поет. Да, серые у нее глаза и любить их опасно, понимаю это. Но уже люблю, давно люблю, больше всего на свете люблю. А она все поет, поет. За окнами ночь, в доме все спят, мы одни. И чувствую, вот-вот заплачу. О чем — сам не знаю. Слишком мне хорошо, слишком страшно мне...

Вдруг она кончила петь. Так вот и оборвала на полуслове. Положила гитару на стол, встала. «Ну, — говорит, — теперь вы все мне о себе расскажите». Подошла так близко, смотрит мне в лицо. «Ай-ай-ай, какой бледный! Какой нервный! — и смеется легким смехом, будто китайские фарфоровые колокольчики звенят. — Все расскажите — кто вы, и зачем сюда приехали и что здесь делаете». — Ничего я не вижу, кроме ее

глаз, ничего не слышу, кроме ее голоса, хочу сопротивляться и не могу. Как во сне слышу, что сам, сам все ей рассказываю. А она расспрашивает подробно, обстоятельно, как следователь. И я без утайки все говорю, точно в детстве на исповеди, и про себя, и про друзей своих, и про организацию, и что Ленина убить хотим. И уже не стою я перед ней, а лежим мы рядом. Коньяк откуда-то появился, льет она мне его в чайный стакан так полно, что через край переливается. — «Люблю тебя, — говорит. — Белая я, такая же, как ты. Большевиков ненавижу. В организацию вашу вступлю, Ленина сама убью». — И смеется. — «Что же ты не пьешь? Пей до дна, а то не поцелую». — И я пью до дна...

Дурман какой-то. Долго я не догадывался, кто она такая. Пошли неудачи — тот взят, того выследили... Я как слепой. Не понимаю ничего. Выстрел тогда в лесу слышали? Это я невинного человека убил, в предательстве заподозрил. А предатель-то главный, оказалось, я сам, я сам. Сам погиб и друзей своих погубил. И Россию. Так-то.

Мы были уже у ворот усадьбы. Вихров вскочил на седло.

— Ну, еще раз спасибо. Не поминайте лихом. Прощайте, на этом свете уже не увидимся. Только ради Бога, записку непременно пошлите, завтра же, как приедете.

— А она? — хотел я спросить. Но Вихров, круто повернув лошадь, уже скакал назад по широкой снежной дороге.

* * *

Я снова был в Петербурге. Среди множества неприятных дел, которыми сразу по приезде пришлось заняться, было и поручение Вихрова. Конечно, исполнить его было необходимо, притом не откладывая. Но как исполнить, чтобы самому не попасть в какую-нибудь нерасхлебываемую кашу. Вихров сказал — пошлите с посыльным, — но все посыльные Петербурга куда-то исчезли. Наклеить марку и бросить в почтовый ящик? Конечно, это проще всего, но разумно ли доверяться в таких обстоятельствах большевистской почте? В конце концов я остановил свой выбор на двенадцатилетнем Ваське, сыне нашего дворника.

Дворник был человек, на которого можно положиться. Его жена была убита на улице шальным выстрелом с матросского грузовика, и большевиков он ненавидел лютой ненавистью. Я ему объяснил, что дело касается «контры», и

он с такой радостью согласился помочь, точно я делал ему личное одолжение.

Краснощекий смышленый Васька был позван отцом со двора, и ему вместе с «керенкой» на орехи была вручена записка Вихрова. Инструкция была выработана такая: идти с черного хода и, смотря по тому, кто откроет, разыграть соответствующую роль. Если в доме милиция или солдаты, притвориться дурачком — попросить «хлебца», или что-нибудь в этом роде. Если подозрительного ничего нет, — спросить Агафью Михайловну. Если Агафья Михайловна окажется налицо, тогда только сказать о записке, которую с собой отнюдь не носить, а, войдя во двор, спрятать куда-нибудь, например в снег, чтобы на случай встречи с «краснокожими» и возможного обыска — не попасться. Для полноты конспирации записка была упрятана на дно коробки с десятком папирос «Зефир».

Ваську одели похуже и еще раз проэкзаменовали, как и в каком случае он будет поступать.

— Ну, с Богом, — сказал дворник и перекрестил сына широким крестом. — Ну, все помнишь? Не сглупишь, Вась?

— А я разве глупил когда, — ответил с важностью мальчик и, нахлобучив шапку с наушниками, не спеша пошел исполнять очень, по-видимому, ему нравившееся поручение.

Вернулся он через полчаса разочарованный. Коробка с «Зефиром» была свежа и суха — прятать ее в снег моему посланцу не пришлось. Ни Агафьи Михайловны, ни милиционеров, ни одной вообще человеческой души в доме не оказалось.

— Да, и какой же это дом? Одни стенки да полы — вроде вот этого, и Васька кивнул на видневшиеся в моем окне развалины сожженного особняка графа Фредерикса.

— Да ты не врешь? — усомнился я. — Может быть, и не ходил вовсе?

— Нет уж. Вась мой никогда не врет. Если говорит — значит, так и есть.

В тот же день, под вечер, я отправился на Мойку сам. Беглого взгляда на дом было достаточно, чтобы удостовериться, что «Вась» не лгал. Двухэтажный барский особняк зловеще зиял на пустую набережную черными дырами окон. Одни из них были выбиты, другие распахнуты настежь и занесены снегом. Парадная дверь была на запоре, веревка с четырьмя печатями на концах перекрещивала замок. Я наклонился к ним. Слова: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» — отчетливо выступили вокруг серпа и молота на буром, похожем на запекшуюся кровь сургуче.

Окна первого этажа были расположены низко. Без особого труда мне удалось подтянуться на руках и заглянуть внутрь дома.

Я увидел большую, высокую, богато отделанную комнату. Огромная люстра криво спускалась на полуоборванных цепях с лепного потолка, и закат играл на ее бесчисленных хрустальных подвесках. Штофные обои были покрыты инеем, тяжелая ампирная мебель сдвинута и перевернута в диком беспорядке. Несколько стеклянных витрин были разбиты вдребезги, и весь пол комнаты покрыт исковерканным, растоптанным фарфором. Пастушки и маркизы, чашки и вазы, попугаи и китайские мандарины лежали на этом полу, как расстрелянные в братской могиле. Снег уже полузамел их, но то там, то здесь еще виднелись то райская голубизна Севра, то пунцовые розы Мейсена, то жеманно протянутая для поцелуя рука, то манерная улыбка, отражающая блаженную праздность, изящное ничегонеделание, раззолоченный сон ума и души...

8 Заказ 642

НАСЛЕДНИК ПУШКИНА

(Из петербургских воспоминаний)

Русские рижане мало ценят огромное удовольствие — точнее сказать, наслаждение, — легко доступное им и вполне невозможное для русского парижанина или берлинца. Наслаждение порыться в старых русских книгах, отыскать среди разного хлама что-нибудь редкое, любопытное или просто забавное, вдохнуть в легкие благородную книжную пыль и почувствовать себя если не на Литейном, то на Вознесенском проспекте, где-нибудь в заманчивых глухих недрах знаменитого Александровского рынка.

Конечно, и в больших европейских столицах попадаются в русских магазинах старые книги. Но это совсем не то. Их мало, они специально перевезены с выбором и расчетом, каждая из них ждет богатого библиофила, из числа немногих, еще уцелевших на свете, который явится, как прекрасный принц, и купит ее за баснословные деньги. Тут нечего рыться и напрасно рассчитывать на находки. И ни на Литейный, ни на Александровский рынок все кругом совсем, совсем не похоже.

...Стоя на передвижной лестнице в одном из рижских книжных складов, я протянул руку к верхней полке и наудачу вынул пыльный том. На корешке стояло имя поэта, теперь всеми забытого, но которого в свое время сравнивали с Верленом. Не без основания сравнивали. И в таланте и в мучительной судьбе Фофанова много общего с судьбой и талантом «самого нежного и самого беспутного» поэта Франции.

* * *

К собранию стихов Фофанова приложен его портрет в молодости. В сюртуке, очень худой, длинноволосый, руки вычурно заломлены на острых коленях, голова с гривой длинных волос «поэтически» закинута назад.

Помню его и таким... — чуть было не написал я. Это, разумеется, было бы «не совсем точно». Таким Фофанов был лет

за десять до появления моего на свет. И в то же время действительно — «помню» и таким.

Когда в 1910 г., за год до смерти Фофанова, нас случайно познакомили за столиком третьеразрядного ресторана, где мы встретились, — сидело два Фофанова. Один старый, обрюзгший (ему было всего сорок восемь лет, но выглядел он совершенным стариком), давно небритый, с потухшими, маленькими, ничего не выражающими щелочками глаз и рядом другой, в сюртуке, худой, большеглазый, с головой, поэтически откинутой назад, — точная копия только что описанного портрета.

Оба — отец и сын — были сильно навеселе. Оба, размахивая руками, наперебой читали стихи. И стихи у обоих были хотя внешне и непохожие (младший Фофанов был футуристом, о старой и новой поэзии шел у них вечный бестолковый спор), но какие-то в то же время одинаковые. Неряшливый набор слов стертых, как пятаки, или бессмысленных, в которых нет-нет и промелькнет какая-то райская музыка.

* * *

«Они меня погубили». «Из-за них я пью, из-за них умру под забором». «Они замалчивают мои книги». «Они крадут у меня размеры, рифмы, все...» Они... они... они...

Достаточно посидеть с Фофановым четверть часа, чтобы бесконечное число раз услышать это — «они, они, они». С первого же слова знакомства с первым же встречным — будь то оценщик ломбарда, куда он принес женин оренбургский платок, или половой в трактире, или сосед по конке — Фофанов непременно заведет разговор о «них» с жалобами, проклятиями, угрозами, размашистыми жестами и, конечно, россыпью забористых словечек, невоспроизводимых в печати. Причем эти «они» говорится без всяких пояснений, как о чем-то общеизвестном, разумеющемся само собой. Если же все-таки спросить, кто же это они, ответ получится краткий:

— Они? Пробочники!

Пробочники — значит писатели-символисты. Символистов он ненавидит. Пробочники же они потому, что у са́мого, по понятиям Фофанова, главного из них, са́мого ему ненавистного — Валерия Брюсова — есть или был пробочный завод. Завод этот был высмеян Бурениным в одной из его пародий на Брюсова. С легкой руки Буренина этот завод засел в отуманенной тяжелой жизнью и водкой голове Фофанова. Иногда вместо пробочника он еще говорит «Дантесы». «Они», символисты, «пробочники»,

еще и «Дантесы» — убийцы Пушкина. Они разрушают его дело своим кривлянием и «лиловыми ногами» — это раз. Два — они «травят», «замалчивают», «обкрадывают» его, Фофанова, прямого, законного, единственного пушкинского наследника — за то, что он наследник, потому что он наследник.

— И ты Дантес! — неожиданно набрасывается Фофанов на сына, свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним. — Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок. Нет никакого нового искусства. Есть вечная, благоуханная, — он подымает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза, — святая поэзия и есть... — Фофанов кричит на весь ресторан трехэтажное непечатное выражение.

— Целуй сейчас же. — Он роется в карманах засаленного сюртука. — Целуй! — Он тычет в лицо сыну замусоленную открытку с Пушкиным. — Целуй или убью!

Его собственный портрет, сидящий рядом с ним, встряхивает лохматой шевелюрой, закидывает еще выше голову и, равнодушно отстраняясь от открытки и трясущегося отцовского кулака, рассудительным тоном говорит:

— Отстаньте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами мраморная муха.

* * *

Фофанов жил в Гатчине, где-то на самом краю, в самой захолустной части этого захолустного, хотя и «великодержавного» городка. Чтобы попасть к Фофанову, надо было идти по колено в снегу через двор и потом каким-то узким темным помещением, увешанным сбруей и хомутами, пахнущим кожей и лошадьми. Наконец — маленькая облезлая дверца, из-за которой слышится пьяная возня или невнятное бормотание стихов.

К Фофанову можно прийти когда угодно, привести с собой кого угодно. Он не удивится самому неурочному часу, не выкажет недоумения при виде совершенно незнакомого человека. Напротив, кто бы когда ни пришел — он всегда рад. Усадит, закажет стряпухе самовар, принесет папиросы, сам сбегает в лавочку и выпросит в долг какую-нибудь закуску.

Фофанов и по натуре очень гостеприимен. А кроме того, он больше всего на свете боится одиночества.

— Когда остаюсь один — не могу. Сижу вот так с вами, с другим кем-нибудь, и ничего — дышу. А останусь один, и сейчас же начинается... это самое. Мерзко, что кровь-то, кровь

сопротивляется, приливает к голове, к ушам, вот-вот наружу бросится. Не испытывали? Пренеприятнейшее чувство-с. Но посещает меня исключительно, когда я один. На людях никогда, ни-ни. Ну-с... За ваше здоровье.

Оставаясь один, Фофанов начинал чувствовать... давление атмосферы.

Началось это года три назад. Вычитал в календаре или в отделе «Смесь» сведение, доселе ему неизвестное, о том, что воздух имеет вес. Это, и особенно огромные цифры, его поразило. Достал какую-то популярную книжку на эту тему, внимательно перечел. Несколько дней потом ходил молчаливый, задумчивый. После и началось «это самое».

— Кровь-то, кровь — сопротивляется, приливает...

Фофанова возили по докторам, те слушали, стукали, ничего не нашли. Все-таки его лечили, даже в Гагры ездил он на счет М.А.Суворина, в «Новом Времени» которого сотрудничал. Почему именно в Гагры — неизвестно. Знаю только, что в Гаграх Фофанов страшно скучал, сначала, как обещал докторам, держался. Потом — сорвался, запил по своему обыкновению мертвую. Еще в Гаграх в пьяной драке он чуть не убил какого-то дьякона. Тем и кончилось лечение — от таинственной болезни давления атмосферы.

Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных канареек, — все ютятся в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкутся гости.

Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший вице-губернатор, отдаленный от этого своего потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом и не требующая по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы... Приходят и друзья писателя, поэты «старой школы».

Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок Леонид Афанасьев. Он полная противоположность Фофанову — не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно морщится. Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен... черной китайской тушью.

Приходит какой-то «Петр Силыч», фамилию не помню, тоже поэтический «друг былых, славных времен». «Огромный талант, — говорит о нем Фофанов. — А чтец какой — послушайте». Чтец действительно редкий. Читает он громовым голосом, делая трагические жесты, страшно выкатывая глаза и потрясая львиной гривой волос. При этом он страшно шепеляв. «Она, как бабочка, парила над толпой» — есть у Фофанова такая строчка. В передаче «замечательного чтеца» получается явственное:

Она, как бабушка, солила над толпой...

Ходят еще друзья сына — поэты, футуристы третьего разряда, бесталанные подражатели Маяковского или Игоря Северянина. В ссорах о новой и старой школе иногда доходит до драки. Но страсти быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футуристы эти хоть и ниспровергают «все существующее», но от самого своего литературного рождения чувствуют себя ущемленными, несправедливо обиженными — кем? Да все теми же «Дантесами», «пробочниками» — теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, кто ходит в чистых воротничках и обедает за столом, покрытым скатертью.

— Тише, — вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение. — Тише! Я, — надо слышать, как гордо порой произносит он это «я», — я буду читать.

Ты — небо ясное в светилах,
Я — море темное. Взгляни,
Как мертвецов в сырых могилах,
Я хороню твои огни.

Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова в его чтении, даже от неудачных стихов, всегда что-то «распространяется». Какое-то величие неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее между строк. Читает он долго, словно забывшись. Из забытья его выводит голос сына-футуриста.

— Папаша, ей-Богу же, вы — мраморная муха!

Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке.

Фофанов писал:

Я и сам хочу в могилу
И борьбе своей не рад.
И бреду я через силу
Кое-как и невпопад.

Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «Устал», «Не хочу больше», «Хочу в могилу». И в разговорах он постоянно повторял то же: «Не хочу», «Не могу», «Устал».

Но перед самой смертью в нем со страшной силой проснулось желание жить, дикое сопротивление перед этой, уже раскрытой для него могилой. «Не хочу, не хочу, не хочу умирать», — повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим страстным «не хочу» на губах он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в единоборство. Трое мужчин едва его удерживали. Перед смертью в нем — человеке довольно тщедушном — проснулась необыкновенная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул край железной кровати...

* * *

Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шло несколько литераторов из второстепенных, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель хозяин пивной на углу. Но многие плакали навзрыд.

В глубоком трауре, но очень свежая, нарумяненная и набеленная шла за гробом его некрасивая, психически больная жена, которой посвящена одна из лучших книг Фофанова — та самая книга, которую наугад я вытащил из пыльной груды в одной из рижских книжных лавок. Книга, называющаяся... «Иллюзия».

Когда гроб опустили в могилу, поэт-футурист, живой портрет отца, вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, коснулся лба рукой, откинул поэтически голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал: «Наш Фофанов в землю вкопан». И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его уводили, отбивался и выкрикивал что-то о футуризме и мраморных мухах.

КАЧКА

(Отъезд из России)

Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца трудился, как каторжник, над переводом «Орлеанской девственницы» Вольтера. В день я переводил до полутораста строк добротным пятистопным ямбом, избегая неполных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, начатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной, переведены им. При большевиках, по заказу Горького, за «Орлеанскую девственницу» взялся Гумилев. После смерти Гумилева работа перешла ко мне. Целый клад: двадцать одна песня, четыреста строк убористой печати, не считая вариантов. Горьковская «Всемирная литература» оплачивала (и довольно щедро) рукопись по представлении, не стесняясь размерами: пять строк так пять, десять тысяч так десять тысяч. Одна знаменитая седая переводчица сдала таким образом и получила гонорар за Евангелие от Марка, от Луки, от Матфея. Она собиралась перейти на Апокалипсис, когда случайно кто-то ее поймал. На недоуменный вопрос редакции о том, «как это называется», она хладнокровно ответила: «Меня ограбили, и я граблю, где могу». Тогда еще можно было безнаказанно так отвечать.

Я работал над «Орлеанской девственницей» добросовестно и не жалею об этом. Каким-то чудом книга теперь вышла в Москве. Издана она замечательно. Я с удовольствием просмотрел свой перевод, великолепные рисунки, шрифты и бумагу в собрании одного парижского библиофила. Купить мне ее не пришлось. Стоит она что-то около семидесяти латов — цена, может быть, весьма сходная по советским понятиям, но по моим — несколько дорогая.

Итак, десять лет тому назад, в это же приблизительно осеннее время, я переводил Вольтера стихами, и очень усерд-

но переводил. На гонорар за «Девственницу» я решил уехать за границу.

Уезжать была самая пора. Был нэп, и возможность уехать легально, до тех пор вполне «академическая», стала если не легкой, то осуществимой. Год тому назад Блок погиб, потому что разрешение на выезд в финскую санаторию все задерживалось и задерживалось, несмотря на хлопоты очень влиятельных лиц. То же было с Чеботаревской, женой Сологуба. Ожидая в течение многих месяцев обещанного заграничного паспорта, переходя от отчаяния к надежде, — она наконец не выдержала и в неврастеническом припадке бросилась с Николаевского моста в Неву. Процедура выезда из СССР и теперь осталась та же. Те же анкеты, поручительства, прошения, гербовые марки, справки, свидетельства, — но протекало все это много быстрей и, главное, если не всегда, то довольно часто, приводило к желанному результату. Не было и особого риска, как это случалось до нэпа — в ответ на прошение о выезде оказаться в концлагере за контрреволюцию.

* * *

Я решил уезжать и для этого бился над «Орлеанской девственницей», которая, кстати, хоть и написана двести лет назад, ничуть не уступает, порой и превосходит, откровенностью и реализмом красок прославленную «Леди Чатерлей». Неверно было бы думать, что, сколачивая капитал на отъезд, я не готовился к самому отъезду. План задуманного мной «побега» в том и заключался, чтобы все части механизма, с помощью которого я собирался покинуть пределы СССР, были хорошо подогнаны друг к другу. Чтобы не очутиться с деньгами на руках, но без паспорта, или с паспортом, но без денег, или, имея их, задержаться (рискуя, что отберут и то и другое) по какой-нибудь второстепенной причине — отсутствия визы, места на пароходе и т.д. Все это требовало массу хлопот. Не раз надежда уехать от меня ускользала. Не раз — человек слаб — я думал: а не послать ли все это к черту и не закупить ли на гонорар за Вольтера дров на зиму, муки, чтобы печь оладьи, и какой-нибудь «шикарный» костюм, последний крик мастерских «Петроодежды». Если я не поступил именно так, то совсем не благодаря моей энергии и распорядительности, а только потому, что первый раз в жизни мне — как говорят в Одессе — «определенно везло».

* * *

Командировку, по которой я уехал, мне дал некто Пиотровский. Ему было двадцать два года, он заведовал художественным отделом политпросвета. Побочный сын прославленного ученого, эллинист, поэт, мечтатель и... человек, не отличающийся особым умом. Он умер недавно, поэтому я и называю его имя, без опаски навлечь на него неудовольствие предержащих властей. Пиотровского я хорошо знал. Он был коммунист идейнейший и убежденный. В марксистскую доктрину он верил со всем жаром своей молодости, восторженности и... глуповатости. Он был, в общем, славный мальчик, из той породы, что пороха никак не выдумают, но «за идею» с улыбкой пойдут на расстрел. Он бредил мировой революцией и знал наизусть всего Теофила Готье, занимал солидный комиссарский пост и не имел теплого пальто. Я искренне пожалел о нем, услышав, что он умер.

— Я знаю, что вы не вернетесь, — со вздохом говорил Пиотровский, ставя свою подпись на командировке, отправляющей меня в Берлин для ... составления репертуара государственных театров. — Я знаю, что вы останетесь за границей.

И в глазах его, красивых детских глазах, была настоящая тоска. Ужасно не хотелось ему эту командировку подписывать. Но не подписать он не мог. При всей своей революционности он писал плохие стихи «гумилевской школы», состоял в «Цехе поэтов» и в поэтическом плане ощущал меня своим непосредственным «начальством». Кроме подписи Пиотровского, нужна была еще подпись чекистки Яковлевой — ока ГПУ в политпросвете. Яковлева подпись дала. Главное было сделано. Торжествуя, я сам понес документ на два этажа ниже в секретариат «товарища Невского». Требовалась его пометка, но я знал, что после подписи Яковлевой дается она механически. «Половина второго... Через полчаса я могу поспеть в Смольный, заполню там анкету. Через неделю-полторы у меня будет паспорт».

Сухопарая коммунистка, секретарша Невского, взяла бумагу и понесла своему патрону. Я присел на стул. «Сегодня уже в Смольный... Анкету... Через неделю паспорт... Через две...»

Одним словом, ожидая, пока секретарша вернется, я замечтался слегка. Вскоре та же сухопарая девица вернула меня к действительности. Она стояла надо мной. Лицо ее было невозмутимо. Она протянула мне мою командировку. Огромная

свежепромокнутая лиловая клякса, вернее, лужа перерезала ее из угла в угол весьма живописно. Пониже виднелось несколько лиловых же отпечатков чьих-то толстых пальцев.

— Товарищ Невский разлил чернила, подписывая вашу командировку. Так в Смольном не примут. Пусть в художественном отделе перепишут наново.

Я вернулся в художественный отдел. Еще жалобней взглянув на меня, Пиотровский со вздохом велел переписать, со вздохом подписался, со вздохом направился опять к Яковлевой. Когда он вернулся, на его лице было совсем новое выражение — странная смесь недоумения и торжества.

— Вот, — сказал он, отдавая мне обе бумаги. — Вот. Ничего не могу сделать. Товарищ Яковлева не хочет подписывать второй раз. Она сказала... У нее нет времени. Она уехала. Вот.

Он смотрел растерянно и торжествующе. Он был, повторяю, славным человеком и, вероятно, жалел меня, видя, как я огорчен. Но сознание, что грех дутой командировки подозрительному элементу снят с него, было ему явно приятно. Он бормотал что-то, что это не отказ, что можно обратиться в коллегию, что коллегия обсудит... Я его не слушал. С бланками в руках — только случайно я их не бросил — я стал спускаться по лестнице. Дело провалилось. Надо все начинать сначала. И стоит ли начинать?

На площадке того этажа, где помещался секретариат Невского, я столкнулся с сухопарой коммунисткой.

— Это вы, товарищ? — обратилась ко мне она. — Переписали уже? Нет? Ну, все равно. Давайте сюда ваше отношение. Порядок изменен — только что телефонировали. Давайте вашу бумагу — я вам выдам ордер.

Я через шесть дней имел на руках паспорт и через десять — уехал. Ни Пиотровский, ни Яковлева ни о чем не знали. Рисковал я, вероятно, немалым. Но как не сказать, что мне «определенно» везло.

* * *

Не скрою — эти несколько дней до отъезда я провел довольно беспокойно. Правда, перед тем как сдать все документы на окончательное утверждение в Смольный и, следовательно, «сжечь мосты», я посоветовался с одним многоопытным и искушенным в советских порядках человеком, и чело-

век этот меня успокоил — правильность полученного мной «облыжно» ордера вряд ли будет проверяться. «Только уезжайте поскорее». Но еще одно обстоятельство — уже после того, как мосты были сожжены, — ввергло меня в тревогу. За мной стал ходить сыщик.

Выходя из дому или возвращаясь, я его, правда, никогда не встречал. Но стоило мне прийти в германское посольство за визой — на улице я сталкивался с ним, стоило мне обратиться за справкой в пароходное общество — он оказывался в приемной. Он не хлопотал о визе и не брал билетов — он следил за мной, это было ясно. На нем было классическое гороховое пальто, подлая жидкая бороденка, и глаза его неприятно бегали, встречаясь с моими глазами. Он попадался мне буквально каждый раз — это не могло быть случайным. За два дня до назначенного отъезда я отправился на «черную биржу» в кафе Андреева, чтобы раздобыть валюту. Мой незнакомец был тут. Он не покупал ни марок, ни долларов. Он сидел в углу и пил кофе с независимым и скучающим видом.

Он испортил мне много крови, этот человек... Все небо над Кронштадтом было серебряно-огненно-синим. Развалины на ржавых якорях, бывшие когда-то балтийским флотом, беспомощно и грозно чернели на рейде. Последний агент ГПУ, сопровождавший пароход до выхода в море, взяв под козырек, ловко соскочил в катер. Взвилась железная штора над будкой с коньяком, пивом и немецкими папиросами — в знак того, что Россия осталась позади и мы в Германии. Пассажиры затолпились вокруг этой будки. Подошел и я. Вдруг, неизвестно откуда, вынырнуло на меня гороховое пальто, дрянная бородка, бегающие белесые глаза. Я отшатнулся.

— Позвольте представиться, — сказал он. — Миллер, кандидат прав. Тоже изволите ехать... Очень приятно. А я, признаться...

За рюмками скверного «вейнбрандта» мы тут же объяснились. Оказалось, я тоже испортил ему немало крови. Он тоже с трепетом видел меня всюду, где приходилось ему бывать по делам, связанным с отъездом. Он тоже принимал меня за сыщика. И только увидев меня, подходившего к пароходу в сопровождении М.В. Добужинского, он убедился, что ошибся в своих страхах. Он знал Добужинского в лицо и вполне резонно заключил, что знаменитый художник, случайно встретившийся мне и пошедший меня проводить, вряд ли будет дружески прощаться с сыщиком и желать ему счастливого пути.

* * *

Кандидат прав оказался приятным человеком, даже бороденка его была при ближайшем рассмотрении совсем не такой дрянной. Со скуки мы подружились — он даже перебрался в мою каюту, благо места на пароходе было достаточно. Это был никуда не годный пароходишко, звали его «Карбо II». Достаточно сказать, что до Штеттина он плыл пять дней, а на обратном пути пошел ко дну. Качало нас страшно. Однажды ночью тяжелый сундук кандидата прав от качки переместился и загромоздил дверь. Мы проснулись утром наглухо закупоренные. В то утро качка была особенно сильна, нас, несмотря на малую чувствительность к морской болезни, мутило, воспоминание о том, как мы, превозмогая тошноту, оттягивали проклятый сундук от двери, а он все скользил обратно, не принадлежит к числу приятных. Да и помимо качки, ничего приятного в этом путешествии не было. Никакого чувства освобождения, легкости, радости. Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий ветер, мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?

Кандидат прав не разделял моего настроения. Он веселился от души. Он ехал к жене, с которой не виделся пять лет, и ехал, не предупредив, сюрпризом. «Пошлите радио», — советовал я ему, но он стоял на своем. Единственное, что его смущало, — это как попадет он ночью домой — он наслышался уже о знаменитых берлинских подъездах, превращающихся ночью в крепости, а штеттинский поезд приходил в Берлин что-то довольно поздно.

Кандидат прав уговорил меня ехать прямо с вокзала к нему. «Жена нас накормит чем-нибудь, а потом вместе найдем вам гостиницу». Я не знал в Берлине никого и ничего и согласился.

Квартира мадам Миллер оказалась довольно нарядным отелем. Ключа не потребовалось — двери были широко распахнуты и освещены. Пир горой стоял в комнате супруги кандидата прав, когда мы вошли. Было человек восемь молодых людей — каждый из них был решительно лучше моего канди-

дата прав. Две-три подруги хозяйки не оставляли сомнений в том, что подруг своих она выбирает не из чопорной буржуазной среды. Стол был уставлен бутылками, балалайки лихо соперничали с граммофоном. Жена кандидата прав, красивая полная дама, сперва ахнула, увидев нас, потом смущенно захохотала, потом заплакала: она была сильно навеселе. Все это мало соответствовало и приему, на который мы рассчитывали, и тому, что рассказывал мне кандидат прав о скромной трудовой жизни его «голубки» в «тихой квартирке». Я искоса взглянул на него. Лицо у него было кривое, жалкое, бороденка распушилась как-то дико...

Шумные гости, узнав, в чем дело, стали необыкновенно церемонными, начали шаркать, кланяться и ссылаться на неотложные дела. Воцарилась мертвая тишина. Потом кто-то предложил чокнуться по поводу счастливого события. Так в тишине и чокнулись. Я тоже выпил рюмку какого-то фиолетового ликера и, поперхнувшись им, поспешил откланяться. Подобрав в прихожей свой чемодан, я пошел по сияющей светом и оживлением Фридрихштрассе к стоянке такси. Несмотря на то что прошло уже много часов, как я сошел на твердую землю, ноги мои ступали как-то нетвердо.


Рассказы

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПОКОЙНИКИ

1

Косые лучи утреннего июльского солнца, проникая в окна столовой, играли на старинной мебели карельской березы и на свежевыкрашенном полу. «Пан маршалк» — т.е. становой пристав, тучный и лысый, в синем офицерском, без погон, сюртуке — шагал по комнате, прихлебывая из стеклянной кружки золотистый мед. Вид у него был самый благодушный. Вдруг в открытые окна, откуда до сих пор доносились лишь шум листвы и птичье чириканье, полились дробные удары костельного колокола. Пристав остановился, побагровел и жирным, несколько охриплым голосом сердито закричал:

— Михайлов!

Тотчас послышался топот подкованных солдатских сапог, дверь отворилась и — руки по швам — застыл на пороге рослый молодой солдат с лихо закрученными усами:

— Чего изволите-с?

— «Чего изволите», «чего изволите» — попугай, эфиоп, рожа неумытая, — раскричался становой. — Не знаешь будто, чего изволю!Что они, с ума посходили — каждый день хоронят и хоронят. Так у меня в полгода весь уезд вымрет. А ты тоже хорош — мои приказания исполнил?На базаре был? Деревни объезжал? Небось окажется у нас эпидемия какая-нибудь? Не с тебя, с пристава спрашивать будут, пристав, скажут, недосмотрел. Ну что стоишь, глазами хлопаешь — по-русски спрашиваю — отвечай — узнал что?

Переведя взор с начальника на часы с кукушкой, висевшие на стене, и кашлянув, Семен заговорил:

— Так что, ваше благородие, были мы с Сидорчуком в Мишканцах, в Леляканцах, Алотонке, — посыпал он названиями деревень и местечек, — совсем не видно, чтобы много народу умирало. Записано у меня, — он вытащил из-за голенища обрывок синей засаленной бумажки, — с весны в Еленишках умерли пастух Ясь, жена работника и трактирщика сын маленький, круп схватил. В Гавришках...

— Да убирайся ты со своими Гаврищками, — прервал его пристав, залпом выпив полкружки доброго польского меда, — что мне толку в твоем пастухе. Есть эмидемия? Говори!

— Эпидемии по всем видимым причинам никак нет, — ответствовал урядник.

Пристав грузно сел в кресло, потом поднялся и тяжелым шагом прошелся к окну, что-то бормоча. Отогнувшаяся фалда сюртука обнажила желтый ремешок брюк и какую-то тесемочку, свисавшую из приставского кармана. Задумчиво он провел несколько раз пальцем по стеклу и вдруг, топнув ногой, так что фалда сразу приняла надлежащее положение, повернулся на каблуках.

— Как ты себе, братец, хочешь, — загрохотал бас «пана маршалка», — но должен я досконально знать, почему столь неумеренно мрут люди вверенного мне уезда. Я тебя в урядники вывел, я тебя и разжаловать могу — так смотри. — И, помолчав, добавил: — Ступай — завтра обо всем доложишь.

2

Дверь ксендзовского дома отворилась, и из нее выбежала миловидная девушка в крестьянском платье с раскрасневшимся лицом и слезами на глазах. За ней показалась толстая ксендзовская экономка в руках с разбитым графином. «Ото шельма, ото паскуда!» — шепелявила она, брызгая слюнями. И видя, что девушку ей не догнать, она в сердцах запустила в нее разбитым графином и скрылась обратно в доме, хлопнув дверью.

Девушка же, плача, опустилась на садовую скамейку.

В это время в кабинете ксендза происходило какое-то совещание. В кресле спиной к окну сидел приехавший недавно гость — граф Яглонский. Сам ксендз шагал из угла в угол, изредка останавливаясь около письменного стола и читая вслух какие-то записки. Разговор шел вполголоса, шторы были предусмотрительно опущены, двери плотно закрыты. Совещавшиеся и не подозревали, что пара зорких глаз следит за ними из соседней комнаты и уши «москаля», да еще полицейского, внимательно ловят каждое их слово. Наконец граф встал и простился с ксендзом. Оба пошли к выходу. «Так, значит, есть что хоронить», — сказал с усмешкой Яглонский, по-

ворачиваясь на пороге. «Як же, як же, — отвечал ксендз, — но скоро уже и воскресение помаленьку начнется». — И оба засмеялись.

Как же попал ретивый урядник Михайлов в ксендзовскую кладовую и почему так внимательно прислушивался он к тихому разговору ксендза и его гостя?

А вот что произошло. Когда плачущая Марина очутилась лицом к лицу с Михайловым, шедшим к костельному органисту («Может, у него узнаю, от какой хвори люди мрут», — думал он), — первым желанием Марины было убежать. Но тотчас иное решение мелькнуло в ее русой головке, и, быстро смахнув слезы, она улыбнулась уряднику. Тот, считавший себя большим сердцеедом, лихо закрутил усы и хотел было щипнуть благосклонную красавицу, но Марина наклонилась к нему и, быстро-быстро что-то шепча, потащила его в ксендзовский сад, оглядываясь и оживленно жестикулируя.

Злая на экономку, сестру пробоща, в сердцах запустившую в нее графином, который она, Марина, нечаянно разбила, — девушка выболтала уряднику обо всех подозрительных вещах, заметить которые ей удалось за год службы в ксендзовском доме. Михайлов узнал, что к ксендзу почти каждый день ездят разные «паны» и запираются с ним подолгу в кабинете. По ночам он часто уходит пешком куда-то и возвращается лишь под утро.

Марина божилась, что, заглянув однажды в скважину ксендзовского кабинета, она видела, как ксендз считал деньги, много денег, может быть, на миллион «злотых». В заключение она предложила Михайлову провести его с заднего хода в смежную с кабинетом каморку. Пусть сам посмотрит и увидит, что она не лжет.

Урядник колебался, верить ли словам обозленной девчонки (еще на историю нарвешься!), но любопытство взяло верх, и то, что услышал и увидел он, сидя в своей засаде, показалось ему подозрительным. Правда, никакого золота ксендз не считал и сабли («огромнейшей», описывала ее Марина) из комода не вытаскивал, но таинственность обстановки и многие фразы, долетавшие до его ушей, смутили урядника. Когда он тем же ходом выбрался обратно на двор, его лицо (насколько позволяла эта широкая «сияющая» физиономия) выражало крайнюю озабоченность. Наказав Марине никому не болтать — он быстрым шагом направился к становой квартире.

3

День кончился для Марины, как обыкновенно. Подавала ужин, доила коров и, наконец, часу в двенадцатом улеглась на своем узком тюфяке в людской.

Заснула она сейчас же, но сны, посетившие ее, были не похожи на обычные. Казалось девушке, что идет она по сжатому полю. Больно босым ногам, и свет ослепительный жжет и мучит. И вдруг — темно, как осенней ночью, стоит она по грудь в воде. Плещут волны, все выше подымаются, сейчас смоют Марину, и захлебнется она в холодной зыбучей влаге. И сразу как-то не стало ни волн, ни шума — тихо, как на рассвете, полилось сияние синее — и увидела Марина перед собой Богоматерь. Святая дева была как на иконе, в синем плаще и белой одежде, в раскрытой груди пылало красное сердце, только глаза у нее были не спокойные, как рисуют, а скорбные и бездонные. Девушка упала ниц и слышала над собой голос — ласковый и печальный.

— Марина, Марина, что ты сделала, погубила «ты и себя и Польшу».

Тут затрубили трубы жалобные, жалобные, детские голоса запели реквием, и неведомая сила подняла с земли Марину. Богоматери уже не было. В небе чернела виселица, и в висельнике узнала она покойного своего отца. Дико закричала девушка и проснулась. Розовая заря сияла в окошко — Марина проспала рассвет. Ксендз, уже чисто выбритый и надушенный, несмотря на ранний час, снисходительно согласился выслушать исповедь девушки. Неслышным шагом вошел он в исповедальню. Следом за ним вошла Марина.

Несколько минут спустя ксендз выбежал из костела с лицом искаженным и бледным. «Лошадей!» — только и мог сказать он и упал в кресло в изнеможении. Опомнившись, он сказал, что лошадей запрягать не нужно, велел затопить печку. Разбитой походкой прошел к себе в кабинет и стал бросать в огонь какие-то бумаги. Потом, словно обо всем позабыв, вышел без шляпы в сад, машинально поднял совсем зеленое упавшее яблоко и стал его жевать. Мало-помалу лицо его стало принимать выражение твердой решимости. Отшвырнув яблоко, он вышел на двор и крикнул кучера.

Как стрела летел нарочный от ксендза в имение графа Яглонского. Граф еще лежал в постели, когда ему подали большой пакет с церковной печатью. Через полчаса граф

с зеленым изменившимся лицом и небрежно, против обыкновения, одетый мчался уже на своей четверке — в местечко.

В середине костела стоял большой черный гроб. Свечи сияли в большой люстре. Редкие прихожане следили по молитвенникам за словами панихиды.

Граф Яглонский тоже глядел в сафьянный с золотым обрезом томик, сохраняя спокойный вид. Только жила, бившаяся у него на виске, выдавала его волнение. Замолк орган. Ксендз вошел на кафедру... Вдруг в костеле появились неожиданные посетители — пристав, урядник и солдаты.

Пристав потребовал открыть гроб. Ксендз протестовал. Тогда пристав махнул рукой, и солдаты бросились снимать крышку. Несколько ударов саблями — и она отскочила. Покойника в гробу не было — он был весь до краев полон черной землистой массой.

— Порох! — крикнул пристав.

Все шарахнулись. Мгновение длилось молчание, лишь ксендз рыдал, уронив голову на амвон. Вдруг граф Яглонский захохотал дико и хрипло. В протянутой руке он держал пистолет и целился прямо в середину гроба. Солдаты и пристав бросились к нему — но тотчас грянул выстрел, на который ответил громовой рев взрыва.

Следственная комиссия, приехавшая делать расследование, открыла на кладбище целый арсенал ружей, сабель, пороха — все это в гробах переносилось и складывалось в одной из каплиц. Следствие длилось недолго — главные виновники — ксендз и граф Яглонский — погибли под сводами костела вместе с приставом, урядником и шестью солдатами.

МОНАСТЫРСКАЯ ЛИПА

I

Богослужение не начиналось, хотя церковь давно уже была полна. Время от времени румяный служка выбегал на паперть и, приложив ладони к глазам в защиту от солнца, глядел на далеко видную, березами обсаженную дорогу. Постояв минуту, он уходил, немного спустя возвращался снова.

Лейб-гвардии поручику, восемнадцатилетнему Алеше Кожевникову, — только позавчера с разрешения государя Николая Павловича приехавшему на побывку в родные края, — ясно было, что кого-то ждут. Но кого? Хотя Алеша не был в родной Смоленской губернии почти шесть лет — память у него была хорошая, а в уезде мало что за это время изменилось. Все именитые дворяне были налицо. Вот в синем фраке и со звездой старик, тайный советник Сицкий. Вот герой Парижа генерал Андрианов в уланском с красной грудью мундире, с деревяшкой вместо ноги и на костыле. И Коншины, и Зобовы, и Иванницкие — все были на месте. «Неужели Балясного ждут, — подумал Алеша, — велика, подумаешь, персона!» Самое простое, разумеется, было спросить, кого ждут, но вышедший на паперть подышать Алеша стоял далеко от «благородного» места, а любопытствовать у мужика было дворянину неловко и неприлично. «Вот придет — так и узнаю», — решил он. Действительно, вскоре маленький служка сорвался со своего наблюдательного пункта и с криком: «Едут, едут!» — бросился расталкивать мужиков. Те расступились, образуя широкий проход, очевидно для знатного молельщика, чья карета четверней легко катилась по большой дороге. Карета быстро приближалась; уже видна была богатая сбруя, красные колеса и развивающиеся по ветру баки выездного лакея. Наконец резвые лошади остановились, лакей, соскочив с запяток, открыл дверцу с гербами и на ступеньках показалась прелестная красавица, совершенно незнакомая Алеше. Вслед за ней вышел пожилой высокий мужчина, вида сурового и надменного, с грубыми чертами, не лишенного какой-то красоты лица. Он

был одет по-кавказски — в черкеске и папахе. Шелестя шелком, красавица медленно прошла к притвору. Спутник ее, грузно ступая, последовал за ней, бросив слуге перчатки и казацкую нагайку, бывшую у него в руках.

— Кто это? — не утерпев, спросил Алеша, очарованный красотой дамы. Пожилой мужик, удивленно взглянув на офицера, не знавшего таких важных господ, с поклоном ответил:

— Курганов, милостивец. Князь Андрей Ильич и супруга ихняя — Марья Дмитриевна.

Алеша пожал плечами. «Ну, у отца расспрошу, какие Кургановы и откуда. А она чудо как хороша», — думал он, идя вслед за высоким князем к «дворянскому», устланному ковром месту. Молящиеся за ними сомкнулись. Тотчас появился дьякон, и служба началась.

II

В цветном бухарском халате с парчовой шапочкой на лысой макушке, Самсон Петрович Кожевников нисколько не выглядел больным и умирающим. «На одре дней моих нахожусь, чую мрак и хлад могильный, хочу пред тем обнять любезного нашего сына...» — так писал в Петербург Алеше старик отец.

Алексей Самсонович собрался тотчас (отца он крепко любил), гнал почтовых вовсю, думал, только бы застать батюшку в живых, — и приехал, а тот сидит на балконе, трубку курит да чай с вареньем пьет.

С Самсоном Петровичем, оказалось, точно приключился припадок, вроде удара — отеки на ногах до сих пор еще не пропадали... Но живой старик, чуть полегчало, выбросил в окошко банки да мази, прогнал домашнего лекаря из опочивальни, взял ружье и отправился на охоту. Тем и кончились «одр и хлад могильный».

— Да, — восклицал тонко, как, бывало, командовал в Гатчине при императоре Павле, Самсон Петрович.

— Да, Кургановы по богатству не нам с тобой чета. Пять тысяч душ, — а угодья... И не сосчитаешь, угодьев-то. Говорят, — старик понизил голос, — конечно, не всякому слуху верь, только говорят, что он, Курганов, богатство свое украл. Где украл, как украл, — неизвестно, а только — украл. Да и глядя на него, веришь — рожа у него видел, какая разбойничья?

— Я, батюшка, признаться, не разглядел князя. Вот супруга его, та очень хороша.

Старик засвистал.

— Да, брат, женщина первый сорт. Только будь уверен — амуров с нею не заведешь. Строг Андрей Ильич, строг — и поделом.

Старик даже ногой топнул.

— Не суйся к чужой жене. Полгода нет, как Кургановы Бестужевку купили — да здесь поселились, а влюбленных в нее, в Марью-то Дмитриевну, — сколько у нас молодых кобелей, столько и влюбленных. Теперь, как одного молодца — Синюхиной сына — знаешь, — отстегал Андрей Ильич на конюшне, — пылу у них посбавилось, — а до той поры все в освободители лезли. Вырвем, мол, голубку из лап Кащея — хи-хи, — засмеялся-заскрипел Самсон Петрович. Вырвали, как бы не так! А и то сказать — вырвать и следовало бы от этакого мужа. Подлинно Кащеем он с ней обходится.

— Он дурно обходится с княгиней? — Алеша вспыхнул. — Как же?

— А по-разному. В погреб сажает, голодом морит, бьет нагайкой.

— Ее! Ее! Батюшка, не может этого быть!

Отец поглядел на него с усмешкой.

— Коли я, сударь, говорю, значит, так и есть. А ты, дружок, кипятиться на этот счет не думай. Мы люди маленькие. Господин Курганов князь и богач — власти здешние перед ним мальчишки. Пойдем лучше в поле, поищем зайца, — прервал он сам себя и круто повернулся на каблуках к двери.

III

Не спокойным отдыхом на сельском лоне была неделя, проведенная Алексеем Самсоновичем в родной, с детства милой усадьбе, а бессменной тревогой и горячкой. Батюшка жаловался: «Что это, брат, приехал к отцу на побывку, и вечно тебя дома нет. Куда только тебя верхом по вечерам носит! А сидишь дома точно влюбленный — не слышишь, не видишь, — брусничный квас в водочную рюмку льешь. Уж не влюбился ли в Марью Дмитриевну, не освобождать ли ее собрался?»

Старик шутил, но шуточная догадка была справедлива. Алеша без памяти влюбился в княгиню, только о ней и думал и точно — собирался ее освободить.

Две восковые свечи бросали из-под красных колпачков тусклый свет на овальное, с нежным румянцем, безусое Алеши-

но лицо и на смуглую его руку, более привычную держать непокорный повод, чем гусиное перо, как теперь. Морща иногда лоб, останавливаясь, задумываясь и снова принимаясь за работу, Алеша писал:

«...ты видишь, любезный друг Борис, каких усилий стоило склонить проклятую девку быть мне помощницей в этом деле. Но слава Богу, наконец она согласилась. Письмо, где всем красноречием и пылкостью, на которое способно неумелое перо мое, я заклинаю Марью Дмитриевну дать мне свидание, будет завтра доставлено ею ее госпоже. Сердце мое вдвойне трепещет, — ужель откажет, ужель согласится. Отказа, мнится, я не переживу. При мысли о свидании обмираю и холодею, хотя с женщинами не новичок, чему и ты свидетель. Прощай пока, друг Борис, от души тебя обнимаю. Как вскоре что случится, немедля тебе отпишу. А ты пиши, не было ли полку замечания от государя, какая у вас стоит погода (здесь благодать) и кто за какие провинности в отсутствие мое на гауптвахте сидел. Остаюсь твой

Алексей Кожевников».

IV

Духи «Королевский локон», которыми Алеша душил письмо не к товарищу, а другое, заветное, заадресованное: «Ее Сиятельству Марии Дмитриевне княгине Кургановой в собственные руки», — излюбленные Алешины духи капнули и размазали чернила, так что пламенную цидулку пришлось переписывать вновь. Наконец трудная эта работа была кончена, Алеша бережно спрятал переписанное, запачканное письмо, скомкав, сунул в карман и, вскочив на полчаса тому назад оседланного Рыжика, поехал в Бестужевский лес. Здесь, у старой липы, звавшейся почему-то «монастырской», условлена была встреча с дворовой девкой Маланьей, взявшейся передать письмо княгине. Маланья его ждала.

— За ответом, сударь, пожалуйте сюда завтра вечерком в часу десятом. Будет ли вам от их сиятельства письмо или нет, а я свое дело сделаю и вам, как и что, доложу. Только вы, барин, не забудьте, что обещали.

— Ладно, ладно — вот тебе не в счет, чтобы старалась. — И Алеша бросил бабе целковый. Та, схватив монету, ловко поцеловала барскую руку и исчезла.

Обратно Алексей Самсонович нарочно поехал в объезд, чтобы проскакать мимо Кургановской усадьбы. С пригорка открылся ему огромный белый с колоннами дом, оранжерея и службы, столетние тополя и пышные цветники на берегу пруда, где черные и белые лебеди плескались и плавали в золотых отблесках заходящего солнца. «Здесь живет она», — вздохнул Алеша, и сердце его сладостно защемило. Помедлив минуту, он дал шпоры Рыжику и, не оборачиваясь, поскакал домой.

V

Круглая желтая, как дыня, луна отыскала в ставне множество щелей. Струйки света, точно медь, растекались по всем углам Алешиной комнаты и мешали спать. Поворочавшись с боку на бок, он наконец поднялся, зажег свечи и стал читать.

Охотником до чтения он никогда не был, но попавшийся ему роман, неизвестно чей (первый лист книги был вырван), заинтересовал Алешу. Неожиданно для себя он увлекся приключениями гордой Луизы и влюбленного в нее молодого Генриха и не заметил, как луна закатилась, звезды померкли, оплыли свечи и розовая заря позолотила стекла. Алеша поднял глаза, прищурился и удивленно улыбнулся. Впервые он проводил бессонную ночь так мечтательно и необычно. Поглядел на часы — было четыре. Не ложиться же обратно в постель. Вышел на двор, разбудил мужика и велел оседлать Рыжика.

Долго катался Алеша; когда вернулся, солнце, успевшее подняться высоко, ясно озаряло балкон, где за медным самоваром, в ватном халате и ермолке, благодушествовал уже Самсон Петрович.

— Раненько изволили встать, сударь, — встретил Алешу знакомый тонкий «гатчинский» басок. — Что, не спалось? Чай блохи замучили? Ась?

Стадо пропылило по большой дороге; солнце зашло. Заветный час приближался. Алеша поторопился — не было еще и девяти, а он уже привязывал лошадь к одной из толстых, низко свисавших веток монастырской липы.

В лесу было совсем темно, сладко пахло смолой и влажным мохом. Чуть краснели, легко шурша, верхушки деревьев.

От нечего делать Алеша лег под липу. Слушая ровное биение своего сердца, незаметно он задремал.

Когда рука Маланьи коснулась его плеча и громкий шепот — «Барин, барин» — заставил его проснуться, была ночь и луна ярко и пламенно заливала траву и ветки. Хитро улыбаясь, Маланья говорила:

— Пожалуйте, сударь, что обещали, а Марья Дмитриевна вас ждут — оне под липой...

Алеша быстро оглянулся, и точно — закутанная женская фигура светлела в тени дерева на фоне широкого черного ствола. Вскрикнув от радости, он бросил Маланье приготовленный кошелек и кинулся к молодой княгине. Сквозь густые ветки золото месяца озаряло нежные плечи Марьи Дмитриевны, тонкие, заметно дрожавшие ее руки и китайскую желтую шаль.

— Ужели правда вы тут, вы пришли? — шептал Алеша, покрывая холодные княгинины пальчики бессчетными мелкими поцелуями. — Ужели все, о чем я мечтал, сбылось — Марья Дмитриевна, значит, вы согласны бежать со мной.

Молодая дама покачала головой.

— Нет, милый, безрассудство это. Супруга я не могу покинуть.

Алеша отшатнулся даже.

— Как, Марья Дмитриевна! Зачем же, если не хотите мне довериться, вы сюда пришли?

Княгиня повернула голову. Ровное сияние месяца залило бывшее дотоле в тени прекрасное ее лицо. Тихо она проговорила:

— Я не бежать с вами пришла, Алексей Самсонович. Я пришла сказать, что люблю вас.

Голова Алеши закружилась. Чтобы не упасть, он прислонился к дереву. Лицо княгини теперь было совсем близко. И вдруг легкие руки обвили его шею, горячие и чуть влажные полураскрытые губы прижались к его губам. «Милый, желанный, — шептала красавица, — хоть раз, хоть раз в жизни...»

— Барин, барин, — будила Алексея Самсоновича Маланья.

Тот привстал недоумевая.

— Чего тебе?

Потерев глаза, Алеша все вспомнил, ухмыльнулся весело и стал искать глазами княгиню. Марьи Дмитриевны не было.

«Ах я невежа», — подумал он, догадавшись, что заснул и княгиня выскользнула из его объятий, не желая будить. «Ну, что ж делать, — мелькнуло в сонном сознании, — завтра из-

винюсь». И повернувшись, Алеша опять закрыл глаза, собираясь спать.

Тут Маланья снова стала его дергать.

— Барин, времени у меня нет, каждую минуту хватиться могут. Пожалуйте письмецо-то.

— Какое письмецо?

— Господи Боже, барин, нешто вы обеспамятовали. От княгини Кургановой, от их сиятельства.

— А княгиня где?

— Известно где — дома. Что это вы, сударь, чудное спрашиваете. Уж простите, что опоздала. Заминка у нас вышла. Вот письмо-то, — повторила она, протягивая Алеше вчетверо сложенную записку. И помявшись, прибавила: — Должок с вашей милости получить позвольте.

Думая, что девка просит на чай, Алеша сунул руку за пояс и, к удивлению, кроме своего бисерного, нащупал другой кошелек, грубой кожи, с нарочно приготовленными десятью рублями. Он помнил отлично, что отдал этот кошелек Маланье. На поверку, однако, выходило иначе.

— Уразуметь не могу, разве, — обратился он к девке, — я не отдал тебе денег при княгине?

Маланья вдруг захныкала:

— Грех вам, барин, обижать меня, сироту казанскую.

— Да не реви ты!

Алеша бросил ей кошелек. Та мигом успокоилась.

— И с чего мне представилось, — отвечая на свои мысли, продолжал Алеша, — что я отдал его тебе при княгине?

Маланья глупо фыркнула и поцеловала, точно клюнула, барскую руку.

— Шутник барин. Да когда же вы меня при ее сиятельстве видели? Шутник барин! — И еще раз клюнув руку Алексею Самсоновичу, она убежала, сверкая голыми пятками при луне, оставив его с письмом в руках, полусонного и недоумевающего.

VI

«Государь милостивый, Алексей Самсонович, из уважения к почтенному Вашему батюшке и уверена будучи, что дерзость Ваша более от легкомыслия, чем от злого умысла происходит, не сообщаю о ней супругу моему. Покорно Вас прошу более тем меня не тревожить и к особе моей излишний инте-

рес прекратить. А не угодно Вам, так я, как велят мне совесть и супружеский долг поступить, вольна и супругу моему сообщить обо всем не замедлю...»

Вот что писала княгиня. Алеша ворошил русые свои волосы, бегал по горнице взад и вперед. Выходило, что встреча в лесу, признанье, объятья, все, что было, — привиделось Алеше во сне. Но еще губы его, словно чуть обожженные, хранили вкус ее поцелуев, еще от Алешиного мундира чуть слышно благоухало нежными и сладостными духами княгини. Тысячи мелочей предстали в его памяти, укрепляя уверенность, что не сон это, а прелестная явь. Но что же значило письмо княгини? Хитрость? Нежелание продолжать свидания? Или что еще? Ну, а кошелек с десятью рублями, брошенными Маланье и оказавшийся потом за поясом! Но разве сновидения бывают так отчетливы и ясны? Впрочем, Алеше как-то и не хотелось разбираться во всем этом. Знакомое чувство, всегда овладевавшее им после легкой победы, было и теперь... Весь романтизм прошел, судьба несчастного Генриха сразу перестала интересовать. Думая об охоте, смотрах, будущих и бывших пирушках, чувствуя, как славно и крепко сейчас он заснет, с удивлением вспоминал Алеша недавние свои мечтательные тревоги. Он задул свечку, закутался с головой и заснул тотчас же.

Когда на другое утро тряский, работы собственных рессорщиков, фаэтон завернул за горку и открылась белая церковь, кладбище и толкавшийся, по-воскресному одетый народ, — странное чувство наполнило душу Алексея Самсоновича. Давно ли он пламенел и таял, рвался совершать подвиги и преодолевать опасности, теперь же ехал в церковь, движимый простым любопытством — еще раз взглянуть на княгиню. «По лицу увижу», — думал он. Впрочем, в том, что княгиня приходила на свиданье, а письмо хитрость, Алеша не сомневался. Слава Богу, не мальчик! Гвардейскому ли поручику обмануться на этом деле. К обедне Алеша опоздал — когда фаэтон его подкатил к церкви, молящиеся только что начали расходиться. Хлынувшие широкой волной мужики раздались, уступая дорогу помещикам. Вслед за расталкивавшим народ служкой первыми шли Кургановы. При виде княгини прежнее волнение овладело Алешей. Она медленно шла, глядя вниз. Пристальным взглядом он следил, ища на лице княгини утомление или тревогу. Но нет. Ни тени у глаз, ни бледности не было на нем, прекрасном и свежем. И вдруг, словно почувствовав Алешин взгляд, Марья Дмитриевна подняла ресницы и за-

краснелась. «А, голубушка, выдала себя», — подумал Алеша и тотчас же почувствовал на своем плече тяжелую чью-то руку. Отчетливо и глухо старый князь говорил:

— Полагаю, как дворянин, вы не станете марать себя ложью и отказываться, что цидуля эта, найденная на дороге около моей усадьбы, писана вами. Не будем на пустые разговоры тратиться, — завтра поутру будут у вас мои секунданты.

Князь возвысил голос:

— Марью Дмитриевну спасать вздумал! Мальчишка, — закричал он, — безусый!

Но тотчас же он сдержался. И совсем уже спокойно, надменно кивнул Алексею Самсоновичу, прихрамывая ревматическою ногою, быстро пошел к своей карете.

Ошеломленный стоял Алеша, глядя ему вслед, комкая в руках измятую бумажку, где среди мелких с завитушками строк, расплывшись зеленоватым кружком, темнело пятнышко, сделанное попавшими на записку духами «Королевский локон».

VII

«...Ты знаешь, друг любезный, я не трус, рука моя не дрогнула бы, голова не закружилась. Перед поединком был я спокоен, спал отлично, встал поутру бодрый. Но едучи к месту сатисфакции, вдруг представил я свет событий, сплетенных вокруг моей судьбы. Представил и ужаснулся. И точно, с одной стороны, удача, препятствия мною одолеваются, красавица, в которую я влюбляюсь, снисходит на мои мольбы. С другой — все ложь, любовь — обман, ласки — сновидения. Письмо с объяснениями счастливо доходит по адресу, а измятый его черновик я теряю, и он попадает к супругу княгини! Ребячество, скажешь ты, но, когда я приехал и услышал от княжеского секунданта, что драться будем мы у «монастырской липы», именно там, где, бывшая или нет, произошла моя единственная с Марьей Дмитриевной встреча, — мне ясно стало, что буду убит. Предчувствия бывают обманны, гласит мудрость, предчувствие меня обмануло. Я не убит, ранен лишь, в левую руку, через неделю, говорит лекарь, буду здоров. О княгине я стараюсь не думать. Казалось, я вовсе излечился от этой страсти и вот опять с томлением горьким и сладостным вспоминаю о ней. Но нет — это не возвратится! Как только оправлюсь, тотчас же уеду в любезную невскую столицу. Боюсь

только, чтобы Государь не проведал о моей дуэли — а то нагорит...»

Устав писать, Алексей Самсонович встал и подошел к окну.

За последние дни он побледнел немного, у глаз были легкие круги, рука висела на черной перевязи. За окном ясный осенний день клонился к закату. Распахнув створки, Алеша жадно вдохнул свежего, пахнущего сеном воздуха и подумал:

«Через неделю я уеду...»

ЧЕРНАЯ КАРЕТА

1

— Неужели все кончено, Маша?

Он был жалок в своей запыленной визитке, измятой рубашке, галстуке, съехавшем набок. Еще минуту назад он не верил, что это — правда. Он целовал руки Марьи Сергеевны, ее колени, ее хрустящее, пахнущее ирисом платье. Но случайно заглянув в ее лицо, он вдруг понял все. Брезгливая жалость и скука были в этом лице, улыбавшемся когда-то ему с нежностью и любовью. Валентину Валентиновичу стало стыдно своей слабости. Он неловко встал, поправил волосы, попробовал улыбнуться.

— Ну сядьте, милый, ну успокойтесь, — говорила Марья Сергеевна, положив ему руки на плечи и с безразличной ласковостью заглядывая в глаза. — Чего вы от меня требуете, посудите сами. Разве я не любила вас? И разве вам было худо со мной, ну хотя бы в Павловске летом... (Валентин Валентинович только вздрогнул при этих словах.) Но теперь, я не знаю почему — разве в любви мы что-нибудь когда-нибудь знаем, — я больше не хочу этого. Я вас по-прежнему ценю, милый, но...

«Зачем, зачем она говорит все это», — думал тоскливо Лаленков, не слушая больше ласково-беспощадной ее болтовни. А женщина продолжала говорить вкрадчиво и тихо: чуть слышно пахли белые туберозы в узком бокале бакарра, и треугольник вечернего солнца медленно тускнел на затянутом светло-синим сукном полу.

2

Валентин Лаленков был поэт не очень плохой — не очень хороший. Двадцати лет он «подавал надежды» — теперь, двадцати четырех, писал не хуже и не лучше, чем четыре года

назад. Хотя он не любил разные атрибуты «вдохновенных натур» — длинные волосы, бархатные куртки, житье на седьмом этаже, — но как-то сама собой его наружность имела некий поэтический пошиб, несмотря на пробор, жакет и цилиндр, а может быть, и благодаря им. И жил он хотя всего только на четвертом этаже, но в два окна его комнаты видны были крыши и трубы, шныряющие коты и над всем этим чахлые петроградские облака. Комната была холодная, и он с утра зябнул над керосиновой печкой в калошах и в летнем пальто. У Ларенкова никаких доходов, кроме скудных гонораров, не было, и часто ему приходилось обедать через день в кухмистерской, зато от него всегда пахло отличными английскими духами, всегда на нем было безукоризненно-свежее белье. Но на башмаках нередко красовались заплаты, и визитка давно порыжела по краям. На это не хватало денег.

С Марьей Сергеевной он познакомился весной на вечере у знаменитого писателя. Наполовину актриса, наполовину светская женщина — Борисова очаровала его. Этот, длившийся полгода, роман казался серьезным Марье Сергеевне, но мало-помалу она начала им тяготиться. Лаленков, конечно, был красив, был умен и тонок, но его слабость, неврастения, нытье, старая визитка — незаметные сначала, мало-помалу стали Марье Сергеевне несносны. Но, видя его все возраставшую страсть и любовь, она все откладывала свои объяснения. Наконец решилась.

Это был страшный удар — неожиданный и невозможный!

Конечно, надо было быть мужчиной, взять себя в руки, попробовать влюбиться в какую-нибудь хорошенькую модистку, и все бы прошло. Но Лаленков ничего этого не сделал. Он третий день не выходил из дому, писал нелепые стихи, рвал их и жадно курил папиросу за папиросой.

Синие клубы дыма густо плавали по комнате, печка попыхивала и все сильней начинала пахнуть гарью, — это значило, что дневная порция керосина приходит к концу. Лаленков бросил папиросу, откинулся на стуле и поглядел на часы. Было половина четвертого.

Он медленно встал, пристегнул воротник и повязал галстук. Раскрыл бумажник. Три рублевых грязных бумажки лежали там и новенькая сторублевка. Лаленков взял ее в руки и горько улыбнулся. Еще одно воспоминание о Марье Сергеевне!

Это была поддельная сторублевка, отпечатанная только с одной стороны. На другой — красовался прейскурант извест-

ной шоколадной фабрики. Сторублевка эта была приклеена к безвкусной бомбоньерке, изображавшей несгораемую шкатулку. Это было одно из «павловских» воспоминаний. Порвать ее? Нет, пусть лежит!

Лаленков захлопнул бумажник и надел пальто. Через минуту он был на улице. Странно было идти ночью по невскому льду. Днем была декабрьская оттепель и легкий, чуть морозный ветер напоминал весну. Выходя из дому, Валентин Валентинович не знал, куда идти. Теперь он вспомнил, что открыты ночные чайные, где извозчики и сенные торговцы, разные беспаспортные и мелкие жулики при свете газа пьют пахнущий содой и мылом чай из пестро раскрашенных кузнецовских чашек.

«Хорошо бы взять извозчика, до Сенной далеко. Нет, денег жалко!..»

Куранты тихо и жалобно играли четыре.

3

«Ягода» состояла из трех комнат. Первая, полукруглая, с буфетом, где среди опрокинутых чашек, наваленных грудой булок и двух синих, одна с лимонами, другая с папиросами, ваз глядело плутоватое лицо хозяина-ярославца; вторая — проходная и неуютная и третья, называвшаяся «занавеской». Эта и была самою главною.

В первых двух комнатах сидели люди солидные — зеленщики, извозчики, старикашки какие-то, пившие чай с блюдечка до седьмого пота и после долго крестившиеся на запыленные, мерцавшие в углу образа. В «занавеске» образа не было и шапок снимать не полагалось. Народ, толпившийся в ней, был самый непутевый.

Тускло мерцал газ, делая лица мертвенно-зелеными; дым от дрянных папирос был так густ, что трудно было дышать. Лаленков вошел, отыскал место в углу и заказал чаю.

Платить надо было вперед. Раскрыв бумажник, он озябшими пальцами не сразу вытащил измятую рублевку. Бледнолицый и заспанный мальчишка-половой пристально как-то поглядел на Лаленкова. Но Лаленков этого не заметил.

Орган играл «На сопках Маньчжурии», дребезжа и фальшивя; Лаленков слушал, прихлебывая противный чай, и сердце его слабо щемило. Какие-то девицы в больших шляпках визжали уличную песенку. «Точно все это было, — думал Ла-

ленков, — выдумано каким-нибудь художником, фантастом, или поэтом... Ах, Маша...»

— Что, сударь, один сидишь? — проговорил голос хриплый, но приятный, и пристально глянули на Лаленкова светло-серые дерзкие глаза. Говорившему было на вид лет двадцать: из-под мятого картуза выбивались белокурые волосы. Одет он был в серое, очень потрепанное пальто.

Валентин Валентинович смотрел на незнакомца, так неожиданно подсевшего к нему и вступившего в разговор, не зная, что отвечать. Тот, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Если вам, сударь, наше общество не по вкусу, как желаете — неволить не будем, а только видим мы, что сидите вы, господин скучный, словно у вас горе или зазноба. Может, хотите размыкать и думаете — нечем? Так мы на этот самый счет... Или не желаете?

Лаленкову понравилось неожиданное и чуть-чуть жуткое предложение отправиться в какую-то еще неведомую ему чайную на Обводном, где вместо этого баловства (парень презрительно кивнул на чай) найдется кое-что получше. «А ведь я никогда не пробовал их напитков, — думал Лаленков, знакомясь с тремя какими-то вовсе уж подозрительными товарищами нового своего приятеля. — Только, должно быть, гадость... А, все равно!»

На улице к рассвету похолодало. Шли пешком, говорили мало. Спутники Лаленкова точно стеснялись, словно жалели, что взяли его с собой. А он и хотел бы заговорить с ними, да не знал как и о чем.

— Далеко еще?

— Да, порядочно. Чайная-то за вокзалом.

— Сейчас, должно быть, часов пять.

— Больше, шестой.

И снова мирные, не в ногу шаги по обмерзшему тротуару.

4

Первое впечатление было то же, что в «Ягоде». Только точно вошедшие сразу попали в «занавеску». Степенной публики здесь вовсе не было. Галдеж, дым, ругань и хриплая музыка странно поражали после предрассветного холода пустых улиц. Хозяин чайной встретил спутников Лаленкова по-приятельски, но на него покосился и чуть слышно спросил:

— А это что за птица?

— Катенька в гнездышке, — отвечал тот самый, светлоглазый, что первый заговорил с Лаленковым. И хозяин сразу заулыбался, распахивая перед ними красную потрепанную портьеру. «Пароль, должно быть, ихний воровской», — подумал Валентин Валентинович и, оглядев комнату, усмехнулся: «Ну и местечко!»

Мебели всего и было, что ломберный стол да несколько облезлых венских стульев. Стены залитые, грязные, все в надписях и рисунках. И у стены, занимая добрую половину комнаты, стоял рояль. Лаленков взял аккорд. Рояль был расстроен донельзя.

Но уже дребезжа стаканами, звероподобный хозяин вносил поднос, где в двух больших чайниках плескалась темно-красная, остро пахнущая жидкость.

Погиб я мальчишка.
Погиб — навсегда.
В чужбине год за годом
Пройдут мои года.
Последний денечек
Гуляю с вами тут.
В черной карете
Меня увезут... —

звонко и чисто пел какой-то оборванец, хрипло и нестройно вторила ему вся компания.

Первый глоток дурманящего напитка был ужасен. Но сразу как-то затуманилось сознание, действительность и выдумка слились в одно. Как очутилась на коленях у Лаленкова рябая какая-то девица, как он налил себе второй стакан отвратительной смеси? Серый туман стал желтым, синим, лиловым, расплылся в узоры, завитушки, пятна, точно китайские ширмы.

Рыжеволосый хозяин сквозь туман глядел вызывающе и лукаво. Его лицо то скрывалось, то вновь становилось поразительно ясным и похожим на лицо фавна.

— Ты фавн, — сказал Лаленков, удивленно улыбаясь. — Первый раз тебя вижу. Ты хочешь денег — вот, бери!

Вытащив бумажник, достал две последние свои рублевки и протянул мужику. Но тот не брал и глядел в руки Лаленкову.

— Что ж, барин, скупеньки больно, сотенную разве разменять не прикажете?

Лаленкову вдруг стало весело. Этот фавн думает, что сторублевка настоящая. Что ж, пусть думает. Но сторублевки он не отдаст, ведь она Машина. Маша... Слезы вдруг брызнули из глаз Валентина Валентиновича. «Зачем я здесь, среди них, ведь это оскорбление ее, солнечной, звездной, чудной!»

— Прочь, — крикнул он вдруг громко, так, что все обернулись. — Прочь! Сторублевка, да не для тебя, Машина она, неразменная. — И, криво надев цилиндр, качаясь, но гордо, ни на кого не глядя, он пошел к двери.

Плиты на тротуаре не гладко лежали, как всегда, а громоздились и пятились. Косые фонари качались по ветру: дома вдруг сдвигались и надо было поворачиваться и обходить за версту. Мысли путались: «Маша... ах, Боже, бросила, погубила, стихи... Какие стихи?.. Почему в чайной дурманящие напитки продают фавны?.. Ах, обман, все обман... Черная карета!» Лаленков остановился и вздрогнул. Черная карета! Он прислушался. Легкий, легкий топот копыт становился все громче. И Лаленкову вдруг стало невыразимо страшно.

Сознание сразу просветлело: ну да, это Дворцовая площадь! Александровская колонна темнела на светающем небе. Синие облака, четко клубясь, плыли за ней, и ангел с крестом точно не благословлял, а грозил ему, Лаленкову. А там, над красной аркой, летели черные вздыбленные кони...

С треском упал и покатился цилиндр.

— Скорей, скорей на лед, через лед!

Проскрипели деревянные ступени мостков. Лаленков оглянулся. Нет, поздно! Черная карета уже мчалась по набережной. Пламя вырывалось из ноздрей вороной четверки, пламя светило из окон. На козлах сидел рыжий фавн, улыбаясь хитро и хищно. Лаленков, как птица, отчаянно взмахнул руками и, свернув с перехода, побежал вдоль по обледенелому снегу. Нет, поздно! Жаркое дыхание коней обдало его, и больно ударило в бок тяжелое копыто.

5

Арестованный на месте убийства Андреев, после недолгого запирательства, рассказал, что он завлек убитого в чайную-притон, надеясь, напоив, выманить у него сторублевку. По словам Андреева, убийство произошло случайно. Проследив

убитого, он решил напасть на него на льду и обобрать, последний же оказал отчаянное сопротивление и защищался: грабитель будто бы нечаянно произвел убийство. При покойном найдена паспортная книжка на имя сына коллежского советника Лаленкова, бумажник с бомбоньерочной сторублевкой и письмами некой Марии Борисовой, а также шестнадцать копеек медью.

Лиловая с белым английская чашка со звоном упала, обливая горячим шоколадом синее сукно пола и свежий лист только что развернутой газеты. Вошедшая на шум горничная всплеснула руками и с криком: «Марье Сергеевне дурно», — выбежала из комнаты.

КАРАЧАЕВСКИЙ ОСОБНЯК

1

Студент Иллинг, давнишний житель Васильевского острова, очень удивился, увидев, что ворота Карачаевского особняка раскрыты настежь, какие-то люди вносят чемоданы, тюки, баулы и усатый господин в сером костюме громко распоряжается, стоя на ступенчатом, с двумя желтыми колоннами, крыльце.

Карачаевский особняк Бог знает сколько лет стоял заколоченным и нежилым, и ходила о нем дурная слава — дома с привидениями.

«Ну, — подумал Иллинг, — если тут и водились духи, то, должно быть, повыветрились за пятьдесят лет».

И весело свистнув, он продолжал свой путь к университету.

2

Аркадий Павлович Воронов был очень доволен, когда после долгих поисков нашел наконец то, что хотел. Тихое безлюдное место, совершенно отдельный дом, даже дурная слава, о которой предупреждал его поверенный, все, как нельзя лучше, ему подходило. Вынужденный покинуть свое минское имение из-за близости войны, он искал покоя, уединения и полной нестесненности прежде всего. Особняк на Васильевском, как нельзя лучше, соответствовал всему этому. Контракт на два года был подписан сейчас же. И теперь Воронов, не жалея денег, торопил с ремонтом, чтобы кончить все к приезду жены. И когда, неделю спустя, красивая, смуглая брюнетка, с любопытством оглядываясь, вышла из прокатного автомобиля, все в Карачаевском особняке было выкрашено, перелицовано и уютно.

3

Шторы были опущены в большой квадратной комнате. Мягкий свет из-под сиреневого колпака ровно падал на желтую карельскую мебель, на белую медвежью шкуру, освещал смугло-

бледное лицо и очень яркие, точно накрашенные губы Анны Васильевны, полулежавшей на старинной кушетке.

— И ты не выйдешь из этой комнаты, пока я не вернусь. Ты не будешь ничего писать, ни с кем разговаривать. Помни, что Финогену разрешено прибегнуть к силе, если ты будешь непослушной.

— Я буду послушна!

— Ты знаешь, что солгать мне нельзя. Помнишь, как ты хотела утаить от меня правду! Помнишь, помнишь!

Женщина ничего не отвечала, только вздрогнула всем телом.

— Тогда я тебя щадил, теперь буду беспощаден. Но ведь ты будешь умницей, — вдруг переменил он суровый тон на ласковый, — да?

Воронов склонился к жене:

— Ну спасибо, что будешь, я скоро вернусь. Ты читала новые книги, что прислали от Вольфа?

— Нет еще.

— Ну вот, почитай. А я тебе привезу тертых каштанов.

И, поцеловав жену и улыбнувшись ей так ласково, точно не он две минуты назад угрожал ей, Аркадий Павлович вышел.

4

Оставшись одна, Анна Васильевна продолжала сидеть с безучастным и сонным выражением лица.

Потом раскрыла наудачу желтый томик французского романа и стала читать.

Прежде она плакала и тосковала, оставшись одна, теперь, после пяти лет замужества, она привыкла к дикой ревности Воронова, так же как к его порою нежным, порою неистово-грубым ласкам.

Любила ли она мужа? Она и сама не знала. Перед ним она чувствовала себя рабой и повиновалась ему слепо, не рассуждая.

Он взял ее неопытною, еще совсем юною девочкой из бедной семьи, окружил роскошью и комфортом. Первое время ей льстило сознание, что она важная барыня, жена богатого и блестящего помещика. Но скоро ей стало ясно, что она не более как жалкая пленница в пышной тюрьме. Тогда отчаяние овладело Анной Васильевной. Она строила планы, как ей освободиться, бежать, жить своим трудом. Но едва смутные и горячие ее мечты принимали реальные формы, неисполнимость их становилась очевидной. Бежать? Но муж найдет ее хоть на краю света! А не найдет, так чем она будет жить? Трудиться? Она ничего не умеет делать. Оставалось одно — жить, как прежде. По очереди принимать нежные ласки и гру-

бые оскорбления и не сметь без разрешения мужа взглянуть в окошко или позвонить по телефону.

5

Хотя Анна Васильевна и сидела по большей части взаперти, все же Иллингу, проходившему мимо Карачаевского особняка в день не меньше четырех раз, удалось ее увидеть дважды. Если при первой встрече он подумал только: «Какая красавица» — и вздохнул, то во второй раз решительно почувствовал себя влюбленным.

Иллинг был юноша со средствами. Щедрые на-чай дворнику скоро открыли ему всю подноготную новых господ. Воображение его быстро и довольно верно дополнило то, чего дворник не сумел ему сообщить. Она не любит мужа: он ее похитит!

Какое романтическое приключение!

И подумав минуту, он достал из бумажника 25 рублей.

Свои наставления он закончил следующим:

— Ты получишь втрое больше, если исполнишь все, как я приказал. Слышишь?

— Слушаю, ваше сиятельство, — был ответ.

И действительно, умный ярославский мужик оказался недурным сообщником. Он повредил электрические провода, он же привел в квартиру Воронова «постоянного» монтера. Разумеется, это был Иллинг. Как ни строг был Аркадий Павлович, Иллингу удалось обмануть его внимание. Он сумел переговорить с Анной Васильевной, заинтересовать ее и увлечь. Электричество было поправлено, монтер ушел. Но то, чего Воронов боялся всего больше, случилось. При помощи дворника-ярославца между Анной Васильевной и Иллингом началась переписка.

6

Пианино стало играть по ночам; шарканье туфлями в гостиной, странные, точно из-под земли голоса, скрипенье половиц, словом, все признаки сверхъестественных жильцов наполнили с некоторого времени старый дом.

Анна Васильевна плакала. Воронов выходил из себя, служили молебен, обшарили все углы, но ничего не помогало. Карачаевский особняк оправдывал свою нехорошую славу.

7

Стрелка приближалась к 12 ночи. Воронова не было дома, неотложные дела заставили его уехать на день. Анна Васильевна сидела в спальне не раздеваясь, словно ждала чего-то. Наконец, вздохнув, она отодвинула кресло, подошла к зеркалу, расстегнула лиф, взялась за шпильки, и тотчас ее прическа каштановым золотом рассыпалась по обнаженным плечам. Но вдруг она вздрогнула и прислушалась. Стук замер на мгновение, и вновь послышались по стеклу три дробных удара.

Анна Васильевна быстро подошла к окну и открыла форточку.

— Это вы, — шепотом произнесла она.

— Да, да. Вы готовы?.. Скорей, ради Бога...

Как в лихорадке, она собрала свои вещи, платья, драгоценности в чемодан. Потом распахнула окно, сильная рука ее подхватила.

Несколько минут спустя Анна Васильевна покачивалась на эластических подушках автомобиля, а Иллинг почтительно и восторженно целовал ее руки, шепча:

— Ну вот, ну вот вы и свободны.

8

Наутро к Аркадию Павловичу вызвали доктора. Опасались паралича, так страшно побагровел он, когда, вернувшись на другой день, встреченный испуганной прислугой, он вбежал в спальню и среди беспорядочно разбросанных вещей увидел маленькую голубую записку:

«Не пытайся вернуть меня, ты мне лгал, грозя, что можешь сделать это насильно по этапу. Теперь я знаю, что вольна бросить жестокого и нелюбимого мужа. Я это и делаю.

Анна».

Воронов бросился в полицию, на его заявление только пожали плечами и подтвердили все то, что писала Анна Васильевна. И когда неделю спустя к нему явился молодой щеголеватый адвокат и самоуверенно попросил выдать ему бумаги его клиентки, он не спорил и не горячился.

9

Аркадий Павлович переселился в Европейскую гостиницу, завел легкомысленные знакомства, стал кутить.

Казалось, он совершенно покорился судьбе, забыл Анну Васильевну и свою страсть.

Но когда на рассвете он приезжал домой и неверной походкой подымался по ковровой лестнице, лицо его, отраженное бледными зеркалами, искажала мучительная тоска. И никто не знал, какие приступы бешеной злобы овладевали им, какого страшного усилия воли стоило ему себя сдерживать, чтобы не расшвырять, не разгромить все вокруг себя.

Но утром он вставал с видом равнодушной скуки. Дымя после шоколада ароматической папиросой, он лениво перебирал в уме, как провести этот день изысканней и веселей. Потом заказывал себе мотор и очертя голову бросался в пеструю сутолоку столичной жизни.

10

Однажды, когда элегантно одетый Воронов собирался ехать к одной из своих новых приятельниц, в дверь постучали.

— Войдите, — небрежно бросил он, застегивая перчатку.

— Аркадий!

Смугло-бледная, с яркими, точно накрашенными губами Анна Васильевна стояла в дверях; прежде чем он успел опомниться, она подошла к нему и заговорила быстро, порывисто и страстно:

— И вот я пришла. Тот мальчик, который увез меня, был со мной нежен и ласков, он исполнял все мои капризы. Но чем больше проходило времени, тем яснее я чувствовала, что только тебя люблю, только тебя люблю. Послушай, ты видишь, я вернулась к тебе сама...

Но лицо Аркадия Павловича странно менялось, пока она это говорила.

— Что с тобой, Аркадий, ты сердишься?

И вдруг Анна Васильевна вскрикнула.

Он грубо взмахнул рукой, ударил ее в плечо, в грудь, еще и еще. А когда она, не плача уже, только вздрагивая, оскорбленная, опустилась в кресло, он ползал у ее ног на коленях, целовал подол ее платья и шептал:

— Анна, счастье мое, прости.

АКРОБАТЫ

> Как мой китайский зонтик красен.
> Натерты мелом башмачки!
>
> *Анна Ахматова*

I

Еще зимой кое-какие развлечения доставались и на долю нашего уездного городка. То заезжий футурист даст поэзовечер, обязательно с дебошем и свалкой в виде финала, то безголосая знаменитость из столицы или из «большой провинции» соблаговолит демонстрировать себя по повышенным ценам. Не дрянная драматическая труппа, так скверная опереточная, лектор какой-нибудь на худой конец, так что редкую неделю на площади, на афишном столбе, не красовалось розовой, синей или зеленой «простыни» с восклицательными знаками, указующими перстами и неизменным («жирным шрифтом»): «Только три дня... цены местам...»

Но летом наступало совершенное затишье. Дачники у нас не жили, местность была очень непривлекательная. Степь на все четыре стороны, ни реки, ни леса на 20 верст кругом вряд ли способны были кого-нибудь соблазнить. Так что кто мог, на лето спешил уехать. Оставались в городе только мелкие чиновники, лавочники, беднота, да пять-шесть старожилов, которые так уже к нашей Бобровке привыкли, что и пыль, и грязь, и духота ее казались им естественными, приятными и необходимыми даже.

Александр Матвеевич Лукьянов из старожилов был самый старый и, так сказать, самый неколебимый. Выезжал из Бобровки он во всю жизнь только три раза: на рождение внучки в соседний уезд, на похороны той же внучки туда же и в Москву по какому-то таинственному обстоятельству, говорили, будто бы жениться по объявлению. Подлинно ничего не было известно, знали только, что в Москве Александр Матвеевич пробыл целую неделю, уезжал веселым, приехал мрачнее тучи. Мрачность его, впрочем, скоро прошла, но в разговорах, особенно по вечерам в палисаднике с мимо проходящими знаком-

цами, появились чуждые ему доселе вздохи о бренности всего земного, о суете сует и прочем. Вскоре после поездки в Москву Александр Матвеевич завел трех кошек, и, когда его спрашивали, зачем ему кошки, да еще целых три, грустно покашливая, говорил:

— Старость приходит, за сорок перевалило, скучно одному...

— Вот женитесь, — подзадоривали его собеседники из молодых, — жена всех ваших Васек и утопит.

Александр Матвеевич отмахивался только:

— Нет, я уже старый холостяк, конченый.

II

От почтмейстера, в чьем ведении летом находился гимназический манеж, единственное в Бобровке здание, подходящее для концертов и спектаклей, до наборщиков типографии Смитса, которым в необычное время пришлось заняться изготовлением «простынь», все были поражены появлением в городе в июле месяце «труппы всемирно известных акробатов и гимнастов, имеющих дать ряд эффективных и сенсационных представлений».

У наборщиков руки так и чесались набрать «только три дня», но заезжие гимнасты оказались потароватее на время. «Только неделю, проездом в Петроград, Москву и Одессу» — красовалось внизу афиш «Цены местам»...

III

Надо было пройти двор, потом садик, завернув за угол, одолеть скрипучую, очень тяжелую на подъем дверь, и тогда уже по коридору можно было благополучно добраться до помещения, занятого приезжими акробатами. В большой полутемной комнате за круглым столом сидели два подростка, жадно уплетавшие еду, какую именно, в сумраке трудно было разобрать. Обедавшие, казалось, были очень голодны, ели жадно и торопливо. Наконец один, на вид старший, положил ложку, встал и закурил папироску.

— Слушай, Ваня, — заговорил он тихо, — ну что ты ломаешься, право, уже согласился было, и теперь опять. Ничего же стыдного в этом нет, никто и не узнает. И разве ты не помнишь, для чего мы все это делаем?

— Я помню, Алеша, только...

— Что только? Мне досадно, право. И я, и Анна Станиславовна, все стараемся, а ты не можешь сделать такого пустяка. Не надо было тогда и начинать всего этого. Ехали бы...

Младший отвернулся, свет из занавешенного окна мягко упал на его лицо. Это был еще совсем мальчик, светлоглазый, бледный, с длинными ресницами и темными бровями. Белокурые волосы его были коротко подстрижены.

— Алеша, — сказал он, — я обещал и не думаю отказываться. Но вдруг я не сумею...

Тут растворилась дверь и в комнату вбежала полная дама лет сорока, пестро одетая, с большой корзинкой в руках, из которой неслись какие-то пронзительные звуки. С хохотом дама поставила корзинку на пол, и из нее тотчас же выскочил небольшой, отчаянно визжащий поросенок.

— Вот и я, вот и я, — прискакивая, пропела дама. — Что, каково животное? — показала она хлыстом на поросенка. — А? Каково? Одобряете?..

— Вы молодец, Анна Станиславовна, — с чувством сказал старший подросток.

Младший же снова повернулся к столу и занялся едой.

IV

Мы забыли пояснить, что Александр Матвеевич был купеческий внук. Батюшка его, по слабости здоровья и обеспеченному достатку, занимался одним пчеловодством, сам же Александр Матвеевич вовсе ничего не делал. Он попросту проживал в собственном двухэтажном сухом и теплом доме, где хозяйство было налажено прочно и благополучно еще покойной бабушкой Елизаветой Сергеевной.

Нашему старожилу, как одному из видных граждан Бобровки, предстояло решить важный вопрос: покупать ли ему на предстоящее представление ложу или ограничиться билетом 1-го ряда? Решено было — ложу. Удобнее не в пример: в креслах, что на тычке, негде и расположиться. Да и разница в цене была невелика — всего рубль семьдесят пять копеек.

С утра ключница лукьяновского дома хлопотала над фраком, рубашкой и черным атласным пластроном, которые предстояло надеть Александру Матвеевичу. Жаркое солнце, падая на широкие окна второго этажа, золотило круглое, неуклюжее зеркало в палисандровой раме и отраженную в нем, с

намыленными щеками и гладко выбритым подбородком, физиономию Александра Матвеевича. Он сидел у зеркала уже с полчаса, но бритье подвигалось медленно. Казалось, бритва, долго не извлекавшаяся из красного кожаного, с тиснением на крышке «Москва. Тверская...» футляра, навела его на какие-то отдаленные и меланхолические воспоминания. Наконец ключница, немного приотворив дверь, громко закричала:

— Барин, идите кушать.

Дремавшая в зеленой клетке канарейка проснулась и засвистала вовсю, и бритва Александра Матвеевича снова заработала быстро. Скоро щеки оказались совершенно гладкими.

Александр Матвеевич встал, складывая бритву, он косо поглядел на красный футляр и золотую надпись, улыбнулся в усы и разнеженным голосом прошептал:

— Эх, женщины, женщины...

V

Трюки заезжих акробатов оказались довольно нехитрыми, но публике понравились. Особенный успех имел мистер Джон О'Гратэн в цилиндре и жилетке, явно перешитой из североамериканского флага. Половина ее была в звездах на синем фоне, другая же — в розовую полосу и очень напоминала тюфяк. Мистер О'Гратэн искусно глотал носовые платки, прыгал через голову, раздавил ногой сырое яйцо и немедля вытащил его неповрежденным из собственного уха.

Сенсацию произвел живой поросенок с погремушкой на хвосте, неожиданно появившийся в первых рядах. Носясь по театру и визжа, он честно выполнил анонс, гласивший, что на первом представлении публике будет подложена свинья. Наконец поросенок был изловлен мистером Джоном, взявшим его под мышку и пропевшим «Воинственную песнь бамбуков» на мотив «Ала верды». Публика изумлялась, веселилась и хлопала. Последним номером был объявлен выход акробатки Фанни.

На сцену выбежала девушка, очень хорошенькая, в полумужском костюме с обручем в руках, взбитыми рыжими волосами. Резво выбежав, она вдруг смутилась, застыла на месте и опустила глаза так, что длинная тень от ресниц упала на ее вдруг зарозовевшиеся щеки.

Тут следивший довольно равнодушно за ходом представления и даже позевывавший Александр Матвеевич вдруг ожи-

вился. Он заерзал на стуле, крякнул и неожиданно во весь голос закричал «браво»... Кое-кто из публики тоже закричал и захлопал в ладоши. Сначала будто испуганная этими неожиданными знаками внимания девушка тотчас оправилась, улыбнулась и легко вскочила на протянутый через сцену толстый канат...

VI

Вечером после спектакля, как это ни было странно и конфузно, сидя на балконе перед сном и покуривая, Александр Матвеевич признался сам себе, что неравнодушен к акробатке Фанни. Спал он неважно, проснулся рано, выбрился («Ну статочное ли дело, подряд второй день щеки скрести, и с чего бы это», — недоумевала ключница), прифрантился и в половине одиннадцатого отправился в Собачий переулок, где, как он разузнал, стояли акробаты. На стук не ответил никто. Помявшись у двери, Александр Матвеевич открыл ее. В полутемной комнате было накурено, душно. На низкой постели, лицом в подушку, лежал мальчик. При входе Александра Матвеевича он поднял голову.

— Вам что?

— Мне бы акробатку повидать.

— А зачем она вам?

Александр Матвеевич смутился.

— Вот, видишь, голубчик, я... Я хочу с ней познакомиться... — И достав три рубля, он сунул их подростку. Тот выразительно свистнул.

— Вы не первый, желающий это, — сказал он, помолчав минуту, — и немудрено — mademoiselle Фанни красавица. Только добиться ее расположения очень трудно, она совсем мраморная. И потом ее муж...

— Как, она замужем? — испуганно вырвалось у Александра Матвеевича.

— Ну да, за мистером О'Гратэном. Знаете что, — продолжал мальчик, глядя на вытянувшееся лицо Александра Матвеевича, — я пришлю к вам ее брата, того, что жонглирует тяжестями. Он с сестрой очень дружен. Если вам удастся расположить его, он поможет вам. Хотите?

Разумеется, Александр Матвеевич согласился. «...евич Лукьянов» — записывал мальчик на сером клочке адрес, загадочно улыбаясь при этом.

VII

Брат Фанни оказался бледным, хорошеньким пятнадцати- или шестнадцатилетним подростком. Он был застенчив и вежлив, но вел себя странно. То становился мрачным, то смеялся без всякой причины и вообще своим поведением несколько удивил Александра Матвеевича. Что же касается до знакомства с пленившей его сердце акробаткой, то мальчик, поразмыслив и поломавшись, сказал Александру Матвеевичу, чтобы тот приходил завтра вечером через полчаса после спектакля к ним на квартиру. О'Гратэн, мол, уйдет играть на бильярде и Фанни останется одна. «Я ее уговорю принять вас, если только вы обещаете быть с нею вежливым и не оскорбите ее».

— Ну конечно, честное слово!

— И потом, вы должны еще передать ей двадцать пять рублей. Эти деньги пойдут на благотворительность.

Александр Матвеевич поморщился, не сомневаясь, о какой благотворительности идет дело.

«Тоже компания, — мелькнуло у него в голове, — не отказаться ли?» Но желание познакомиться с акробаткой было сильно.

— Ладно, уже и четвертную принесу, — проворчал он недовольно.

VIII

Бобровский старожил, почтенный Александр Матвеевич, пробираясь по промытым после дождя проулкам, сосредоточенным и мечтательным выражением лица походил скорее на какого-нибудь испанского влюбленного «с гитарой под полой», спешившего под окно своего предмета, чем на самого себя.

Мрачный вход и узкий коридор тоже содействовали романтизму, так что щеки Александра Матвеевича горели и сердце стучало очень громко, когда наконец он добрался до заветной двери.

Голубой ночник бледным, точно лунным светом освещал лицо акробатки. Оно было прелестно. Тонкие длинные руки лежали протянутыми на коленях. Она молчала. Тут-то и начались мучения Александра Матвеевича. Конечно, он по скромности и непривычке к дамам и в мыслях не имел чего-нибудь экстренного, но, идя на свидание и жертвуя на «благотворительные цели», он надеялся на свои вздохи получить хотя бы

несколько поцелуев. Но, увы, даже когда с медвежьей грацией он встал на колени и потянулся поцеловать руку акробатки, та проворно ее отдернула и прошептала:

— Нельзя, нельзя!

— Почему же нельзя, мадмазель Фанни?

— Так.

— Я же в вас ужасно как влюблен. Позвольте, хотя ручку-то.

— Нет, нет!

Александр Матвеевич начинал уже немного сердиться. Вдруг его осенила счастливая мысль.

— А если, — сказал он, хитро улыбаясь, — если я пожертвую на благотворительные цели еще столько же, тогда можно будет?

Фанни молчала.

— Вот двадцать пять рублей сейчас же достану, — и он действительно вытащил из толстого бумажника четвертной билет, — только разрешите.

— Ну хорошо, — прошелестел чуть слышный ответ.

Мгновение спустя Александр Матвеевич, стоя на коленях, жадно целовал холодные маленькие пальцы.

IX

Когда неожиданно распахнулась из коридора дверь и двое милиционеров вошли в комнату, ошеломленный Александр Матвеевич только выпустил из своих рук руки Фанни, но даже не встал с колен, застыв в полуобороте, изумленно и вопросительно глядя на вошедших.

Те были совсем смущены, попав на галантную сцену, тогда как в приказе, им данном, значилось: «Подвергнуть задержанию учеников Киевского реального училища Ивана Павлова и Алексея Сокольницкого, бежавших на театр военных действий».

Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта живая картина, если бы Фанни вдруг не заплакала, горько и безутешно.

— Алеша! — закричала она, плача. — Алеша, влопались мы с тобой, как идиоты.

Тут из темного угла вышел высокий худощавый мальчик, в котором очень трудно было узнать развязного и бойкого мистера О'Гратэна. Со злобной усмешкой он подошел к милиционерам и сказал:

— Ну что, поймали? Радуйтесь! Я Алексей Сокольницкий.

Несколько оправившийся от свалившейся на его голову неожиданности милиционер, еще растерянно глядя, но уже строгим голосом обратился к нему:

— Так-с. А ваш товарищ Иван Павлов где? Потрудитесь открыть его местопребывание.

— Ха-ха-ха, — как-то истерически вдруг рассмеялась сквозь слезы Фанни.

Быстрым движением она сдернула рыжий парик и обнажила стриженную под второй номер мальчишескую голову.

— Я Павлов.

— Барышня! — закричал милиционер. — Оказия.

Александр Матвеевич, только слабо охнув и схватившись за сердце, грузно упал в низкое колченогое кресло.

X

На другой день, поутру, в «Справедливых Известиях», единственной, выходящей в Бобровке газете, было подробное и разукрашенное всячески сообщение обо всей этой истории. Особенно яркими красками была изображена влюбленность обывателя нашего города, господина А.М.Л., попавшего в столь неожиданный и пикантный просак.

«...Справедливость требует сказать, — так оканчивалась заметка, — что деньги, заработанные юными мистификаторами, действительно отсылались ими в Киев, в благотворительный комитет. Туда же они намеревались отправить и пятьдесят рублей, полученных от господина А.М.Л. при столь пикантных обстоятельствах. Так что вся эта авантюра легкомысленно проделана молодыми людьми из соображений хороших и патриотических и не имеет никакой корыстной подкладки».

Ровно через неделю Александр Матвеевич Лукьянов уехал из нашего города, сдав в аренду на пять лет отцовский дом. Железнодорожный билет был взят им до Курска.

Так Бобровка потеряла своего старейшего старожила.

ЖИЗЕЛЬ

(Рассказ человека из богемы)

История начинается издалека. Но по странному «оптическому обману» перепутанных (войной, революцией, судьбой) планов — начало ее я помню как раз отчетливее всего.

Во всех подробностях мне запомнилось это сентябрьское утро 1911 года. Попойка началась поздно — она была организована экспромтом.

Кокоша Кузнецов — веселый скандалист, профессиональный бездельник, никому не ведомый художник и знаменитый игрок на бильярде — в половине двенадцатого ночи вспомнил или вообразил, что сегодня его именины и их необходимо отпраздновать. Причиной и этого решения и некоторой его запоздалости был долгий и для Кокоши счастливый бильярдный бой в прокуренной и заплеванной, но почему-то особенно уважавшейся «настоящими игроками» бильярдной «Доменика». Кокоша часов шесть подряд сражался там с каким-то на свою голову забредшим к «Доменику» пижоном. «Пижон», должно быть, ничего не знал ни о славе Кокошиного кия, ни о коварной манере этого мастера бильярда сначала прикидываться овечкой и только потом, когда страсти разыгрались и ставки растут, как снежный ком, вдруг показать свое баснословное, известное по всем бильярдным Санкт-Петербурга мастерство.

Игра кончилась часов в 11. Обалдевший от поражений и бесчисленных кружек пива «пижон» ушел, условившись о реванше на завтра, а Кокоша, блаженно ухмыльнувшись, бросил скомканную десятирублевку маркеру и вышел на Невский с твердым намерением — отпраздновать сейчас же вовсю свои именины.

И вот я отчетливо, во всех подробностях помню конец этого пира. Ужасающий беспорядок в Кокошиной квартире — окурки, объедки, пустые бутылки. Из гостей — кто уплелся, уже едва волоча ноги, домой, кто спит, кто покрепче или благоразумней

пивший — сидит, с отвращением запивая последний коньяк глотками черного кофе. Еще не замазанное окно распахнуто на мутную, серую, медленно светлеющую Фонтанку, и картина эта в «ясном, беспощадном свете дня» — особенно непривлекательна. Да, окурки, бутылки, опухшие, сонные лица, тут же на спиртовке жарящаяся яичница... Словом, то, что каждый видел десятки раз и по личному опыту прекрасно себе представляет. Конечно, я не только не заметил бы всех этих подробностей, но вряд ли вообще сохранил об этих «именинах» какое-нибудь воспоминание, если бы они не выделялись среди множества других, им подобных, одним случаем...

Случай был такой. Пока пьяные храпели по углам, кофе пролилось на скатерть, чад яичницы плыл в мутно-серое небо — в прихожей позвонили. Зевая, хозяин пошел открывать. Из передней послышался громкий голос (как сейчас помню его, громкий, молодой и, особенно поразительный для тогдашнего моего слуха — *трезвый* звук), звон шпор, стук сабли.

В сопровождении Кокоши в комнату вошел молодой офицер в гвардейской форме, с погонами корнета, высокий, розовый, голубоглазый. Я знал его немного — это был А., — толкавшийся немного в нашей богеме, — он обожал театр, музыку, стихи. Не очень давно я с ним познакомился в каком-то из «артистических» петербургских салонов, и меня поразила его удивительная красота. Что-то ангельское было в ней. Красота у мужчины — качество, так сказать, обоюдоострое — по большей части слишком красивое мужское лицо выглядит слащаво и глуповато. Но в лице А. и впрямь было что-то «небесное», что-то такое, на что можно залюбоваться, как на картину или закат над морем...

Ну, я и «полюбовался» немного, встретившись где-то с А., и потом, понятно, забыл о его существовании. Мог ли я думать тогда, что через семнадцать лет, в Париже, я буду писать о нем. И он мог ли думать, что какому-то мальчишке-музыканту, с которым его где-то случайно познакомили, суждено коснуться, много лет спустя, клочков той странной паутины, в которой он запутался и погиб...

А. вошел, сияя розовой, трезвой улыбкой (отлично помню — он улыбался), оглушая наши утончившиеся от пьянства и бессонницы уши громким, трезвым звуком своего голоса, лязгом сабли, серебряным звоном шпор. Он обязательно со всеми нами перездоровался с таким видом, точно не замечает жалкой растерянности всего окружающего и нашей собственной. Ему предложили коньяку. Он выпил рюмку, отказался от второй.

Вежливо выслушав рассказанный кем-то дурацкий анекдот, он встал, швырнул окурок в окно и ушел в кабинет с Кокошей. Через пять минут А. уехал. Кокоша объяснил, что заезжал он (они были, оказывается, соседи по имению и с детства дружны) — отдать карточный долг. Шалые голоса: «Сам, проигрывая, предупреждал, что отдаст в конце месяца, — и вдруг ни свет ни заря привез. А. славный малый — и каков красавец, а! И что деньги привез — молодчина. По сему случаю, прошу, господа, запомнить — сегодня высыпаться, а завтра опять сюда — допивать. Кто не приедет — тот не друг ротмистру в отставке Николаю Кузнецову».

Это происходило утром. А под вечер зашедший ко мне приятель сообщил новость, которую знали уже все, кроме меня, еще сладко спавшего. Новость была следующая: А. был найден где-то на Черной речке с простреленной головой. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Единственное слово, которое он произнес умирая, было: «Жизель».

О странной смерти А. много толковали в свое время. Строили догадки о том, что могло заставить молодого, красивого, по всей видимости, счастливого человека покончить с собой так неожиданно, так страшно. Иные в этих догадках заходили и дальше — хотя судебным следствием был установлен факт самоубийства, — толковали что-то о револьвере, наклоне выстрела, делали выводы насчет того, что бы могло значить последнее слово умирающего. Потом, как водится, интерес к делу остыл. А. лежал в могиле, толки о нем понемногу прекратились, все о нем забыли.

Прошел год, другой... Носилась война. В знаменитой атаке под Танненбергом погиб цвет русской гвардии. Помню, как какой-то офицер грустно сказал в эти дни при мне: «Поторопился наш А. — подождал бы немного и лег бы так героем — лучше было бы...» При этих словах на минуту я как живого представил А. — его улыбку, розовые щеки, блестящие голубые глаза, и на минуту пожалел о нем той эгоистической жалостью постороннего, которая, в сущности, есть просто разновидность человеческого равнодушия — вежливая разновидность...

* * *

Вторая часть истории (если это можно назвать историей) — смутна, неопределенна, туманна. Впрочем, и время, к которому она относится, тоже неопределенное, туманное, *смутное* время.

Август или сентябрь 1917 года. Временное правительство еще у власти, Петербург еще столица, Россия еще ведет войну. Большевики еще в подполье. Но с каждым днем это *еще* приобретает все более иронический смысл. Еще? Надолго ли? Да месяца на два. А потом...

...Зеленая звезда, — воды и неба брат, —
Твой брат, Петрополь, умирает! —

писал об этих днях упоительнейший русский поэт. В этом умирающем Петрополе, на этом грозном фоне идущей ко дну России шло, кстати, бесшабашное веселье — тем бесшабашней, чем ближе к концу. Неизвестно откуда, точно из-под земли, появились во множестве какие-то новые люди, швыряющие несчитанными деньгами, какие-то женщины, какие-то шведские промышленники, какие-то кубинские консулы, устраивающие чуть ли не ежедневно, неизвестно зачем, неизвестно для кого, сногсшибательные вечера.

На один такой прием я раз случайно попал. Кто был хозяином великолепной квартиры на Аптекарском проспекте — я так и не знаю. Как сквозь сон, помню огромные раззолоченные комнаты, много дорогой еды, еще более вина, толпу незнакомых мне гостей, нарядную и наглую толпу, от которой распространяется сложный запах тех времен — тонкая смесь, где и египетский табак, и дух контрразведки, и Ориган, и Герлен, и кровь... И еще призрачней, еще туманней — точно сон во сне — помню бледное, скорее некрасивое, худое женское лицо. Серые глаза смотрят зло и грустно, накрашенный рот холодно улыбается. Оно и прелестно и отвратительно — это лицо, его не хочется помнить, и его нельзя забыть.

Потом даже эта тень реальности пропадает. В памяти провал, пустота. Ничего таинственного в этом нет. Просто месяцев шесть прошло с того времени, как я в последний раз пил где-то вино. А тут и Мартель, и шампанское, и ликеры, ну и вдобавок неловкая скука человека, попавшего в чуждое ему общество и знающего, что волей-неволей надо сидеть до утра: путешествие через весь Петербург — с Аптекарского на Знаменскую осенью 1918 г. — было дело нешуточное. Чего стоит одно пустое, черное, страшное Марсово поле, через которое как раз лежит мой путь... Итак, в памяти от шампанского, ликеров, скуки — провал. И когда в сознании опять начинает что-то вырисовываться — это уж не раззолоченные стены квартиры, в которой я напился, в которой *мы* встретились.

Это что-то, состоящее из темноты, тепла, запаха волос, запаха теплой кожи и свистящего, странного, прелестного и отталкивающего женского голоса.

Сначала я не вполне понимаю, что этот голос говорит: «Мы будем счастливы. Ну конечно, — мы уже счастливы, — так тепло, так мягко, так хочется спать. Заграница, большие отели, богатая, блестящая жизнь». — О чем это она? Должно быть, из какого-нибудь романа. Но как странно настоятельно, напряженно сухо звучит ее голос. И зачем она повторяет по нескольку раз сказанное? Я уже слышал, что мы будем счастливы и про заграницу слышал. И зачем так настойчиво она повторяет, что я должен помнить это, никогда не забывать этого? Военное министерство. Шкаф Д. Папка Н. Что это, продолжение романа? Я окончательно (или мне кажется, что окончательно) просыпаюсь. И вижу, как в сумраке незнакомой комнаты женщина, привстав на постели, делает надо мной какие-то пассы, повторяя: «Ты не забудешь. Ты помнишь. Шкаф Д. Папка Н. ...Мы будем счастливы. Ты помнишь...»

— Что вы от меня хотите? — произношу я, с трудом ворочая языком. — Что вы от... какое министерство, какой шкаф? Я не служу в министерстве... Я играю на контрабасе, — договариваю я с отчаянным усилием, хотя я скрипач, собираюсь затмить Падеревского и контрабас, естественно, презираю. Но другого понятия скрипки, струн, вообще музыки я не могу вспомнить и удовлетворяюсь контрабасом.

Тут она быстро, мягко, как кошка, ложится рядом со мной. «Спи, спи, спи, — говорит она быстрым, нежным, свистящим шепотом. — Это все вздор. Это все так. Не думай ни о чем — спи, спи, спи».

Она прижимает к моему рту стакан, поддерживает мою голову. «Пей, пей, — слышу я нежный, свистящий, настоятельный шепот и глотаю что-то сладкое и одуряющее. — Пей, пей. Спи, спи». — И я пью и засыпаю.

И слышу сквозь сон: «Это все вздор. Забудь обо всем. Я тебя люблю, я — Жизель...»

Все эти подробности всплыли в памяти уже потом, понемногу, через неделю, через месяц, через год... Сначала я помнил только смешанное чувство нежности и отвращения, с которым проснулся (у себя дома, привезенный рано утром на извозчике каким-то солдатом), и еще этот странный, свистящий, настойчивый шепот: «Спи, спи, спи... Я — Жизель».

Ни фамилии, ни адреса (ни даже уверенности, что все это было в действительности, а не снилось мне) — у меня не бы-

ло. Да я и не хотел знать, как зовут по паспорту мою ночную «Жизель», не хотел удостовериться, что она не призрак. Меньше всего я был тогда в настроении продолжать этот странный сон — отвращение явно пересиливало нежность в воспоминании об этой ночи. А мысль о том, что с тем же именем — Жизель — на губах умер когда-то А., просто не пришла тогда мне в голову...

* * *

И вот эпилог моей «повести». Эпилог уже эмигрантский.

В 1923 году, зимой, я со своей скрипкой оказался в Германии. После Советской России, откуда я только что бежал — голодный, грязный, озлобленный, — Берлин тех дней казался мне сущим раем. Голод, на который жаловались немцы, был мне смешон, берлинская запущенность ощущалась после Москвы как чудо европейского благоустройства. Я много «разного» вынес в благословенном СССР, едва не погиб там и теперь отдыхал всем существом. Скрипка моя меня кормила — я играл по кафе и нахт-локалям разную дребедень, не думая о прошлом и не заглядывая в будущее...

Но дело не в этом. Дело в том, что тогда, зимой 1923 года, в засыпанном снегом маленьком горном городке — зимнем курорте — я встретил ее, Жизель.

Ту самую. Да, ту самую... из-за которой погиб когда-то несчастный А.

Пропускаю все предварительное — как я попал в Шорне — так звался этот городок в Гарце, — описание поездки, природы (хотя от хаоса мне трудно удержаться — так хороши были эти сосны, лед, солнце на фоне огромного белого Брокена, настоящий снежный рай). Пропускаю все это — начну прямо: в первый же день, возвращаясь к завтраку после долгой, утомительно бодрящей прогулки по легкому горному холоду, я почти столкнулся у дверей своей санатории с этой женщиной.

На ней был белый свитер, белая короткая юбка. Какая-то детская шапочка смешно и мило сидела на ее голове, и, как ребенок, она везла за собой салазки. Но лицо было то же, и ничуть не изменившееся, бледное и худое, скорее некрасивое — и прелестное и отталкивающее в то же время...

Я сразу узнал ее. Не знаю, решился ли бы я заговорить с нею. Но случай, столкнувший нас, не ограничился этим: она жила в той же санатории, и нас за завтраком посадили рядом

за табльдотом. Признаюсь, я был тогда благодарен случаю. И — признаюсь тоже — в этой туманной смеси отталкивающего и прелестного, нахлынувшей тогда на меня, — мне тогда показалось, что прелесть преобладает...

Теперь пропускаю все — эти несколько дней, этот повторяющийся сон во сне. Говорю наудачу — несколько дней, не помню, сколько их было, один, два, десять.

Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье.

Пробужденье было действительно странным... Читатель, знаете ли вы, кстати, что такое ключ к сонету?

Не думайте, что я сошел с ума — вопрос мой относится к делу. Да, ключ к сонету. Когда-то я пробовал писать стихи, и один приятель-стихотворец наставлял меня в тонкостях ремесла. Ключом называется последняя строчка сонета. Она должна быть такой, чтобы смысл начальных строк стихотворения от нее «переворачивался», освещался по-новому. Вся сила тут в точности, краткости, сухости. И хотя я пишу не сонет, а только бессвязный пересказ действительности — скажу к концу только несколько слов о самом главном.

...Берлин. Комната гостиницы. Рассвет. Окно распахнуто на мутную, серую, медленно светлеющую Шпрее, и картина эта «в ясном, беспощадном свете дня» напоминает удивительно другую картину: сентябрьское утро 1911 года, Петербург, Фонтанку, квартиру Кокоши, «ангельское» лицо А. ... Теперь это лицо глядит на меня с фотографии, случайно вывалившейся из чемодана, случайно взятой мной в руки... И рядом другое лицо — бледное, скорее некрасивое. Серые глаза смотрят зло и грустно, накрашенный рот холодно улыбается. И свистящий голос говорит равнодушно:

— Да, это я...

Недавно мне попался номер американского иллюстрированного журнала. Там был портрет с подписью — советская шпионка, высланная из Америки. А фамилия была другая. Но лицо знакомое — прелестное и отвратительное, которое не хочется помнить и нельзя забыть.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Над спиритами смеются — и действительно, спириты всегда смешноваты. Таинственное у них тесно перепутано с комическим. Чего стоит хотя бы король бульварных романистов, автор «бессмертного» Шерлока Холмса в роли их великого мастера, объявивший, кстати, недавно спиритизм на каком-то конгрессе — excusez du peu — религией.

Да, спириты смешноваты. Конан Дойль, торжественно приподнимающий завесу иного мира, доверия не внушает, знаменитейших медиумов то и дело ловят с поличным на самом неприкрашенном жульничестве... и все-таки...

И все-таки, если подумать, вспомнить, оглянуться кругом, нельзя не сознаться, что есть в жизни что-то, кроме того, что видит каждый и что видно каждому, что-то непонятное, странное и грозное, что-то, чему, по словам поэта, «есть причина и нет объяснения».

Вот, наудачу, несколько примеров. Привожу их без комментариев. Отмечу только, что все эти разные случаи из жизни разных людей объединены одним: все это именно случаи. Никто из тех, с кем они происходили, спиритизмом не интересовался, суеверно настроен не был — ни медиумы, ни вертящиеся столы в них ни при чем...

* * *

В тоскливые зимние вечера 1919 года посетители Дома литераторов не торопились расходиться после обеда. Как ни мрачно было в затоптанных, тускло освещенных залах особняка на Бассейной — все-таки там было и теплее, и светлее, и уютнее, чем дома у каждого из этих «бывших людей», собиравшихся сюда со всех концов обледенелого или расползающегося в оттепели Петербурга съесть миску горячей бурды с плавающей в ней селедочной головой, ложку жидкой, ничем не приправленной манной каши и потом посидеть вот так где-

нибудь в углу, в относительном тепле, относительном свете, среди таких же обездоленных, выброшенных за борт людей, бывших еще недавно писателями, художниками, адвокатами, директорами департаментов...

Сидели преимущественно в библиотеке: там, хотя и скупо, потрескивала все-таки сырыми дровами чугунная «буржуйка», длинная, черная труба которой перерезывала потолок, расписанный грациями и гирляндами роз. Иногда у огня шел общий разговор. И вот что рассказал там однажды знаменитый юрист, сухонький, старый-старый старичок с совсем молодыми, ясными глазами.

...Все-таки и я почувствовал старость, да. Характерно, что то, что было вчера, неделю назад — помню случайно, как сквозь пелену, многое совсем забываю. А вот чему тридцать, сорок, пятьдесят лет — вижу точно перед глазами. Вот и имение это старика маркиза-либерала и Прованс — знаете эти холмы, тополя, мягкость красок — вот бы теперь там пожить, — передо мною как на ладони.

Я всегда, когда бывал во Франции, заезжал к маркизу. Несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. В тот мой приезд я попал неожиданно на семейное торжество, празднуемое по-деревенски, не день, а неделю и больше, — именины хозяйки дома. Комната, где меня обычно устраивали, была занята, и мне отвели, с бесконечными извинениями разумеется, — ну, старинное французское гостеприимство — другую, маленькую в третьем этаже. И вот однажды...

Я прожил уже там дня три-четыре, скоро уже, к сожалению моему, надо было и уезжать, когда это случилось. А случилось это вот как.

После ужина — ах, господа, сейчас бы нам так поужинать — я сидел у раскрытого окна с папиросой, любуясь прекрасной лунной ночью. Было уже часов одиннадцать — ложились в замке рано, по-провинциальному. Должно быть, я один и не спал из всех его многочисленных обитателей. Да и я уже собирался потушить свет и лечь, как вдруг слышу — в комнате рядом открывается дверь, — кто-то входит и бросается на кровать, да так, что все пружины трещат. Надо вам сказать, дом был большой, и хоть гостей съехалось множество, все-таки в этаже, где меня поместили, я был единственным жильцом. Это было нечто вроде мезонина, предназначенного для прислуги, но вся прислуга жила в отдельном здании, и обычно мезонин пустовал. Мне это было известно, и, услышав шаги и скрип пружин, я немного удивился, что у меня есть сосед, да

еще такой шумный — до сих пор его никогда не было слышно. Сейчас же мне пришлось удивиться сильнее — сосед этот оказался женщиной. Потом чье-то тело всей тяжестью упало на кровать, я услышал за стеной женский плач — негромкий, но внятный, перемешанный с какими-то отрывистыми, бессвязными восклицаниями. Я, взволнованный, стал прислушиваться, не зная, что делать. Плач скоро стал тише, перешел в тихое всхлипывание. Еще раз скрипнула кровать, зашуршало что-то — и все смолкло. Недоумевая, лег в постель и не сразу, что в молодости со мной случалось крайне редко, заснул: все прислушивался. Нет, ничего, — должно быть, соседка, успокоившись, заснула. Раздумывая над тем, кто бы она могла быть, заснул и я...

Когда утром я вышел в сад, мой маркиз, уже выбритый и причесанный, в своем безукоризненном обычном белом фланелевом костюме, подстригал садовыми ножницами кусты роз, страстным любителем которых он был. На его вопрос — как спали? — я рассказал ему о вчерашнем.

— Простите, кажется, я сделал оплошность, — тотчас же поспешил прибавить я, увидав, как вдруг потемнело его всегда улыбающееся лицо. — Простите... может быть...

Он, казалось, меня не слышал.

— В самом деле... Как я не подумал?.. — бормотал он. — Ведь как раз... Это я должен просить у вас прощенья, — обратился он ко мне. — Сегодня же вам отведут другую комнату. И не рассказывайте никому об этом, особенно жене — это ее так взволнует.

— Конечно, я никому не скажу... Но зачем же мне другая комната... Эта дама ничуть меня не потревожила...

— Эта дама, — повторил маркиз со странной интонацией. — Эта дама... Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь, и вы все поймете.

Он вернулся с ключом в руках.

— Поднимитесь туда, — сказал он.

Мы поднялись в мезонин, в мою комнату. Минуту маркиз стоял молча, похлопывая ключом по ладони, точно собираясь с мыслями. Потом с прежней странной интонацией заговорил:

— Ваша комната угловая. Эта стена выходит в коридор. Следовательно, вы могли слышать то, что слышали, только отсюда.

— Конечно, — подтвердил я, ничего не понимая. — Отсюда, конечно. Она вошла, бросилась на кровать, потом...

— Хорошо, — перебил меня маркиз. — Пойдемте, в таком случае, взглянем на эту комнату.

Ключ повернулся в замке тяжело, точно дверь давно не открывали. В лицо мне пахнуло спертым, душным воздухом давно не проветривавшегося помещения. Маркиз толкнул ставни. Солнечный свет упал на выгоревшие обои, многолетнюю паутину, протянутую из угла в угол, пыль, толстым слоем лежавшую на полу. Ни кровати, ни вообще какой-нибудь мебели в комнате не было. Она была совершенно пуста, явно необитаема...

— Дама, — сказал маркиз с расстановкой, — плач которой вы слышали, умерла здесь ровно пятьдесят три года тому назад. Вчера была как раз годовщина. Это была одна из горничных моего деда — она отравилась из-за несчастной любви...

* * *

...С тех пор я сплю при лампе, — не могу потушить, страшно.

Конечно, это еще 1915 год, и я не знаю, что мой приятель не просто смелый человек, а человек исключительного мужества. Через три года, в 1918 году, все узнают, на какое мужество, самопожертвование, геройство был способен этот, до сих пор никому не ведомый, красивый, черноглазый юноша. Но и теперь мне хорошо известно, что он человек нетрусливого десятка. При мне однажды, рано утром, на Сенной, куда мы приехали компанией после бессонной ночи есть классическую яичницу из обрезков, он разнял двух дерущихся пьяниц, не побоявшись ни страшных кулаков одного, ни финского ножа другого. И еще вещи в том же роде я знаю о моем молодом друге, и слышать от него, что он боится спать в темноте, — мне странно.

А он повторяет:

— Сплю при лампе, боюсь потушить...

И рассказывает:

...первый класс я взял потому, что к первому классу остался все-таки какой-то пиетет. Прапорщики не врываются, требуя, чтобы им уступили место, — чище, спокойнее. Я взял первый класс, нашел двухместное купе, дал проводнику три рубля, чтобы он стерег мой покой, и сейчас же заснул, потому что устал страшно. А когда я проснулся...

Когда я проснулся, первое, что с раздражением я увидел, — несмотря на заверения, что меня никто не потревожит, — проводник все-таки пустил ко мне другого пассажира. Пассажир

этот сидел в конце дивана тихо, не шевелясь. На голове его была шляпа с очень широкими полями. Тень от полей падала на лицо, — лица не было видно. В синем свете ночника ясно вырисовывались только его руки, лежащие на коленях. Руки были худые, костлявые.

С раздражением думая об обманувшем меня проводнике, я смотрел на моего неожиданного компаньона, прищурившись так, чтобы он не видел, что я проснулся. В конце концов, чем он мне мешает — пусть себе сидит. Можно бы, конечно, предложить ему улечься наверху, но лень вставать, да и он сам, кажется, спит — не пошевельнется, руки как мертвые. Какие неприятные, однако, руки. Да пусть себе сидит... И я собирался уже заснуть, как вдруг мне бросилась в глаза одна вещь.

То, что я вдруг понял, было невероятно, дико. Между тем это было так. Ложась спать, я закрыл дверь изнутри на цепочку... Никто, кроме меня, не мог ее снять. Никто, пока я ее не снял, не мог войти в купе... И в ту самую минуту, когда я это понял, — страшные, худые, костлявые руки медленно приподнялись с колен, медленно в синем сумраке потянулись ко мне. Медленно, понемногу, все ближе, ближе к моему лицу, к моему горлу...

Паровоз неожиданно засвистел, и этот резкий свист вывел меня из оцепенения. Я отчаянно закричал, отталкивая от себя эти страшные руки... и проснулся. Это был только страшный сон. В купе никого не было. Цепочка мирно поблескивала на своем месте. Это был только сон, но брр... — какой отвратительный. Я зажег свет, выпил глоток коньяку, закурил папиросу и вышел в коридор — хотелось не быть одному, увидеть чье-нибудь лицо, поговорить с кем-нибудь...

В другом конце вагона суетилось несколько испуганных пассажиров, обер-кондуктор, проводники. Дверь была раскрыта в такое же, как мое, двухместное купе. Господин, лежавший на диване, казался спящим. Но он не спал, он был мертв. Лицо его было искажено, глаза навыкате, на шее ясно чернели следы длинных, костлявых пальцев. А на полу валялась шляпа с очень широкими полями, совершенно такая, как та... Она не принадлежала задушенному господину — его котелок покачивался тут же в сетке...

* * *

Осенью 1923 года, перед самым моим отъездом из Берлина во Францию, поэт О. позвал меня на новоселье. Ему надоело жить в пансионах, и он нанял меблированную квартиру на

Курфюрстендам. Квартира была во втором этаже одного из тех великолепных домов в берлинском «Вестене», какие, кажется, в одной Германии и умеют строить. Широкая мраморная лестница, красивые, высокие, прекрасно расположенные комнаты, прихожая величиной в средний парижский «салон», ванная с бассейном — словом, — прелесть. И то сказать, платил О. за все это великолепие недешево по тогдашним берлинским ценам — какую-то астрономическую цифру в марках, укладывавшуюся, впрочем, в переводе на валюту, в 5 — 6 долларов.

Единственное неудобство, неизбежное по берлинским правилам, по которым иностранец не имеет права снимать самостоятельную квартиру — памятная многим эмигрантам фурия, квартирная хозяйка, — в квартире О. отпадало. Он расхваливал хозяйку свою на все лады: милая, радушная, услужливая...

Хозяйка эта, помню, понравилась и мне: маленькая, подвижная, пестро разряженная старушонка — она так и сияла всеми своими бесчисленными морщинками, встречая гостей, подавая на стол, отвечая на шутливые вопросы, которые на своем отчаянном немецком языке задавал ей О. «Jawohl, Herr Doktor... Gewiss, Herr Doktor». Гости пили рислинг и знаменитые Kantorovitz Likor, рассматривали картины и обстановку, ходили из комнаты в комнату и выражали желание последовать примеру и тоже снять такую квартиру. О. их передразнивал: «Квартира что, а вот хозяйку, как моя, поищите-ка — не правда ли, фрау Вальдорф?» И та с непонимающим, но радостным видом расплывалась: «Jawohl, Herr Doktor...»

Я уехал в Париж. О. жил в Германии, потом был в Риме, в Женеве. Только три года спустя мы встретились снова. При встрече я мимоходом обмолвился об его берлинской квартире, в которой мы виделись в последний раз.

О. поморщился.

— Ну, уж эта квартира.

— А что? Ведь вы были так довольны. Пять долларов... И такая милая хозяйка...

— Вот именно! Черт бы взял обеих — и квартиру и хозяйку.

— Вы помните мою спальню, — начал он. — Да-да, с цветным окном и с нишей. Прекрасная комната. Черт бы ее взял. Да. Дело было так. Я был в кинематографе, потом прогулялся немного. Собирался было в кафе, но подумал, как у меня дома уютно, тепло, спокойно, — и пошел домой. И к чему кафе, когда моя фрау Вальдорф — надо, не надо — обязательно

приготовит что-нибудь закусить на случай, если я проголодаюсь, — бутерброды, салат, какие-нибудь булочки. Все на чистой скатерти, аккуратно, в чайник засыпан свежий чай, хлеб, как я люблю, поджарен. Я и пошел домой. Выпил чаю, написал несколько писем и улегся с тем же приятным сознанием — как все хорошо, приятно, спокойно у меня дома.

Я всегда читаю перед сном. Помню, я взял тогда мемуары Казановы — чтение, как вы знаете, не располагающее к мистике.

Читаю, и вдруг рядом со мной сдавленный, полный тоски и мольбы голос:

— Ich will nicht sterben.*

Вся галантная чепуха восемнадцатого века разом выскочила из моей головы. Что это? Почудилось? Донеслось с улицы? Не галлюцинация, я не подвержен, — а с улицы разве только пушечный выстрел мог быть слышен в моей спальне: так уединенно — вы помните — она была устроена. Что же тогда?

Я оделся. Взял (неизвестно зачем) револьвер, обошел всю квартиру. Все в порядке, все на своем месте. На Курфюрстендам горят фонари, шуцман на перекрестке объясняет что-то запоздалому прохожему... Успокоившись немного, я вернулся в спальню, лег и снова взялся за Казанову. Но едва я дочитал последнюю страницу, у самого моего уха опять — еще глуше, еще жалобней:

— ...Ich will nicht sterben...

Я убежал из спальни как был, в одном белье. Зубы мои стучали, меня трясло. Мне казалось, что я схожу с ума. Я зажег все люстры и лампы в квартире, а сам сел в прихожей, отворив дверь на лестницу, готовый бежать без оглядки из дому, если только послышится этот ужасный леденящий душу голос.

Когда утром фрау Вальдорф разбудила меня, заснувшего не помню как на диване, — лицо ее было полно участия и беспокойства: «Herr Doktor болен? Что с Herr Doktor?» Но как — если бы вы только видели — изменилось это добродушное лицо, едва я рассказал ей о том, что было ночью.

Вдруг моя «добрая», «славная», как часто я о ней говорил, фрау Вальдорф превратилась в разъяренную мегеру. Она визжала, топала ногами, брызгала слюной. «Sie lugen» — вы лжете, — кричала она, задыхаясь не то от ярости, не то от ужаса — от того и другого вместе, — вы лжете, лжете, этого не может

* Я не хочу умирать (*нем.*)

быть, — слышал я ее исступленные вопли, спускаясь по лестнице. — «Sie lügen. Sie lügen...»

Я переехал в отель в тот же день. Фрау Вальдорф я больше не видел — пока я укладывался, она не выходила из своей конуры возле кухни. Да, ее я больше не видел и очень рад этому. Но о ней узнал кое-что, довольно любопытное. Знакомый немецкий журналист, когда я рассказал ему эту историю, выслушал ее молча и на другой день прислал старый номер «Берлинер тагеблатт». Там был снимок с дома на Курфюрстендам, где я жил. Окна моей квартиры были отмечены крестиком, а в медальоне рядом всеми своими морщинками расплывалось лицо фрау Вальдорф. Внизу была изложена ее биография, биография довольно пестрая: содержательница дома свиданий, торговля кокаином и т.д. и т.д. Обстоятельства загадочной смерти на ее квартире неизвестно как попавшего туда богатого провинциального торговца так и остались невыясненными. Фрау Вальдорф, арестованная сначала по обвинению в убийстве, за отсутствием улик была освобождена.

НЕВЕСТА ИЗ ТУМАНА

Парижский случай

Он застрелился накануне дня своего рождения: ему исполнилось бы тридцать четыре года. Отличный возраст для художника, которому улыбнулась слава. Кишечник еще не окончательно атрофировался после долгой и жестокой голодовки на прославленном Монпарнасе, и легкие, прокопченные и подгнившие на грязных сырых чердаках, можно еще отмыть и укрепить где-нибудь в Савойе или Пиренеях голубым льдом сияющего горного воздуха.

Признание пришло к Александрову вовремя. Двух месяцев не понадобилось, чтобы из бледного, долговязого, робкого малого в провансальском берете и жалком непромокаемом пальто, озирающего на углу бульвара Распай голодными и жадными глазами каждый вечер одну и ту же картину скользящей мимо такой близкой и такой недоступной жизни (иностранцы, автомобили, огни баров, лотки с устрицами, занавешенные шелком окна, сквозь которые брызжет негритянская музыка и где сосредоточено все — женщины, деньги, еда, английские папиросы, калорифер, фантастический вкус никогда еще не пробованного шампанского), превратиться в довольно самоуверенного молодого «мэтра» в дорогом ловком костюме и галстуке с бульвара Мадлен. Он вернулся из Швейцарии, куда уезжал отдыхать и лечиться на первые, свалившиеся так неожиданно деньги, — совсем другим человеком. Не только легкие и желудок окрепли у подножья Монблана — окрепла и выросла, казалось, и его душа. Несколько этюдов, привезенных в Париж и неохотно показываемых, убедили самых взыскательных знатоков, что заезжий американский меценат, «открывший» безызвестного русского художника, не только не ошибся в нем, но напротив, пожалуй, недостаточно его оценил. Американец купил и увез в Бостон в свой дворец, полный Матиссами и Утрильо, десяток полотен очень талантливого начинающего — теперь в комнате большого

отеля на красном ковре, столах и широких кожаных креслах были разложены работы, в которых явственно проступали черты огромного, почти зрелого дарования. Трое главных торговцев картинами с рю де-ла-Боэси, трое диктаторов спроса и предложения в мире красок, при свете электричества (был декабрь, желтый туман плотно стоял у окон, и Париж напоминал Лондон) разглядывали эти рисунки, щупали их, подносили их к носу, и каждый соображал, какой ежемесячный фикс предложит художнику, чтобы право эксплуатировать этот удивительный талант осталось за ним, а не за конкурентами. Александров стоял в стороне, прихлебывая портвейн, грыз зажаренную тонкими лепестками картошку и спокойно ждал (за время обеспеченной жизни он научился спокойствию), когда они приступят к торгу. Он знал, что самый азартный из трех — Дюран — предложит, вероятно, больше других, но что Леконт — лучшая марка и более надежные руки и, пожалуй, вернее подписать контракт с Леконтом. Надо быть осторожным и благоразумным — и этому тоже тепло, отдых и текущий счет в базельском банке успели его научить. Выгодный контракт был подписан. На июнь по условию с импресарио была назначена выставка картин Александрова — тех картин, которые он должен был написать за зиму. Он снял студию и стал работать. Так по крайней мере думали все, так говорил он сам, изредка показываясь в «Куполе» или «Ротонде» на зависть менее удачливым приятелям. Впрочем, показывался он там только первое время. Вскоре его длинная фигура в толстом верблюжьем пальто совсем исчезла с Монпарнаса.

Александров к себе никого не приглашал, чужие приглашения отклонял, и в богеме скоро решили, что он загордился, завел более элегантные знакомства, жалеет те десяти- и двадцатифранковки, которые неизменно теперь у него спрашивал при встрече каждый голодный и бездомный член бесчисленного монпарнасского братства. Добродушно обозвав Александрова «Salaud», богема забыла о нем тем условным забвением, каким забывают художника или писателя: до новой книги или очередной выставки. Но поязвить и покритиковать на выставке Александрова обиженным завсегдатаям художественных кафе не пришлось. В конце марта велосипедисты-полицейские, объезжая на рассвете Булонский лес, нашли его лежащим ничком на берегу озера, у самой воды. Тут же валялся браунинг. Пуля прошла сердце навылет.

* * *

Александров покончил с собой в 1926 году. Странный же документ, проливающий на это самоубийство неясно-жуткий свет, был обнаружен три года спустя совершенно случайно. Александров — беженец с Кубани — был человеком одиноким. Наследником всех его художественных работ стал, естественно, тот самой мосье Леконт, с которым у художника был пятилетний контракт, прерванный непредусмотренным форс-мажором — выстрелом в сердце. Вместе с картинами и рисунками к Леконту, за неимением у Александрова родственников, перешли и его вещи. Вернее, аккуратный француз попросту забрал их в автомобиль, на котором увозил картины, рассудив, что вещи покойного художника справедливей раздарить его неимущим друзьям, чем оставить швейцарихе в виде баснословного посмертного «на чай». Он так и поступил. Когда в его бюро являлся какой-нибудь художественный попрошайка, Леконт дарил ему то костюм, то новенькую фетровую шляпу, то смену щегольского белья из довольно большого гардероба, заведенного Александровым в то время, когда «главного он еще не понимал», как сказано в его дневнике. Этот дневник был подарен Леконтом некоему П., явившемуся к нему за своей долей наследства последним и не заставшему уже ни широких гольфных штанов, ни отличных шелковых рубашек — только пакет с книгами.

— Вот тут архив вашего камрада, — больше у меня ничего нет, продайте букинисту, — сунул ему Леконт в руки объемистую пачку и выпроводил посетителя.

В нескольких листках синей шероховатой бумаги, которая зовется Энгр и служит для рисования белилами и сангиной, были завернуты: самоучитель английского языка, два-три романа, кипа художественных журналов, руководство хорошего тона, составленное знаменитым Полем Ребу, и холщовая тетрадь для эскизов, исписанная то пером, то карандашом.

* * *

«Новость: я веду дневник. Никогда прежде не чувствовал потребности в этом. Да и что было записывать? Неудачи, бедность, горе... Только неудачи, бедность и горе были моей жизнью. «Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастна по-своему». Может быть. Не мне спорить с Тол-

стым. Но мне кажется, что с отдельными человеческими жизнями дело обстоит как раз наоборот. Несчастье всегда одинаково: неудачи, бедность, горе. А каждая счастливая жизнь счастлива на свой особенный лад. Этим дневником я открываю свою счастливую жизнь.

Моя новая счастливая жизнь. Ей уже около двух недель, но только сегодня утром, выглянув из окна спального вагона на снег и Альпы, я понял, что она началась. Снег. Я смотрел на него новыми глазами, глазами счастливого человека. Он уже не пугал меня холодом, отсутствием угля, жалким летним пальто. Снег значил — лыжи, радостное возбуждение, огромный отель в горах, дорогой спортивный костюм. Счастье — прежде всего — свобода. Свобода — прежде всего — деньги. Денег у меня сейчас много. Даже слишком много — ведь я совсем не умею их тратить. И свободы тоже слишком много — еще неизвестно, что буду делать с ней. Но жаловаться на это не приходится. Напротив. Было бы, например, очень некстати тащить сейчас за собой в новую счастливую жизнь какую-нибудь набившую оскомину любовницу, тащить только потому, что она жила со мной на одном чердаке и штопала мои драные носки. Хвалю себя, что всегда был Волком-одиночкой, как прозвали меня на Монпарнасе. Если бы такая, оставшаяся от старого женщина у меня была, я бы, конечно, ее бросил вместе с носками и чердаком. Но это подлость, а с подлости новую жизнь нехорошо начинать».

Дальше шло описание фешенебельного горного курорта, несколько слов о мимолетной связи с американкой Патрицией — «как смешно — Патриция, а сама похожа на хорошенького котенка, даже мурлычет», легкой связи с легким расставаньем, «дарлинг, дарлинг, дарлинг — навеки», потом поцелуи, смех и цветы на перроне. Возвращение в Париж. «Контракт подписан. Кто мог думать — у меня коммерческие способности, Леконт только вздыхал». Потом переезд в новую студию — большую, светлую, с ванной, столовой и спальней — «целая квартира».

«Окно студии выходит в стилизованный парижский садик, и напротив, совсем близко, окна чужого особняка. Только два окна — особняк выходит в сад боковой пристройкой, и они прямо на уровне моего, смотрят в него, как два глаза. Не совсем приятно — так близко чья-то чужая жизнь. Впрочем, на окнах тюлевые занавески, да вообще можно туда не смотреть.

... Утром уже рисовал, но немного — больше устраивался. Переставлял кресло, просто так, для удовольствия. Безделье. Но это творческое безделье. Чувствую, что буду писать много

и хорошо, хорошо, как никогда. Весь Париж должен ахнуть в июне на моей выставке. И ахнет. Брал ванну днем — приятно, но глупо, можно простудиться. Потом поехал завтракать в шикарный ресторан. Ел бифштекс и компот — доктор велел щадить желудок. Но над бифштексом реяли все омары и фазаны, которые я теперь могу заказать. И от этого все показалось особенно вкусным. Взял бутылку шампанского. Выпил только один бокал — вредно, но произвел неотразимое впечатление на лакеев. Кланялись, как принцу Уэльскому. Приятно. Возвращался пешком. Какой туман! Совсем Лондон, как его описывают. Все таинственно расплывается, все очертания двоятся. Я немного заблудился, завернул не на мою улицу, а на параллельную... Да это лицевой фасад особняка, два окна которого смотрят прямо в мою студию. Красивое старинное здание, над воротами какой-то затейливый герб. Взглянул и хотел пройти, но тут из тумана вынырнул автомобиль и остановился у подъезда. Шофер, соскочив, открыл дверцу, и из автомобиля вышли новобрачные. Я остановился — нельзя же перебегать, как кошка, дорогу молодоженам. Кружево, шелк, ворох белых лилий... Невеста повернула голову, и я увидел ее лицо. Оно поразило меня. Оно было необыкновенно счастливо, неслыханно счастливо. Большие, светлые, прозрачные глаза смотрели куда-то поверх всего, маленький, очень красный рот улыбался. Но это не был взгляд, не была улыбка — это было само счастье. Счастье слишком явное, слишком большое, слишком глубокое для этих прозрачных глаз, красных губ, тонких бледных рук. Какое-то исключительное, нечеловеческое, даже бесчеловечное счастье. В нем было что-то жестокое, почти грубое, почти оскорбительное. И я на минуту в самом деле почувствовал себя оскорбленным. Как будто она, эта невеста, забрала себе одной все земное счастье. Как будто она обокрала весь мир, и меня в том числе.

Швейцар распахнул двери особняка, и она, эта слишком воздушная, слишком земная, слишком счастливая новобрачная, вошла в подъезд. За ней промелькнул «он» — высокий, худощавый, банально-элегантный в жакете и с цилиндром в руке. Дверь закрылась. Мне стало холодно. Я почувствовал во рту вкус ржавчины и светильного газа — вкус тумана. Противно. Завернул за угол и оказался перед своим домом.

Дома что-то читал и перебирал старые наброски. Скучно. Глупое чувство обездоленности, которое я испытал на улице, не хочет проходить. Глупо и смешно. Какое мне дело, что какая-то чувственная девчонка до неприличия влюблена? При

чем тут я? Она прелестна? Но прелестных женщин в Париже сколько угодно, Патриция была ничуть не хуже. А это сиянье чувственности даже отталкивает меня. Боюсь и не хочу. Прежде всего я должен быть свободен. Прежде всего искусство. Но на меня действует туман.

Впервые за эти два месяца я недоволен собой. И студия моя не кажется мне такой замечательной, как вчера. Стены следовало выкрасить на полтона темней, в более глубокий серый цвет. И кресла слишком мягки и буржуазно-роскошны. Впрочем, вздор — все очень хорошо.

* * *

Сегодня солнечный, розоватый день. Работал, но неудачно. Соседние окна раздражают и отвлекают внимание. Четыре часа дня, но занавески еще затянуты. Раньше их раздвигали с утра — я несколько раз видел лакея в полосатой куртке, который это делал. Может быть, там теперь спальня новобрачных. Тогда понятно — такая чувственная.

Обедал с Леконтом. Пройдоха. Льстит — шер мэтр, вы завоюете мир. Без него знаю. Пристает, чтобы показать ему новые картины, едва отделался. По крайней мере скажите, cher Alexandroff, много ли вы написали — ведь выставка не за горами. — Двенадцать полотен. — Расплылся в улыбку. — Ca c'est bien. Откровенно говоря, полотен даже больше двенадцати, но только чистых. На мольберте у меня стоит все тот же начатый холст, и я никак не соберусь его кончить. Надо подтянуться. Занавески так и остались спущенными весь день. Когда я вернулся вечером, за ними светился огонь, должно быть от ночника — слабый, мутный, розовый, какой-то липкий. Что он освещает сейчас, этот мутный розовый свет? Но какое мне дело? Гораздо полезней обдумать, как провести волнистую линию, которая мне не дается на моей картине. Если живописна плоскость...» Далее следуют технические рассуждения.

* * *

«Сегодня в половине первого один из пышных тюлевых воланов задвигался и я увидел невесту. Я хорошо разглядел ее. На ней было что-то легкое, белое, вроде ночной рубашки. Она глядела в сад и в мое окно тем же

расширенным, невидящим счастливым взглядом. И она улыбалась так же счастливо. Нет — еще более счастливо, уже не улыбкой, — гримасой счастья. Счастья, ненасытности и усталости.

Она стояла, прижавшись лбом к стеклу, будто отдыхая, будто собираясь с силами. За ней в глубине комнаты смутно белела широкая низкая кровать. Так она стояла минуту, может быть, две. Потом вдруг обернулась, протягивая кому-то руки. Занавески снова упали.

Все то же. Занавески опущены. Неужели она так никогда и не встает, не выходит гулять, не одевается? Чувствую, что во мне проснулась душа добродетельной старой девы. Я возмущен. Я готов кричать: c'est honteux! Я способен обратиться к полиции, чтобы прекратили это безобразие, порок и порчу нравов. Но шутки в сторону — меня это действительно раздражает. Чем? Что какая-то девчонка и какой-то рослый болван пять дней не встают с кровати. Так что ж? На здоровье, хоть месяц, если им нравится. А вот поди же. Меня это злит, бесит, лишает покоя. Я повседневно думаю только об этом.

Она опять раздвигала занавеску. Опять в рубашке, волосы растрепанные и глаза шалые. И опять это невозможное, звериное выражение счастья. День солнечный, яркий, но она сквозь тюль видна, как в тумане. Как в первый раз, когда она шла в фате и кружевах, с белыми лилиями, с этим пленительным и отталкивающим взглядом. Словно туман того дня не рассеялся и сгустился там, в той комнате, вокруг нее — и она в нем живет. Она подняла руку. Рубашка соскользнула с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно над левой грудью. Я смотрел на нее в бинокль, она должна была меня прекрасно видеть, — но не шевельнулась. Не поправила рубашки, не отвернулась даже — бесстыжая девчонка. Нет. Она не видела меня, ничего не видела — это ясно. Она отравлена любовью, и ничто другое не существует для нее. Я почувствовал ненависть к ней, ярость. Мне хотелось разбить окно и бросить в нее биноклем, поднять... скандал. Сделать что угодно, только бы эти светлые, прозрачные, невидящие глаза взглянули на меня сознательно, чтобы они увидели меня. («Увидели» было подчеркнуто.)

Что со мной? На что я злюсь? Какое мне дело? Разве я не прежний, счастливый, свободный Волк-одиночка? Разве мне надо что-нибудь, кроме славы, денег и свободы? Надо работать, вот что.

* * *

Вчера она уехала. Это странно, почти страшно. Не то, что она уехала, а то, что ее отъезд так взволновал меня.

Утром, впервые за все эти дни, занавески широко откинулись. Видел лакея, суетящегося в комнате. Вдруг к окну подошла она в шубке и маленькой белой шапочке. За ней муж. Она обняла его за шею и поцеловала долгим, невозможно долгим поцелуем. Точно не нацеловалась за эти дни. Они отошли от окна, и больше я ее не видел.

Занавески остались поднятыми и даже на ночь не опускались. И на следующий день тоже. Тогда я понял, что она уехала. Зачем? Не все ли ей равно, где целоваться — в Париже, в Ницце или Каире?

Сначала я обрадовался. Унесла нелегкая, не будет мешать мне работать. Сколько дней я баклушничал из-за нее, будто это я женился, будто это мой медовый месяц. С наслаждением я принял ванну, побрился, причесался, с наслаждением раскрыл ящик с красками и взял палитру. Но ничего не вышло. Все расплывается мутными пятнами, и вместо того, чтобы смотреть на картину, я все оборачивался на ее окна. Тревога все сильнее меня грызла. Наконец я замазал все, что нарисовал. Дома сидеть я не мог. Квартира моя вдруг опротивела мне. Будто я жил здесь с невестой и она уехала, бросила меня. Я прислонился к стеклу лбом (так стояла она несколько дней назад), и вдруг у меня защекотало в горле. Я всегда был сдержан, а видит Бог, у меня в жизни было достаточно поводов для слез.

На дворе шел дождь. Капли дождя стекали по стеклу. Я поднял руку и коснулся щеки. Она была мокра. Сначала я подумал, что это тоже дождь. Потом, когда я сообразил, что плачу, я испугался. Что же это? Где моя слава, свобода, счастье?

Пойду на Монмартр. Напьюсь. Говорят — помогает.

* * *

Голова болит. Но напиться вчера не пришлось. Вышло иное. Дико и непонятно.

Я пообедал один. Выпил бутылку вина и съел омара по-американски, не думая о желудке. Пока ел, было ничего, но потом стало еще тревожнее. Я вышел на площадь. Давно я не был здесь. Шумно, людно, отвратительно. Я зашел в большое

кафе. Мне было холодно. Я сел за свободный столик и, сняв перчатки, потер озябшие руки.

— Вам холодно? — спросил немного гортанный голос. — Выпейте грогу. И мне закажите — мне тоже холодно.

Я повернул голову и увидел прозрачные глаза, маленький красный рот, светлые волосы. Это была она, невеста. Ее глаза. Ее волосы. Ее руки. Только выражение лица было совсем другое — грустное и немного испуганное.

— И мне, — повторила она. — Или не хотите? Скупой?

Я заказал два грога, и она улыбнулась.

— Мне надоело сидеть, — сказала она, выпив. — Хочешь, пойдем?

Не было сомнений, кто она и чего хочет, но она была совсем непохожа на остальных женщин. Она казалась молодой, наивной и робкой.

— Пойдем ко мне, — предложил я.

— А где это?

Я назвал улицу.

— Ах, нет-нет, — замотала она головой. — Ах, нет. Туда не хочу. Я знаю здесь очень хороший отель. Очень хороший, — с убеждением повторила она. — И недорого.

Снова я шел по площади. Но теперь все вокруг казалось мне таинственным, волшебным, сказочным, как в детстве на Рождество. Фонари и огни реклам сияли, как свечи на елках, и сердце мое дрожало и падало. Я крепко держал ее за локоть.

Сонный лакей повел нас по узкой лестнице, отпер дверь.

— Вам тут будет хорошо, — сказал он. Меня поразила эта фраза. Откуда он знал, что мне будет хорошо?

Комната была жалкая. Большая кровать, умывальник, лампочка под низким потолком. Она сняла шляпу и пальто. Я смотрел на нее. Я ни о чем не спрашивал. Я был совершенно спокоен. Вся тревога моя прошла. Как будто именно этого я и ждал.

Она тоже молчала.

— Как красиво, — сказала она наконец, показывая на пестрые обои. — Птицы и цветы. Я люблю весну. Но и осень я тоже люблю. Дождь и туман. Потуши свет. — Зачем? — Она прижалась щекой к моему плечу. — Потуши, потуши. Я иначе не могу. Мне стыдно раздеваться.

— Разве ты не привыкла?

— Нет-нет. Я люблю тебя. Мне страшно, как будто я твоя невеста.

Невеста!

Потом снова свет ярко горел — кто его зажег, я или она? Я видел ее лицо: оно сияло счастьем. Оно было самим счастьем. Это искаженное счастьем лицо, эти прозрачные шалые глаза. Рубашка сползла с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно. Больше ничего не помню. На рассвете я проснулся один.

* * *

Три дня напрасно ищу ее. Нигде ее нет. Расспрашивал проституток и лакеев в кафе — никто ее не знает. Искал тот отель, где мы провели ночь. Не нашел — столько улочек и в каждой десяток отелей. Очень устал. Несчастен. Никогда еще не был так несчастен. Ее нигде нет.

* * *

Ее нет нигде.

* * *

Прошло две недели с той ночи.

* * *

Как я глуп! Искал ее по всему Парижу, а она тут, рядом. Занавески опущены — значит, она дома. Может быть, она вернулась в ту же ночь — ведь я ни разу не взглянул на ее окна. Сейчас же иду к ней.

Был там. Невероятно. Невозможно. Чудовищно. Булонский лес? Да, конечно, в Булонский лес. Шум деревьев поможет собраться мне с мыслями. Я всегда любил деревья. Я рисовал их. Мне казалось, что в их свежей листве сосредоточена вся свежесть мира.

Уже утро. Над озерами утренний туман. Я первый раз увидел ее в тумане...»

* * *

Долго волновались на Монпарнасе. Много кофе и пива было выпито, много папирос выкурено, пока пришли к решению: пойти в тот особняк, добраться до женщины, погубившей Александрова.

Предприятие казалось трудным, почти невыполнимым. Она не примет художников, не пожелает с ними говорить.

Но все оказалось очень просто. Седой лакей впустил их и пошел доложить хозяйке. Минут десять спустя в гостиную вышла худощавая дряхлая маленькая старушка в широком шумном шелковом платье. За нею бежала болонка. Старушка грациозно опустилась в кресло и предложила всем сесть.

— Чем я обязана честью?.. — слегка жеманно спросила она.

П., краснея и сбиваясь, стал говорить про молодую женщину, «живущую или жившую тут три года назад». Старушка перебила его:

— Никакой молодой женщины, мосье, здесь не живет и не жило с тех пор, как я сама перестала быть молодой. Но это было очень давно. И вся прислуга у меня мужская, кроме старой камеристки.

П. все еще настаивал.

— Новобрачные, окна выходят в сад...

Старушка покачала головой.

— Вы заблуждаетесь, мосье. Но я вспоминаю, что не вы первый меня об этом спрашиваете. Года три-четыре тому назад ко мне приходил неизвестный, очень странный молодой человек и что-то кричал о невесте, и плакал, и умолял меня. Мне стало его жаль, и я провела его в комнату, выходящую в сад. Вам я тоже могу ее показать.

Комната была большая. Это был старомодно обставленный кабинет. Мебель была тяжелая, резная, на стене, среди ружей и пистолетов, висел портрет бравого гвардейца в траурной раме. У одного из окон стояла огромная клетка с канарейками.

— С тех пор как мой бедный муж был убит под Седаном, ничего не изменилось здесь. Только канареек приходится заводить новых — они так недолговечны. Но мой покойный муж их очень любил.

ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНА

Медленно ползет поезд по засыпанным снегом рельсам. Медленно взбирается на гору, сотрясается всеми своими чугунными суставами и останавливается. Станция. Пустая, истоптанная валенками платформа. Черные, голые ветки над водокачкой. Каркающие вороны. Снежная даль.

На платформе пустота. У двери с надписью «Выход» озябший красноармеец с ружьем. Между створками двери и ручкой просунуто полено так, чтобы с другой стороны нельзя было бы открыть. Из-за двери слышен какой-то гул.

Поезд стоит. Паровоз со свистом выпускает пар. Вороны каркают. Красноармеец зябко переминается с ноги на ногу. За дверьми, которые он сторожит, смутный гул усиливается.

Так проходит пять, десять, пятнадцать минут. Потом появляется человек в фуражке с голубым околышем, в галифе, в новом романовском полушубке. Он щелкает серебряным портсигаром, лихо, «по-гвардейски» надламывает мундштук, закуривает и вразвалку, похлопывая по расстегнутой кобуре нагана, проходит вдоль платформы. Останавливается, зевает, смотрит на часы, швыряет окурок. И лениво кричит красноармейцу у дверей:

— Эй, товарищ, — пускай.

Красноармеец прикладом винтовки вышибает держащее дверь полено. Дверь распахивается.

Рев, топот, ругань, отчаянные возгласы разом наполняют платформу. Это пассажиры, которые торопятся занять места. Они знают по опыту, что надо очень торопиться, — пускают на платформу перед самым звонком. Конечно, теплушка давно переполнена на предыдущих станциях, конечно, паровоз сейчас затрубит, чугунные суставы дрогнут, ругань и топот усилятся, вороны с испуганным карканьем взлетят с рельс. И конечно, половина «отъезжающих» никуда не уедет, — останутся ждать следующего поезда, который неизвестно когда придет. Может быть, завтра, может быть, послезавтра...

— Голубчики, Христа ради...

— Открывай, с.с. комендантский. Видишь мандат?

— Сенька, валяй на буфер!

— Узел... Батюшки — узел где?

Поезд медленно трогается дальше по засыпанным снегом рельсам. Для меня все это привычная картина. Уже часов шесть я мерзну так у окна в коридоре, и предстоит мне мерзнуть еще часов десять. Холодно. Станция пропала из глаз. Снова низкое небо, синяя бесконечная линия лесов на горизонте, снег, кочки, вороны...

1920 год, зима. Я еду из Петербурга подкормиться, отдохнуть, пожить две-три недели в хорошо натопленной комнате, ни о чем не заботясь. Все это ждет меня у цели моего путешествия в глухом городке Псковской губернии, — куда я направляюсь. Это для петербуржца, за годы революции никуда из города не выезжавшего, — очень соблазнительно, но поездка так длинна, скучна, монотонна, в вагоне так холодно, — что я уже горько каюсь, зачем я на свое мученье ею соблазнился.

* * *

Оттепель. И пахнет весной. Отогревшись в комнате, так натопленной, что я давно и забыл, что бывает на свете такое ровное, блаженное «березовое» тепло, и соответственно позавтракав (нет, мой приятель, выписавший меня сюда, не преувеличивал, обещая все блага земные, и не напрасно я мерз пятнадцать часов в вагоне), я пошел прогуляться по городу. Впервые в жизни я был в советской провинции. Впечатление было странное. Впечатление было такое, точно частных жилищ в городе нет, — есть только начальство.

Повсюду, над каждой дверью, новенькие красные вывески с золотыми серпом и молотом, с новенькими золотыми буквами: Уполномоченный, Управляющий, Зам, Пред, Зав, Упл, Упр... И перед каждой дверью стоял хвост смирных, молчаливых, захудалых «пскопских» мужиков с какими-то талонами и ордерами в руках, чающих получить что-то от этих завов и замов.

По главной улице — конечно, улице Ленина — я вышел на площадь — ну, разумеется, площадь 26 Октября. На площади — большое кирпичное здание без окон, с огромными железными воротами. На фронтоне ржавая вывеска: «Мучное дело Н.Арбузова», но пониже, над самыми дверьми, под неизменным серпом и молотом: «Государственный Театр Исканий». И ря-

дом афиша — «Воскресенье: «Незнакомка» Блока. Среда: «Федра по Рейнгардту». Пятница: “Принцесса Турандот”».

В этом советском захолустье (от станции двадцать верст, и снег на дороге лежит пластом не меньше чем в два аршина) на этой «площади 26 Октября», где «пскопские» мужички безнадежно выстаивают в бесконечных очередях, а их голодные клячи, за отсутствием сена, жуют друг другу хвосты, на этой кирпичной стене «Мучного дела Н.Арбузова», волею революции превращенного в театр, да еще «исканий», — эти «Принцессы Турандот» и «Федры по Рейнгардту» выглядели вполне дико. Господи! Да кто их смотрит? И ставит кто?

Железная дверь завизжала на ржавых скобах. Из нее вышли двое. Человек лет сорока пяти, полный, похожий на купца средней руки или солидного артельщика. Под мышкой у него был костыль, вместо левой ноги деревяшка. И другой, ростом пониже, наружностью побеспокойней, суетливый старик в шапке с ушами, подвязанной бантиком, словно дамский капор. Старичок пропустил «артельщика» вперед, поддержав под локоток: «Не оступитесь, товарищ, скользко...», поднес спичку к его потухшей папироске: «Огоньку, товарищ, у вас не курится», закрыл дверь и, ерзая как-то, протянул ключ: «Ключик, товарищ, — это ваш, мой — у меня».

Что-то такое в наружности явно заискивающего перед человеком с деревяшкой старичка показалось мне знакомым. Даже очень знакомым. Я вгляделся в него пристальней.

Он тоже смотрел на меня. Лицо его вдруг дернулось, удивилось, оживилось. Сухие пальцы выпростались из руковицы и зашарили в кармане. Потом в них что-то блеснуло. Это что-то старичок подбросил в воздухе ловким, уверенным, привычным движением. И, о Господи, — в глазу его засиял монокль.

— Cher... Жорж... Сколько лет, сколько зим!

И искательно сюсюкая в сторону человека с деревяшкой:

— Товарищ, позвольте вам представить... Cher Жорж, — ах mon Dieu, какая встреча — в лице товарища Медякина, председателя нашего наркомпроса, вы видите не только представителя власти, но и знатока театра, ценителя, прекрасного поэта...

При слове «поэта» лицо председателя наркомпроса, довольно хмурое, расплывается.

— Весьма приятно, — говорит он нараспев мягким ярославским говорком. — С образованным человеком и вообще. Действительно пописываю отчасти, так сказать, в часы досуга. Писать действительно есть о чем — за бойню капиталистическую, да за революцию, чего глаза мои не ви-

дели. Только техника проклятая не дается. Борис Сергеич вот обучают меня, толкуют мне как и что, спасибо им. Действительно антересуюсь. Но какой там поет. Так... в часы досуга... Из пережитого...

— Товарищ делает поразительные успехи в стихосложении, — льстиво сюсюкал князь М.

Ну да. Этот старичок в капоре — конечно, это князь М. Ну да...

...Красные восковые свечи оплывают в серебряных канделябрах, в широких окнах тускло блестит ночная Нева, чинный лакей разливает замороженный Редерер, и гости (это литературный вечер и гости литературные — Кузмин, Вячеслав Иванов, Ахматова, Н.Н.Врангель) рассуждают с хозяином этого пышного кабинета с окнами на Французскую набережную кто о чем: Кузмин о галстуках, Вячеслав Иванов о Лопе де Вега, Врангель о каких-то гравюрах... И хозяин все знает — и испанскую поэзию, и гравюры, и то, что думал Оскар Уайльд о манере Барбэ д'Оревильи повязывать галстук. Он очень мил, этот хозяин, очень богат, невероятно начитан и при этом грациозно, очаровательно глуп. Кажется, он пользуется чрезвычайным успехом у женщин. Что же, он не особенно красив, зато князь богат, изящен и самое большее ему тридцать пять лет. Это в 1914 — 1915 годах. И вот четыре года спустя — старик в тулупе, поддерживающий под руку председателя наркомпроса.

«Товарищ, не оступитесь, скользко...»

«Товарищ делает поразительные успехи...»

«Знаток театра, ценитель прекрасного, поэт...»

— Действительно антересуюсь... Из пережитого... В часы досуга...

* * *

В печке жарко горят белые березовые дрова. За оттаявшим окном смотрят белые зимние звезды. У меня в комнате сидит князь М. Сидит уже часа два... Он принес с собой бутылку самогона (за уроки поэзии его сановный ученик платит самогоном), выпил почти всю ее сам и теперь пьян.

— Ah, qu'elles sont mignonnes les frutts de la petite Ninon, — затягивает он срывающимся тенорком. Потом плачет. — Если бы вы знали, как я ее люблю!

Он уже рассказал мне, привирая и хвастая, историю своего пребывания здесь. От привиранья и хвастовства — «меня здесь очень, очень ценят», «великая задача приобщить народ к искусству меня захватила» — жалкая и пронзительная суть этой истории только ярче выступает. Он почти нищенствует, даже угла собственного не имеет, — живет в одной комнате с каким-то бывшим акцизным, «представьте, э...э...э... очень культурным человеком», и деятельность его — все эти «Федры по Рейнгардту» — возбуждает одни насмешки, — публика требует чеховского «Медведя». Каждую минуту ему колют глаза тем, что он барин, князь... «классово-враждебный элемент», и в то же время не верят его рассказам о Редерере, Французской набережной, рысаках, деньгах. Так что хотя и «ценят» и «великая задача», но здесь он задыхается и уехать в Петербург, хотя бы и на большее нищенство, ему кажется раем, блаженством. Но уехать немыслимо. Уехать — умереть.

— Если бы вы знали, как я ее люблю!

Кто она — он объясняет нескладно. Может быть, от смущения, может быть, от слишком много выпитого самогона. Я узнаю только, что она ангел, прелесть, «лилия белая, выросшая в тине, роза Новалиса. Он цитирует строчки собственных сонетов, рассказывает, как она улыбнулась, как удивительно она что-то сказала, как он впервые ее увидел и что почувствовал. Помните, у Камоэнса, — «В беззащитное сердце кинжалом дамасским удар»?.. Сквозь эту путаницу я понимаю ясно только одно: несчастный отчаянно влюблен, и влюблен, кажется, вполне безнадежно.

— Вот не предполагал, — говорю я, чтобы придать более легкий тон нашему разговору, — не предполагал, что вы, Дон-Жуан, эстет, могли так сильно влюбиться. Ваши прежние романы...

— Не вспоминайте о них, — почти кричит он. — Мое прошлое — грязь и низость, не вспоминайте о нем. О, как бы я хотел все забыть, ничего не знать, быть таким же, как она, чистым ребенком.

В моей памяти встают кое-какие картинки из прошлого князя М., и невольно я улыбаюсь. И в то же время мне делается еще как-то грустнее. В самом деле — передо мной несчастный, потерянный, тонущий человек. И что я могу ему сказать, чем могу помочь?

М. еще долго сидит у меня. Потом он жмет мне руки, истерически, неизвестно за что благодарит и уходит. Через минуту — стук в дверь. Квартирная хозяйка пришла справиться, не хочу ли я чаю. Она очень жантильная особа, вдова того самого Арбузова, в складе которого помещается теперь «Государствен-

ный Театр Исканий». Она успела мне сообщить, что жила в Казани и Смоленске, имела картину Клевера (музейная вещь, теперь в Музее революции и висит) и что покойный супруг хоть и торговал мукой, но «в общем был чиновник, совершенный чиновник». Ясно, что ей хочется поболтать. Я подвигаю ей стул. Она не садится, но и не уходит. Я ее спрашиваю о местной жизни — правда ли, например, что волки иногда забираются на самую площадь Октября? Оказывается, правда. Мимоходом я осведомляюсь, знает ли она Анну Ивановну, страсть князя М.

Жена «чиновника в душе», только что такая словоохотливая, вдруг заливается краской и молчит. Я повторяю вопрос.

— Кто же ее не знает!

— Ну, вот расскажите мне, пожалуйста. Что она, славная барышня? Красива? Чем занимается?

Она краснеет еще пуще.

— Извиняюсь, — говорит она жантильно и как будто обиженно. — Извиняюсь. Я в Петербурге не бывала, но приличья знаю. Не пристало в опчестве говорить о таких занятиях.

Я все еще не понимаю.

— Почему же не пристало? Что же, большевичка она?

«Чиновница в душе» язвительно усмехается.

— Большевичка! Это бы еще туда-сюда. Впрочем, и большевичка, — весь совдеп с ней... Извиняюсь, гражданин, даже думать противно. И к словам таким я отродясь не привыкла. Чем занимается? Да этим самым и занимается. Гулящая она, самая последняя из гулящих, вот что, — выпаливает вдруг вдова и, негодующе звеня стаканами, уходит.

Я долго еще сижу, думаю о князе М. В печке догорают дрова, в окна смотрят звезды.

* * *

На другой день я был в «Театре Исканий» и смотрел «Федру по Рейнгардту». В огромном промозглом сарае пахло мышами и лежалой мукой. В глазу М. сиял монокль, на голове была все та же шапка с ушками. Пар валил из его рта, когда он читал по бумажке вступление к спектаклю, какую-то туманную «мейерхольдовщину» собственного сочинения. Его плохо слушали. Потом начался самый спектакль, плод режиссерства М. Описывать его незачем: «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Мне же было крайне грустно смотреть на М., на его монокль и шапку, на всю ерунду «по Рейнгардту», дело его рук. Наконец томительное зрелище кончилось. Покровитель искусств, безногий товарищ Медякин, подошел ко мне и пригласил меня отужинать. «Так, закусочка маленькая для товарищей артистов в своем кругу». Я заранее знал, что меня пригласят, и заранее решил пойти: там должна была быть «роза Новалиса» или «гулящая из гулящих» — Анна Ивановна, страсть моего бедного князя.

И вот я сижу за длинным столом. Гостей человек сорок. Кто они? — Пять-шесть актеров, разыгрывавших только что «Федру», красный командир-агроном. Об остальных, пожалуй, лучше не спрашивать, впрочем, я спросил о некоторых. Человек, которого я принял за местного главного чекиста — такой у него был типичный вид, — оказался ученым-лесоводом. — А это кто? — осведомился я про кривого старика военной выправки, молча и, как мне показалось, жадно евшего. — Не узнаете? Генерал Куропаткин. — Как? Какой? — Тот самый, главнокомандующий. Я с изумлением вгляделся. В самом деле, те же, знакомые по бесчисленным портретам черты. — Как он-то сюда попал? — Что ж такого, он теперь сельским учителем, ребят учит. Очень уважают его в губернии.

Анна Ивановна тоже здесь. Она сидит на другом конце стола между ученым-лесоводом и председателем. Она бойко пьет самогон, громко хохочет. Красива она? Не сказал бы. Но без сомнения, миловидна. Серые «волжские» глаза, свежий северный румянец, вздернутый короткий нос. И когда она смеется — а смеется она все время, — белые ровные зубы ее блестят ослепительно.

По мере того как выпитого становится все больше и больше, «закусочка» становится все шумней. Принесли гитару и две балалайки. Председатель наркомпроса, встав на стул, произносит речь, но никто его не слушает. Да и слышно плохо: Антанта, товарищи. Нож в спину революции. Гидра пролетарского класса. Махнув рукой, он наконец садится, выпивает залпом стакан и, обведя кругом бессмысленным взглядом, тихо опускает голову на скатерть. После него еще кто-то говорит политическую речь — с тем же успехом. Потом под треньканье балалайки и гитары Анна Ивановна танцует русскую с ученым-лесоводом. Танцует она очень легко и бойко. Голова запрокинута, губы смеются, зубы блестят, полная белая рука лихо машет красным платочком...

«Еще потом» я полулежу в каком-то кресле, и передо мной стоит князь М. Лицо его бледно, как бумага, губы совсем синие.

— Видели, какая она? Видели? Как она танцевала, видели?

— Дорогой друг, — говорю я. — Она прелестна, и я вполне понимаю вас. Но то, что вы так трагически переживаете, это не понимаю. Я уверен, что можно к ней подойти иначе, проще... как другие.

— Как другие? — повторяет он. — Как этот лесовод, который только вчера приехал? Они ушли отсюда вместе. Может быть, к ней? Наверное, к ней. — Лицо его становится еще белей, губы еще синей, еще уже.

— А мне... Знаете, что она мне сказала сегодня. Знаете что? Никогда подола моего не поцелуешь, никогда, слышишь, ты. Это мне за всю мою любовь, всю мою жизнь. Да, жизнь... Да, никогда...

Потом мы идем домой, молча дыша в поднятые воротники. Лютый холод. Кое-где на улицах разложены костры, чтоб пугать волков — вчера они забрались в конюшню и разорвали лошадь. В черном морозном воздухе мне чудится их жалобный вой. Снег по колена. Скорей бы домой. И зачем я сюда приехал?..

Прощаясь со мной, М. говорит:

— Это все прошло. Минута слабости. Я спокоен, и голова моя работает правильно. Конечно, вы правы — надо проще... грубее... Или еще лучше — ничего не надо — забыть, вычеркнуть из сердца. Я так и поступлю. Вы скоро убедитесь в этом.

* * *

Советская печать не любит «мелкобуржуазных сенсаций». Об убийстве М. его возлюбленной промелькнуло в газетах всего несколько строк. Случилось это летом, спустя полгода после нашей встречи. Из сухого и небрежного отчета псковского «собкора» обстоятельства драмы были неясны. Сказано было только, что убийство было очень жестокое: на теле покойной было найдено четырнадцать ран, нанесенных кухонным ножом. Еще было прибавлено, что убийца — «белогвардеец и бывший князь, примазавшийся к местному народному театру», — симулировал при аресте сумасшествие. На все вопросы следственных властей он отвечал улыбаясь и торжественно скандируя каждый слог — «Любовь бессмертна».

ВЕСЕЛЫЙ БАЛ

Днем таяло, был легкий мороз, — затянувшиеся ледком лужи слабо похрустывали под ногами. Был февраль или март, час или два ночи. «Милицейский час» давно уже наступил — «свободное хождение» разрешалось тогда, кажется, до одиннадцати. Но мне до этого не было дела — в кармане у меня лежал пропуск, взглянув на который милиционеры вежливо козыряли и даже желали счастливого пути. Это был чудный пропуск, не хуже тех, которыми были снабжены члены Петросовета и другие сильные мира сего. На казенном бланке с круглой печатью, на которой вокруг серпа и молота отчетливо выделялись магические слова «Профессиональный союз...», значилось, что «товарищ Г.В.Иванов, Секретарь и член Президиума этого союза, имеет надобность по роду занятий ходить ночью, и все революционные власти приглашаются ему содействовать». Подпись красными, как полагалось, чернилами — «за председателя», стоявшая под всем этим, была неразборчива — закорючка и жирный росчерк. Так расписывается, впрочем, большинство председателей, и революционных, и буржуазных. Но на этот раз неразборчивость была намеренная; это я сам выдал себе пропуск и сам на нем расписался. Профессиональный союз, членом президиума которого я состоял, — был всего лишь профессиональным союзом... поэтов. И никакого права не только выдавать какие-нибудь «мандаты», но и называться «профессиональным» не имел. Но вот назывался и выдавал — и мандаты эти исправно действовали.

Был час или два ночи, ясное небо, легкий мороз. Я шел по Греческому к Бассейной. Светила луна. В ее холодном, мечтательном, «довоенном», как кто-то выразился, свете Петербург казался не таким, как он был в те дни: обобранным, разоренным, мертвым, — нет, он казался мирным провинциальным городом, в котором по благоразумной экономии фонари потушены: луна светит, да и обыватели спят — чего же им гореть.

На углу Бассейной, впрочем, эта мирная картина обрывалась. «Довоенный» свет ярко заливал Мальцевский рынок.

Когда рынки были закрыты, был издан приказ сровнять с землей эти видимые призраки «проклятого наследства», сровнять и превратить в сады «отдыха». Как водится в царстве пролетариата, ломать начали охотно, с «революционной энергией». Но тоже, как водится, скоро энергия эта остыла или направилась на что-нибудь другое, свеженькое и более интересное, обдирание церковных риз например. И на месте будущих садов «отдыха» остались торчать голые ребра галерей, какие-то сваи, какие-то рамы, то зияющие черными проломами, то блестящие уцелевшими осколками стекол.

Ночью, в лунном свете, эти руины выглядели дико и величественно. Не то взорванный броненосец на дне моря (зеленый воздух совсем как вода, и белые редкие облака точно большие рыбы), не то развалины замка с привидениями.

Я подумал это и вздрогнул: из темноты узкого прохода между рынком и соседним огромным домом тихо появилось в лунном свете... привидение.

Что-то большое, черное, продолговатое, только смутно напоминающее своими очертаниями обыкновенную человеческую фигуру, вышло из темноты и медленно приближалось ко мне. Я остановился с легким холодком в сердце. Фигура, странно раскачиваясь, медленно ко мне приближалась. На голове ее был котелок. На ногах ярко блестели новые калоши... Вблизи я понял, почему очертания этого человека имели столь странный вид: он был закутан в стеганое шелковое одеяло вишневого цвета.

— Товарищ, я болен, я голоден... — начал он тихим шепотом. Потом, оглядев меня и по моему виду (в «довоенном» свете придавленная шляпа и мое видавшее виды пальто выглядели, должно быть, более «довоенно», чем это было на самом деле) заключив, вероятно, что я не «товарищ», перешел на французский:

— Je meurs de faim.

— Но у меня нет с собой хлеба. Я могу дать вам денег.

Он вдруг быстро выхватил деньги, упал на колени и поцеловал фалду моего пальто.

— Mersi, mersi, que Dieu vous benisse.

— Что вы делаете? Успокойтесь, ради Бога... Где вы живете? Хотите, я доведу вас домой...

Но он уже сам встал, поправил свое одеяло, стряхнул с коленей снег, спрятал деньги. Теперь вид у него был спокойный, даже безразличный.

Я постоял с ним еще. Он молчал.

— До свидания, — сказал я, — идите домой, а то попадетесь на обход.

— Au revoir, — ответил он с забавной церемонностью, приподнимая котелок, и шагнул в тень.

— Идите домой, — повторил я еще раз и пошел своей дорогой.

Около Надеждинской я услышал за собой какой-то глухой топот. По пустой улице, посредине ее, между блестящими полосами трамвайных рельс, бежал человек в одеяле. Он бежал быстро, задыхаясь, что-то крича. Одеяло развевалось точно плащ, котелка на его голове уже не было — свалился. Он пробежал мимо меня, не заметив меня. «Меня хотят убить!» — долетели до меня слова.

Около Дома литераторов он остановился, растерянно озираясь, должно быть ища меня. Подойти к нему?.. Но что я буду делать ночью, в советском Петербурге, с сумасшедшим? И я, хоть и испытывая некоторые угрызения совести, свернул по Надеждинской налево, чтобы избежать встречи.

* * *

Я не люблю балов. Но это был необыкновенно веселый бал.

Скучал на нем только один человек — Василий Князев, бывший сатириконец. Его прислала «Красная газета» — «наблюсти и донести». И он, несчастный, слонялся по залам, в толпе, где все были с ним знакомы, но никто не раскланивался, хмурился, щурился, выглядывал, чтобы назавтра тиснуть стишок, где описывается наглость «утопающих в пирожных недорезанных», их

разутюженные брючки,
миль пардон, какие ручки...

И кончить свой донос в рифмах рефреном: «Ах, Чека, где ты! Откликнись...»

Понятно, что Василию Князеву было скучно. Но остальные веселились, как дети.

Это был бал Дома искусств 6 января 1921 года. Первый бал за три года существования «Северной Коммуны».

Для слишком забывчивых напоминаю: 1920 год, холод, нищета, обыски, керосиновые коптилки, ночь, смерть... Три года назад — «Великий Октябрь», через год с лишним загрохочут кронштадтские пушки. Словом, самое глухое, чер-

ное, безнадежное время — «полюс» военного коммунизма. И вдруг...

И вдруг — маски, фраки, улыбки, запах духов, французский говор. Музыка сладко вздыхает, пары кружатся. В большой столовой ужинают. Чем ужинают — неважно, но хрусталь блестит, люстры сияют, чинные лакеи в белых перчатках чинно обносят «господ». Вдруг — откуда-то — призрак легкой, свободной, прелестной жизни, давно потерянной, давно забытой... Я не люблю балов, но в этом балу, право, было что-то волшебное. И головы кружились не только от смеси льда, клюквы, сахарина и спирта, которая называлась крюшоном и подавалась почти открыто.

Я танцую с дамой, с которой кто-то только что меня познакомил. Музыка сладко вздыхает, шелк шуршит, голова кружится. Мы пьем, пьем крюшон, снова танцуем, снова пьем. Музыка вздыхает, шелк шуршит, арлекины и пастушки кружатся в вальсе. У моей дамы — кто она, я не знаю, да и к чему мне знать, — тонкие подрисованные брови, худые набеленные плечи, белый парик. Нравится она мне? Тоже не знаю... Но мне приятно пить с ней эту смесь льда и спирта, танцевать, говорить какой-то вздор, потому что все это — и она, и наш разговор, и музыка — призрак легкой, прелестной, потерянной жизни.

Держи, если можешь, она улетает,
Она улетит, и никто не догонит...

— Если хотите, я могу устроить.

— Что устроить? — удивляюсь я.

— Это... Переезд через границу.

Я ничего не понимаю. Разве я говорил ей, что хочу бежать за границу?

Моя дама смеется. Она смеется очень мило, как-то по-детски, чуть задыхаясь. Смеется и грозит мне набеленным пальчиком. На пальчике бриллиант — ого, какой большой.

— Он не говорил! Вы же пять минут тому назад рассказывали, что хотели бежать, ищете случая. Он не говорил!

Она снова смеется:

— Неужели такой пьяный?

Должно быть, я действительно пьян, с непривычки, потому что ничего не помню. А ведь, значит, говорил, раз она знает. Все это правда — и бежать собираюсь, и случая ищу... Но... решительно не помню.

— Такой пьяный. Или, может быть, осторожный — испугался...

Должно быть, пьян. Вот, например, вожусь с женщиной целый час, ужинаю с ней, пью, танцую, даже поцеловал ее в коридоре буфета. (Губы холодноватые, влажные... Нравятся? Не знаю...) Но только теперь заметил, что она выговаривает как-то странно.

— Вы иностранка? — спрашиваю я.

— Почему предполагаете вы? — отвечает она.

О, это «предполагаете вы»! И как я раньше не обратил внимания. Ясно — финка, немка. — Почему предполагаю я? Да потому, что:

Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...

Но она, должно быть, не читала Блока и, кажется, обижается. Говорит церемонно:

— Нет, я очень хорошо знаю по-русски. И я русская.

— Идемте пить крюшон, — перебиваю я примирительно. — И не все ли равно, кто вы — русская, немка, итальянка. Идемте пить крюшон. Вы — это вы, остальное безразлично.

Но она качает головой:

— Нет, я больше не хочу пить. Я хочу домой. Нет, и домой не хочу. Ведь там опять... Ах, как грустно... Как грустно...

— Что грустно?

— Жить.

— Почему же вам грустно жить?

Она поднимает свои тонкие подрисованные брови:

— Почему? От любви, конечно, от любви.. О, как я влюблена...

И, точно продолжая прерванный рассказ, неожиданно, ничего не поясняя, скороговоркой:

— Ведь мы с сестрой близнецы... так похожи друг на друга, что в детстве мама надевала нам разные банты, чтобы не путать. Ей розовый, мне голубой. Иногда мы шалили, менялись бантами. И мама путала, называя меня Лизхен, ее Катринхен...

Вздох. Какое-то зябкое движение плеч. Из худых набеленных пальцев падает потухшая папироса.

— Мы были так дружны, так дружны. Я плакала, когда увидела его в первый раз, — так он мне «понравился». Я желала ей самого лучшего жениха, богача, гвардейца, красавца. А он... Да, очень не понравился. И я плакала, что у моей милой Кат-

ринхен такой жених. И вдруг, теперь, пять лет спустя... Как это случилось? Как это могло случиться?..

Она поправляет волосы.

— Ну, прощайте, мой милый кавалер... Мне пора домой.

— Постойте, расскажите мне до конца. Выпейте еще вина. — Я протягиваю ей стакан. — Расскажите, что же теперь. Вы влюбились в мужа вашей сестры, так?

Она держит поданный мной стакан нерешительно, точно хочет его отставить. Потом поднимает, смотрит на свет, прищурясь.

— Как красиво, — говорит она мечтательно, — точно слезы и кровь. И мы пьем. Слезы и кровь. Как странно.

И, залпом выпив, смеется:

— А на самом деле не кровь, клюква, и не слезы, водка. Клюква и водка.

— Расскажите же, — повторяю я...

— Ах, это... О моей любви? Кажется, так вы выразились? Нет, любовь — неподходящее слово...

Она медленно пьет, медленно проводит рукой по лбу.

— Любовь. Но что такое любовь? А? Что? Кровь и лед? Или водка и клюква? Или то и другое, то и другое, а? Скажите же мне...

Стакан падает на пол и разбивается. Остатки крюшона проливаются на ее платье. Платье белое — пятна красные... В самом деле, точно кровь на белом шелку. Но она этого не замечает, кажется, она ничего не замечает. Брови приподняты, глаза уставлены в одну точку, подкрашенные губы чуть шевелятся.

— Любовь? Что ж, пожалуй, если нет другого слова. Все равно, не в словах дело. Но какая тяжесть, какая мука...

И, точно задыхаясь:

— Все против меня. И сестра, и дети — его дети, — и прошлое, эти глупые банты муаровые — у нее розовый, у меня голубой. Менялись ими. Теперь тоже надо меняться. Она не хочет. Зато я хочу, я. У нее жизнь, у меня смерть. А надо наоборот: ей смерть, мне жизнь.

— ...Страшно... Кровь и слезы. Вздор. Водка и клюква. Налейте мне еще... И он тоже против меня... О, больше всех, пожалуй. Грозит, плачет, хочет убить меня. Потом мне же ноги целует. Глупости делает: раз убежал, ночью, без пальто, в одеяле, полуодетый... В милицию попал — чуть в сумасшедший дом не отправили...

— В одеяле, ночью?.. Бледное лицо, подстриженные усы? И котелок, не правда ли? Месяца два тому назад? На Бассейной?

— Вы его видели, — говорит она совсем другим, равнодушным тоном. — Котелок. Одеяло вишневое, шелковое. Мое одеяло, в ту ночь мне пришлось покрываться шубами. Он, конечно. Так вы его видели? Как, однако, свет мал. Ну, мне пора. До свиданья.

В прихожей я подаю ей пальто — легкую котиковую шубку на пестрой подкладке, сильно надушенную. Мало у кого в Петербурге сохранились такие шубки...

Она дает швейцару на чай. Я мельком взглядываю на деньги. Раз в пять больше, чем то, что я «ссудил» когда-то ее «странному».

— Прощайте. Провожать? Нет, не надо — у подъезда меня ждет лошадь. Пропуск? Пропуск тоже есть. Что? Да, служебный. Какая у меня служба? О, очень хорошая служба — легкая, веселая... Ну, прощайте, прощайте...

Дверь хлопает, и в передней остается только запах ее духов, резкий, сладкий запах. Кажется, это «Астрис-Пивера».

В зале Гумилев берет меня под руку.

— Жорж, ты неосторожен. Я слышал, как ты откровенничал со своей дамой, болтал, что за границу хочешь. А мне только что сказали, что она особа очень подозрительная, чуть ли не чекистка.

— Кто сказал? — спрашиваю я вяло. Я вдруг понимаю, что ужасно устал, слишком много выпил крюшону, чувствую полное безразличие ко всему на свете, кроме одного — спать.

— Н. сказал. Он ее знает. Погоди, я сейчас его расспрошу еще.

Гумилев уходит. Я, зевая, жду. Через минуту он возвращается.

— Ты погиб, — говорит он полусмеясь, полусерьезно. — Н., правда, мало о ней слышал, но и того, что он сказал, достаточно. Ты погиб. Подумай только — ее фамилия — Маузер.

Потом я бреду домой по засыпанным улицам, не думая ни о чем, кроме одного — спать. Потом сплю. Во сне вижу человека в одеяле, детские банты, розовый и голубой, тонкие накрашенные губы. Они улыбаются. Они говорят что-то. Что? Кровь и слезы. Водка и клюква. Маузер. Какой маузер? Ах, да это ее фамилия.

Года через полтора я случайно попал в один салон. Нэпманский салон — была заря нэпа. Салон был многолюдный, разношерстный и достаточно отвратительный. Не знаю, что было неприятней наблюдать: либеральничающих ли молодых людей в галифе — коммунистов, конечно, или хозяйку в шел-

ках и уцелевших от обысков бриллиантах, томно воркующую, что после того, как она постигла глубину революции, они нигде не могла жить, кроме Красной России.

Я мысленно выругал Вл.Пяста, который меня сюда привел (он не принимал участия в разговорах, а только ел, пил не переставая все, что было наставлено, — ветчину, и икру, и пирожные, и снова ветчину), повертелся немного, порассматривал хозяйские «Ню» в золотых рамах и необыкновенной величины канделябры и собирался уходить. Пробираясь к прихожей, я столкнулся лицом к лицу с моей дамой в Доме искусств.

Она сидела в кресле под высокой лампой, прихлебывая чай, рядом с ней стоял другой мой «знакомый» — «человек в одеяле».

Впрочем, он был больше не в одеяле, напротив, вполне изящно одет, гладко причесан, выглядел буржуазно и солидно. Он скользнул по мне равнодушным взглядом, но она узнала меня, остановилась, протянула руку. Рука была так же худа, набелена, так же сиял в кольце бриллиант, так же сильный запах «Астриса» ударил мне в лицо, когда я эту руку поцеловал. Ибо что мне оставалось делать, как не поцеловать.

— Узнаете меня? Вот когда встретились. Ну, как поживаете? Не уехали за границу? Ах да — познакомьтесь с моим мужем.

«Человек в одеяле» поклонился, блеснув пенсне и пробором. На моем лице, должно быть, выразилось изумление. Она улыбнулась и подняла свои тонкие подрисованные брови.

— Мишель, — сказала она, — принесите мне еще чаю. С лимоном, пожалуйста. «Человек в одеяле», мягко ступая по ковру, пошел за чаем. Минуту мы молчали. Она улыбалась.

— Да, мой муж, — сказала потом она, точно отвечая на вопрос, которого я не задавал. — Мы повенчались в августе.

— Но ваша сестра? — вырвалось у меня.

— Моя сестра? Ах да — вы ничего не знаете. Моя сестра. Бедняжка — ее уже давно, вскоре после того бала, взяли в Чека и расстреляли.

— За что же?

«Человек в одеяле» возвращался, осторожно неся дымящуюся чашку.

— За что? — Она пожала плечами. — Почем я знаю. Долго ли теперь. Может быть, случайно, может быть, по доносу.

АВРОРА

Письмо было адресовано в Берлин, на адрес одного русского издательства, прогоревшего еще в 1924 году, и дошло до меня, да и то по чистой случайности, два месяца спустя после того, как оно было послано.

Вперемежку с разными петербургскими сплетнями и упреками, что я не отвечаю на письма (которых я не получал и, всего вероятнее, она не писала), Аврора сообщала туманно и восторженно о каком-то «переломе», который в ней произошел, «роковых путях» и «пьянящих надеждах» (обычный ее «декадентский стиль»), цитировала Ахматову и спрашивала, как можно устроиться в Париже: в Париже она собиралась начать «новую жизнь»...

Я перечел дважды эти лиловатые листки кокетливо-жалкой «шикарной» советской бумаги, сильно надушенные тоже кокетливым и жалким, отдающим корицей, и вспомнил на минуту Аврору, ее бледное лицо, чуть свистящий говор, квартиру, где я когда-то, в те советские дни, бывал частым гостем, окна на Каменноостровский, копенгагенского тигра на лакированном столике — словом, все, что для Авроры существовало по-прежнему, а для меня за годы эмигрантского житья давно стерлось, растаяло, потеряло всякий смысл...

Я перечел письмо, сунул его обратно в пахнущий корицей и шуршащий пестрой подкладкой конверт и отложил в сторону, чтобы ответить... как-нибудь. Отложив, забыл и о нем, и об Авроре...

* * *

Аврора, когда я увидел ее впервые, была прелестна. Это было зимой в 1915 году у входа на каток.

Да, она была прелестна. Был сильный мороз, военная музыка гремела, и Аврора, сидя в санях, оживленно говорила что-то толпе молодых людей, выбежавших ее провожать. Я

проходил мимо как раз в ту минуту, когда, крикнув: «Ну, довольно, я и так застываю», она махнула на прощание своим безусым поклонникам большой белой муфтой, и парные сани с пушистой медвежьей полостью скрипнули и умчались.

Среди выбежавших провожать лицеистов и юнкеров был один мой знакомый. На мой вопрос он объяснил, что эта девочка — дочь известного банкира, не то поляка, не то венгра, — человека темных дел и темного прошлого, о которых, впрочем, никто не помнит, так как он страшно богат и все продолжает богатеть. Он прибавил, что Аврора, кроме того, что «прекрасна, как ангел небесный», еще и «как демон, коварна и зла», что она «холодна, бездушна, невероятно избалована, что из-за нее уже стрелялись двое и что, Боже упаси, влюбляться в нее».

Я и без этого предупреждения не собирался влюбляться. Но как-то само собой запомнил Аврору, ее голос, ее серые, прекрасные глаза, взмах ее горностаевой муфты в морозном и солнечном воздухе... Время от времени в газетах мелькало имя ее отца, и эта не особенно благозвучная фамилия биржевого воротилы всегда вызывала в памяти ощущение мороза, музыки и смеющегося девичьего лица. Как-то, перед самой революцией, мне попалось на глаза и ее собственное имя — «Сэр Пич Бренди» — светский хроникер «Петербургской Газеты» — захлебывался в описаниях свадьбы Авроры с каким-то инженером, в исчислениях подарков, туалетов, приглашенных и астрономических цифрах приданого.

* * *

В 1920 году среди груды бездарных рукописей, которые по «должности» секретаря Союза поэтов я разбирал, — мне попалась тетрадка, которая меня заинтересовала. Размер хромал, и рифмы не всегда были в порядке, но «что-то», без сомнения, было в этих стихах. Одна строфа до сих пор сохранилась у меня в памяти:

Моя судьба придумана специально
Для развлечения чертей,
Что может быть банальнее — банальной,
Что может быть печальнее — печальной
Судьбы моей?..

Любопытство мое, естественно, еще возросло, когда я взглянул на подпись под стихами. Там стояла фамилия инже-

нера, над великолепием свадьбы которого три года тому назад соловьем заливался в «Петербургской Газете» светский хроникер. Автором странных стихов с не всегда выдержанным размером — была Аврора.

* * *

Вскоре мы познакомились. В первом же разговоре выяснилось, что стихи Аврору мало интересуют, да она и не пишет их давно, что уже скорее теперь ее влечет театр — но и театр тоже «так», не главное, между прочим. Главное же заключается в том, что она скучает, смертельно скучает с мужем, с родными, с знакомыми и надеется в литературной среде встретить людей, «хоть чуть-чуть позабавней», чем те, которыми окружена.

В этом же разговоре выяснилось между слов еще одно: эта прелестная (за три эти года она стала еще как-то прелестней, тоньше, прозрачнее) двадцатидвухлетняя женщина была одним из тех существ, которые никогда не довольны тем, что есть, вечно ищут того, чего нет, существом избалованным, романтическим и, должно быть, очень несчастным.

Кстати, дело было совсем не в «обстоятельствах» в общепринятом смысле, не в революции, бедности, отсутствии развлечений — совсем не поэтому скучала Аврора. Скучала она, по-видимому, всегда, с самого рождения, может быть, до рождения еще. И, например, стихи, которые я только что цитировал, были помечены 1915 годом, т.е. временем, когда вряд ли кто-нибудь, даже самый мрачный пессимист, счел бы «печальнее — печальной» ее судьбу.

* * *

В качестве кандидата на одного из тех, кто «хоть чуть-чуть позабавней», — которых повсюду искала Аврора, попал и я в мир, в котором она жила... Мир сложный, в нескольких планах, так сказать. Первый план — самый внешний — дом, муж, окружавшие.... Муж, тот самый инженер, красавец и, должно быть, большой ловкач. И в 1920 году сумел устроиться. У него большая квартира, сколько угодно еды, дров, «дензнаков» — т.е. сверхблагополучие в советском смысле. Работает в водном транспорте, «незаменим», сыт, самоуверен, благоухает ве-

жеталем и, как это ни странно, при его внешности, ловкости, нахальстве, — без ума от жены, которая явно не обращает на него никакого внимания — может быть, именно потому, что не обращает...

Большая квартира — тепло, светло, постоянные гости, постоянные ужины со спиртом, иногда и с «Мартелем». Общество, такие же, как хозяин, «незаменимые», кто-то из «бывших», «богема», два-три коммуниста, своих, из транспорта. Аврора — тоже пьет спирт, чокается с коммунистом, улыбается на комплименты, подтягивает, когда подвыпившие гости начинают петь «за милых женщин, прекрасных женщин» или «Пупсика». Вид у нее веселый. Нравится ей все это, что ли?..

Второй план — совсем непохож на первый: какие-то монашки, которые приходят к Авроре днем с черного хода, о чем-то с ней шепчутся, берут на что-то деньги, приносят какие-то корешки, гадалки, к которым Аврора ходит, длинные письма, которые она пишет — неизвестно о чем, неизвестно кому, или это — придуманная ею игра, которая ей очень нравится и которая со стороны выглядит жутковато? Иногда к Авроре собираются гости совсем другого вида, чем те, что поют «Пупсика». Длинноволосый, чахоточный художник, маленькая горбунья — дочь царского министра, какой-то пожилой, грузный человек с белым, похожим на надутый пузырь лицом... Полумрак. Тишина... Руки соединены в цепь, глаза неподвижно уставлены в большую чашку с водой. Все молчат. Каждый старается сосредоточить мысли на одном. Иногда ничего не получается... Иногда...

— Ах, — вскрикивает вдруг пронзительным голосом маленькая горбунья. — Ах, — я видела, чувствовала... моя голова... моя голова...

Темой сегодняшней игры была казнь Марии-Антуанетты. Маленькая горбунья раньше других почувствовала укол в сердце, которого терпеливо, часами дожидаются все. Ее хилое тело дергает, лицо искажено. Еще бы — она так ясно чувствовала нож гильотины на шее, так ясно видела голову, свою голову, падающей с помоста в окровавленную, грязную корзину.

«Пупсик» и коньяк, монашенки и гадалки, эта жуткая и странная игра... и двадцатидвухлетняя женщина, которая подходит к зеркалу — удивленно-рассеянно рассматривает свое прелестное отражение и говорит вслух сама себе:

— Господи, какая скука...

* * *

Незаменимость мужа Авроры оказалась не столь уж незаменимой, — вместе с мужем попала в тюрьму и она. Впрочем, ее скоро — по советским понятиям, — примерно месяца через три, выпустили. Я встретил ее на улице на другой день после освобождения. Вид у нее был исхудавший, осунувшийся и... счастливый. В руках у нее был тяжелый пакет.

— Проводите меня — я тороплюсь, чтобы не опоздать, — несу на Шпалерную передачу.

— Мужу?

Она рассмеялась:

— Ну, вот еще — стала бы я ему сама таскать. Да он и не здесь — он в Вологду отправлен... Который час?.. Уже три? Ах, идемте скорее, там только до четверти четвертого принимают. А он, бедный, без табаку, без сахару...

Мы дошли до ворот дома предварительного заключения.

— Еще берут передачу? Ну, слава Богу... Прощайте... — торопливо протянула руку и улыбнулась.

Никогда я не думал, что Аврора может улыбаться такой счастливой улыбкой...

Я перечел письмо и сунул его обратно в пахнущий корицей, шуршащий пестрой подкладкой конверт и отложил в сторону, чтобы ответить как-нибудь. Отложив, забыл и о нем, и об Авроре.

Но через два дня мне, годами не вспоминавшему самого имени Авроры, пришлось опять услышать о ней. Совсем неожиданно, в кафе на Монпарнасе, я столкнулся с одним довольно известным певцом, приехавшим сюда на гастроли. Опровергая распространенное мнение о преувеличенной боязливости приезжих «оттуда» при встречах с эмигрантами, — он шумно мне обрадовался, шумно полез целоваться и, усевшись со мной за столик, засыпал меня вопросами и новостями об общих знакомых. Новости были по большей части печальными. Такого-то расстреляли, такого-то на десять лет сослали в Соловки, а такой-то, талантливый молодой художник, сам умер от злоупотребления кокаином.

— А помните Аврору? — вдруг неожиданно спросил он.

Я кивнул.

— Конечно, помню.

— Фантастическая была женщина, с вывертом, а очаровательная.

— Почему была? Разве она изменилась? Я позавчера получил от нее письмо, и фантастичности в нем не менее прежнего.

Он театрально поднял брови.

— Письмо? С того света? Ведь она недель шесть как отравилась. Да, вероналом, как самая обыкновенная швейка. Впрочем, что же, неудивительно! Такая все может. И с того света писать!

Я объяснил ему, что письмо было послано три месяца тому назад, когда Аврора была полна планов и надежд на «лучезарную жизнь».

— Да, тогда у нее был Джексон. Но, позвольте, вы когда видели ее в последний раз? В 22-м году? Значит, ничего про штурмана не знаете? Про ее великую любовь?

— Ничего не знаю, — подтвердил я. — Или почти ничего. Видел только раз, как она ему передачу несла. И на любовь ее вообще не считал способной.

— И никто не считал. Все, и муж ее в том числе, думали, что ей только поклонение да обожание нужно, и молились на нее. А оказалось не то. Влюбилась она в этого штурмана, как кошка. Морда такая наглая, глаза светлые, холодные, кулачищи громадные, шея крепкая, красив очень, а смотреть мерзко. Вышел он из тюрьмы, поселился у нее. Захожу я к ней как-то. Открывает сама, в переднике, волосы платочком повязаны, в кухне лоханка с бельем стоит, стирала видно. Лицо у нее счастливое и еще красивее стало, прямо красавица. Вытирает мокрые руки о передник, улыбается ангельски.

— Что вы такая радостная, Аврора Александровна? — спрашиваю.

А она закружилась передо мной волчком, белое платье облаком поднялось.

— Чудно жить, ах, как чудно, — и смеется. — Знаете, я счастлива, ужасно счастлива.

Поцеловал я ее пальцы, пахнувшие мылом.

— Поздравляю.

Повела она меня в гостиную. В розовом шелковом кресле сидит штурман, граммофон слушает, цигарку курит, ногти полирует.

Она так застенчиво знакомит.

Он руку тянет не вставая.

— Садитесь, — говорит, — Аврюша нам самовар вздует (подумайте только, это ее, гордую Аврору, Аврюшей называет. Аврюша, почему не хаврюша).

А она уже готова бежать на кухню.

— Сейчас, Васенька. Может быть, оладушек скушаешь? Я быстро.

Позвала меня помогать ей, а он, штурман, так и не двинулся, только «Цыпленка» на граммофон поставил и снова за ногти взялся.

Пошли мы на кухню. Она так и сияет.

— Как весело, — говорит, — хозяйничать.

Поставил я ей самовар, а она оладьи готовит. Чад прогорклый идет от подсолнечного масла. Неумелая она, вся перемазалась, палец обожгла, а смеется.

— Ужасно весело, только научиться хорошо надо. Я часто порчу продукты, Васенька сердится. Он у меня гурман. — И вдруг лицо ее такое грустное стало. — Подумайте, — шепчет, — он, как рассердится, грозит свою бабу из деревни выписать, а уж она хозяйка, не то, что я. Нахвалиться ею не может. А разве это справедливо? Ведь я так стараюсь. Я его так люблю. Я умру от ревности, — и ресницами длиннейшими моргает.

Жаль мне ее невыносимо стало. Но ничего не сказал. Посидел, чаю попил, граммофон послушал — «Кирпичики» и «Бублики» — и пошел.

Долго к Авроре не заходил, а на Пасху собрался. Звоню. Открывает толстая баба в красном платье и белой косынке.

— Кого вам? — спрашивает.

— Аврору Александровну.

— Аврюшку? Она — там, у себя, по коридору пятая дверь.

Пошел я по коридору. Стучу.

— Войдите.

Сидит Аврора, бледная, худая, в платок завернулась. Холодно ей, должно быть, а на дворе солнце.

— Здравствуйте, — и безучастно протягивает руку.

— Что с вами, — спрашиваю. — Больны?

Она качает головой.

— Пустяки, немного простудилась.

Сел я возле нее на диван, она смотрит на меня и молчит, и вдруг — как заплачет. Растерялся я. Глажу ее по голове и слова жалкие всякие говорю — про красоту ее да про прелесть. Она как будто и слушает и не слушает, вскинула на меня глаза, полные слез.

— Видели? — спрашивает, а сама вся дрожит.

— Что видел? — переспрашиваю.

— Ее, Анюту, его жену. Выписал он ее. Хозяйка она здесь, в моем доме. Все он с ней. И ест и спит. А я так, приживалка

какая-то, хуже приживалки. И пикнуть не смею. Боюсь. — Глаза ее округлились. — Да, боюсь. Он меня бьет, — зашептала испуганно, — чуть что не так.

Она зажмурилась и закрыла лицо руками, будто прячась от ударов. Я возмутился:

— И вы терпите? Почему же вы не выселите его? Не уедете сами, наконец?

Она беспомощно развела руками:

— Куда от любви уйдешь? Люблю и терплю. А уйдет, за ним побегу.

Я стал ее стыдить, она спорит, сердится.

— Разве вы можете понять? И кто вам сказал, что я несчастна? Я гораздо счастливее, чем прежде. И с каждым днем все больше его люблю. С тех пор, — лицо ее побледнело и рот искривился — с тех пор, как он в первый раз побил меня.

Теперь она смотрела на меня с вызовом.

— Презираете меня? Я и сама вас всех презираю. Всех. А его люблю. Люблю и горжусь им и его любовью. Анюта? Что же! Она жена. К жене глупо ревновать. Нет, я совсем счастлива. А что все вещи и платья продала — так на что мне, если я без них счастлива.

Она натянула платок на колени, и я увидел ее стройные ноги в заштопанных чулках и стоптанных туфлях.

— Я счастлива, в первый раз в жизни. В мечтах даже никогда так счастлива не была. — И она засмеялась легким, звенящим смехом. — Ах, как чудесна жизнь и как я счастлива!

Я простился с ней с тяжелым чувством. Прошел еще год, и вдруг встречаю ее на улице. Идет худая, оборванная, волосы висят, шляпа сбилась набок.

— Аврора Александровна!

Узнала.

— Здравствуйте, — говорит таким безразличным тоном, — есть хочется, два дня не ела.

Ну, я ее к себе свез, накормил. Рассказала она мне, что штурман ее бросил, все оставшиеся вещи вывез, только один диван да стол оставил. В карты играть стал. Совсем пропал. И Анюту бросил. Вот они вдвоем и ютятся в пустой квартире. Анюта — та работает на фабрике, иногда ей, Авроре, даст поесть. Ничего, добрая. А Вася даже не зайдет никогда. Совсем бросил.

Я позвонил общим знакомым. Они взяли Аврору к себе, одели, нашли ей место. Первое время встречался я с ней. Стала она на машинке щелкать, все свои фокусы бросила, жалкая

такая, одни глаза от прежнего, и те потускнели. Довольна, что кормится, и все только о нем, о штурмане своем вспоминает. Скучно с ней было. Я и перестал навещать ее. А этой весной вдруг слышу — Аврора выходит замуж за американца-миллионера. Думал, сплетня. Нет, действительно. Американец и настоящий миллионер, приезжал дела делать. Увидел Аврору на службе и влюбился. Ведь бывает такая удача. Побежал я к ней поздравлять, очень я рад за нее, бедную, был. Открывает горничная. И квартира опять вся обставлена. Аврора в гостиной сидит, книгу читает. Взглянул я на нее и ахнул. Прежняя. Как восемь лет тому назад. Как будто ни штурмана, ни службы, ни голода не было. Избалованная ломака и голос скучающий, медленный.

— И вы уже знаете? Спасибо. В Нью-Йорке так шумно, боюсь, что у меня с непривычки будет болеть голова, — поправляет брильянтовую брошку на груди и слегка зевает. — Как скучно укладываться, терпеть не могу пароходов. Хотите шампанского?

Познакомился с женихом. Симпатичный и до смешного влюблен. Она его уж сразу стала третировать, а он перед ней, как пудель, служит. Через неделю должны были повенчаться и ехать в Америку. И вдруг перед самым отъездом моим приходит ко мне какая-то баба, плачет. Я ее не узнал. Фамилию называет — Фролова. Никогда не слышал.

— Что надо? — спрашиваю.

— Да ваша знакомая, Аврюша, приказала долго жить.

И голосит на всю квартиру. Еле добился, в чем дело.

— Отравилась. Накануне своей свадьбы. Позвала меня к себе. Все о Васеньке говорила, вспоминала его, покойничка. Денег мне дала, поцеловала. Прощай, говорит, Анюта... Змея ты была. Ну, да и Васенька тоже. Но жить без него не могу. Я думала, прощается перед отъездом за границу. А вышло вот за какую границу уехала. К Васеньке.

— Как к Васеньке? — переспросил я машинально.

— Вот именно к нему, к Васеньке — покойничку, — сказала она, заливаясь слезами. — Прошлой осенью его, бедного, за налет расстреляли.

КАРМЕНСИТА

(Петербургский случай)

Я жил в доме отдыха, осенью, в Петергофе в 1920 году. Я пользовался этой пролетарской санаторией впервые и, признаюсь, с удовольствием. Даже больше, с некоторым ощущением «волшебного сна»... Посудите сами, девятьсот двадцатый год, холод, вобла, продовольственные карточки с знаменитым тридцать третьим купоном на гроб, — и вдруг, с самого утра в натопленной столовой, на чистой скатерти горячий кофе — и настоящий притом — и молоко (тоже настоящее), и сахар, и бутерброды... эти, впрочем, не всегда настоящие: иногда вместо сыра и колбасы на них была пленка черной, клейкой, пахнущей рыбьим жиром массы — моржевины...

Но моржевину можно было и не есть, на портреты «вождей», украшавших стены столовой, можно было не смотреть; чепуху, которую в качестве застольной культурно-просветительной беседы несла заведующая домом плешивая большевичка, можно было и не слушать, — и в общем, жить было приятно. Приятность увеличивалась еще тем, что, несмотря на конец сентября, стояла тихая, ясная погода, в озере Заячьего Ремиза отражались елизаветинские деревья, роняя последние желтые листья, и мраморные Дианы, Фавны и купальщицы грустно глядели белыми глазами в светлое северное небо. Статуями этими, впрочем, любоваться рекомендовалось издали. Если подойти близко, — то во рту одной торчал лихо залепленный окурок, другой приделаны запорожские усы, а третья не удовлетворила, должно быть, какого-нибудь отдыхающего пролетарского эстета условностью изображения, и он при помощи красного и синего карандаша бойко пририсовал ей все, что для полной натуральности ей недоставало.

Но и это было того же порядка, что моржевина или застольные беседы о блокаде и Антанте, — и этого тоже можно было не замечать. Повторяю, погода была тихая, увядающий огромный, пустынный парк очарователен, в очередь бежать не надо было, голод не мучал, и можно было

часами, гуляя, не встретить никого, — так что иллюзия счастливого сна на прогулках была еще ощутимей. Я и гулял подолгу, — до завтрака, после завтрака, перед обедом, на красном, тревожном балтийском закате. Как я уже сказал, можно было гулять часами и никого не встретить. Дачников, разумеется, не было, петергофские зимогоры в парк не заглядывали. Им было не до меланхолических прогулок. Мой «сон» с кофеем и моржевиной на них ведь не распространялся, а из отдыхающих гуляла, как я, только «чистая публика». Пролетариат, по моим наблюдениям, к природе довольно равнодушен; если выберется на воздух раз в неделю, то и тут ненадолго, — пройдется шагов сто, зевнет, запустит камнем в уцелевшую от кухонной плиты петергофского обывателя шелудивую кошку, прилепит мимоходом окурок Венере или Психее, — и обратно под крышу, — на кровать, соснуть, или, — если спал уже восемнадцать часов подряд, и как ни стараешься, — решительно не спится, — в читальню, резаться в дурачки или двадцать одно с таким же «страдающим бессонницей» товарищем.

Я жил в доме отдыха уже несколько дней, привык к полному одиночеству своих прогулок и вообще удивился бы, встретив женщину, да еще в такой поздний час, на самом закате, да еще в таком отдаленном, глухом месте, как Петергофский Бельведер.

Бельведер. Вероятно, и не все петербуржцы знают его. Об остальных россиянах и говорить не приходится, — не слышали, наверное. А между тем это, по справедливости, одно из красивейших поэтичнейших мест в мире.

Очень высокий обрыв. Вы незаметно приближаетесь к нему, — местность повышается так отлого, что, придя к цели, вы поражены: вы просто гуляли и вдруг оказались на «чудной высоте», высоко над какой-то равниной, за которой зеленеет море и видно за десятки верст кругом. Налево медное солнце садится за кажущимся черным скалистым островом Кронштадт; направо, вдали, то же солнце последними лучами играет на золотом куполе Исаакия. А видите вы все это не просто с обрыва, а с широкой площадки огромного мраморного храма, у подножия которого цепенеют в памятных петербуржцу позах бронзовые кони и всадники Клодта, кстати знамениты в копии. Подлинники этого «ложноклассического» шедевра не те, что на Фонтанке, а именно эти, у Бельведера.

Итак, закат, море, широкий вид, золотой купол Исаакия вдалеке, ионические колонны, черные кони, встающие на дыбы, и полное безлюдье кругом. Чтобы дать понятие о непосещаемости

этого места, скажу, что ни одной похабной надписи ни синим, ни красным карандашом я не встретил на серо-розовой мраморной облицовке Бельведера, — вещь по тем временам неслыханная.

Я ходил туда каждый вечер, и вот однажды, к моему большому изумлению, я увидел у перил, над обрывом, силуэт женщины. Изумление мое еще увеличилось, когда я подошел ближе. Это не была наша плешивая заведующая-коммунистка и не была ораниенбаумская молочница, пробирающаяся «задами», чтобы не накрыла милиция, с бидоном разведенного молока. Это была стройная, высокая дама, в широком котиковом пальто, без шляпы, с большим черепаховым гребнем в очень черных волосах. На шум моих шагов она обернулась, и мне пришлось еще раз удивиться: незнакомке было на вид года двадцать три — двадцать четыре, она была очень красива, не нашей, южной красотой, — черные, жгучие глаза, смуглая кожа, чуть тронутая румянцем, очень красный или очень накрашенный рот. Какая-то не то Зарема, не то Кармен, — мелькнуло у меня в голове, и, точно отвечая на мою мысль, она поднесла к губам стебель астры, которую держала в руке, и сжала его кончиками белых мелких зубов, — совсем как Карменсита розу.

Она первая заговорила со мной, и таким тоном, точно мы знакомы по крайней мере лет двадцать. Но сделала она это так естественно, что и я почти не ощутил в ту минуту ни странности самого обращения, ни странности ее слов.

Сказала же она мне, не выпуская из зубов своей розы-астры, только переместив ее немного в угол рта, следующее:

— Пришли полюбоваться закатом? Да, очень красиво. Но все-таки не то, что Венеция, даже не Монте-Карло. И потом, хоть и не видишь никого, но знаешь, что вот этот черный силуэт, кажущийся средневековым островом, с башнями и стенами, на самом деле Кронштадт, полный озверелой матросней. Да, Кронштадт, и каждый день там расстреливают, расстреливают, расстреливают... Откуда берутся только? Все еще есть кого... И поэтому хоть и красиво, но все-таки немного тошнит и здесь. Именно тошнит, — не страшно, не жалко, а тошнит, точно от морской болезни.

Она помолчала минуту, улыбнулась (астра-роза упала на землю, и белые мелкие зубы блеснули) и прибавила:

— Вы не удивляйтесь, что я говорю с вами так откровенно, — не боюсь. Бояться мне вас, как и вы сами знаете, нечего... По вашей наружности, костюму, по тому, как вы подошли ко мне и теперь на меня смотрите, я наверняка знаю, что вы недоре-

занный, такой же, как и я. И бояться нам друг друга глупо. Однако пора домой, уже становится сыро.

Если бы это случилось, скажем, в 1918 году, я бы, конечно, дал волю естественному любопытству и постарался бы узнать о моей даме с Бельведера больше, чем я узнал. Стараться, впрочем, вероятно, не пришлось бы: откровенность, с которой она заговорила со мной, с которой рассказала без связи, беспорядочно самые неожиданные вещи о себе, о своих планах и жизни в тот единственный вечер, который я провел у нее, наконец, хотя бы то, с какой беспечностью для того страшного времени она не только разоткровенничалась с совершенно незнакомым ей человеком, но и привела меня (может быть, чекиста, комиссара) в свой дом, — все это было порукой, что стараться разобрать, кто моя незнакомка, было бы излишним трудом. Два-три дня знакомства, и, конечно, она выболтала бы мне все, что сама о себе знала, и даже все, что фантазировала о себе. Но, к сожалению, я выказал очень большое отсутствие любопытства, или, вернее, изрядную долю осторожности, осторожности, которая не пришла бы мне в голову примерно в 1918 году, в начале 1919 года. Но это была уже осень 1920 года, и чему-чему, а осторожности счастливые граждане «Северной Коммуны», и я в их числе, научиться уже успели.

Но и за этот единственный вечер я узнал много. Я узнал, что в советском Петергофе, в нескольких милях от страшного Кронштадта, и немногим дальше от не менее страшной Гороховой, в 1920 году, среди обысков, арестов, расстрелов и доносов может существовать дом, где очень красивая, одетая изящно и дорого женщина может принимать гостей в комнате, устланной дорогими коврами и уставленной редким фарфором, может протягивать этому гостю золотой портсигар с душистыми английскими папиросами, спрашивать его, какой ликер он предпочитает, — шартрез или кюрасо, и показывать при этом маленький плоский браунинг, которым, как она, улыбаясь накрашенным ртом и блестя мелкими зубами, говорит, — она убьет Ленина.

И странное дело — хотя к осторожности, как я уже сказал, я давно привык, и простой здравый смысл должен мне подсказать самый естественный вывод, который из всего этого — и ковров, и ликеров, и откровенности — следует сделать, т.е. что моя дама из числа тех, которых надо бояться как огня, если не хочешь угодить Бог знает куда, — однако почему-то вывода этого я не делаю. Мне не кажется, что я должен ее бояться, не кажется, что я должен говорить ей вымышленное имя, вы-

мышленный адрес, не поддаваться на разговоры о Ленине и расстрелах. Напротив, я, «вопреки рассудку», почему-то верил ее искренности, ее равнодушию к жизни и тому, что если она до сих пор еще не проглотила «вот это», — она показывает маленький флакончик с белым, похожим на соль порошком, — от скуки, от разочарования, от усталости, то только потому, что сначала ей хочется выпустить в упор в кремлевской приемной все шесть пуль из маленького плоского браунинга в человека, которого она не то что ненавидит или боится, а так...

—Что так? — спрашиваю я.

Она поводит плечами под желтой, в крупные розы шалью.

— Да все то же, тошнит.

Я пью ликер, слушаю, но сам отмалчиваюсь. Да, я верю, что она не притворяется. Неизвестно почему, но верю. Но вера верой, а твердо усвоенная за три счастливых года диктатуры пролетариата осторожность — осторожностью. И на ее вопросы, правда редкие, — по большей части наша беседа — сплошной ее монолог, — я отвечаю неопределенно или совсем молчу. Она не спрашивает ни моей фамилии, ни адреса, но я придумал и то и другое про себя на случай, если она спросит. Но она не спрашивает почти ничего. Она говорит быстро, все быстрее, без связи, без плана то о расположении комнат в Кремле, то об Италии, где она жила до войны, то о каком-то рояле для музыки в четверть тона, который надо обязательно заказать, когда она убьет Ленина и убежит за границу. «Сумасшедшая!» — вдруг пробегает в моей голове, но странно, и тут, вопреки очевидности, я не верю, что предо мной сумасшедшая. Она говорит все быстрее и бессвязнее. Вот она уже не говорит, а бормочет какие-то обрывки фраз, потом умолкает. В печке слабо потрескивают дрова. Свечи в вычурном канделябре оплывают. Недопитый ликер золотом отливает в рюмках. Моя незнакомка ровно дышит, — она спит, и я делаю то, что мне велит сделать благоразумие. Я осторожно встаю, осторожно ступаю по коврам, осторожно, стараясь не скрипнуть, открываю дверь и выхожу на улицу. Уже совсем темно. Некоторое время иду наугад, наконец слабый блеск воды сквозь деревья, — наше озеро. Еще несколько минут, — и освещенный подъезд дома отдыха. Из залы слышится густой голос моего соседа по комнате, сознательного слесаря, читающего доклад о международном положении любителям послушать «о политике».

— Так что, товарищи! Которая гидра контрреволюции, товарищи! Которая Антанта, товарищи! — Стук кулака по

столу, — емпериалисты, товарищи! — Голос оратора превращается в рев. — Не допустим, товарищи!

Это значит, что начались «разумные развлечения» перед сном и что, следовательно, обед пропущен. Ну что ж, зато я видел странный сон, который стоит обеда.

Конечно, я не пойду больше к моей бельведерской даме, да если бы и захотел, не найду теперь ее дачи. Но воспоминание об этой встрече навсегда сохраню с благодарностью случаю, вдруг решившему меня развлечь в скучной советской действительности.

Нет, правда, это стоит обеда.

Тут же, к большому моему удовольствию, оказывается, что сердобольная, плешивая коммунистка обед мне оставила.

— Только суп, товарищ, извиняюсь, полутеплый.

— Ничего, товарищ, съедим и полутеплый.

Бедная, плешивая коммунистка, если бы знали вы, что слушал я о вашем великом учителе, пока вы здесь заботились насчет моего супа. И еще, если бы знали вы, бедная, плешивая, в дымчатом пенсне, ушибленная Богом и Марксом, какие красивые женщины могут иногда присниться ни с того ни с сего советскому гражданину, обладателю трудкнижки и продовольственной карточки с 33-м купоном на гроб! Женщины, говорящие странный вздор, угощающие ликером и засыпающие в то время, когда гость сидит и раздумывает, кто она, — чекистка, сумасшедшая или Кармен, которую он когда-то видел в опере и которая почему-то явилась ему. У нее черные блестящие волосы, смуглая кожа, и в мелких хищных зубах прикушен стебель астры...

Плешивая коммунистка ставит передо мной порцию вареного судака и смотрит маленькими, бесцветными, дружелюбными глазками.

— Кушайте на здоровье, товарищ. Филе очень замечательный.

Спустя год-полтора мне пришлось съездить по одному делу в Москву.

Я побывал, где мне было нужно, устроил так, что бумаги, за которыми я ездил, будут выданы по моей доверенности другому, и в 6 часов вечера поехал на вокзал за обратным билетом. В кассе сказали, что билетов нет, но тут ко мне подошел «красная шапка», т.е. посыльный, и, таинственно шепча, сообщил, что в кассе-то нет, но достать можно, разумеется за двойную плату, зато «мягкий» — спальное место и даже в скором поезде. Я рассудил, что, оставаясь в Москве, я истрачу то

же, если не больше, да и перспектива после бессонной ночи и беготни по Москве была слишком соблазнительна: выспаться на чистом белье и завтра быть дома, короче, я дал «красной шапке» деньги и через два часа уже покачивался в чистом и светлом купе первого класса в обществе двух каких-то солидных господ, в хороших костюмах, судя по разговору, нэпманов.

Проводник пришел делать постели. Я и мои спутники вышли в коридор. В другом конце коридора двери одного из купе были настежь, слышались громкие голоса, смех, звон стаканов. Заинтересовавшись, я прошел мимо и мельком заглянул туда. Трое мужчин в френчах и двое женщин в большом купе, огромный букет роз, золотое горлышко шампанской бутылки, дым сигар, — вот что я мельком увидел там. Лиц я не разглядел. Один из моих спутников, пройдя вслед за мной, прикурил у меня и, кивнув на купе, где ехала кутящая компания, сказал тихо, со смесью почтительности и неодобрения в голосе:

— Комиссар. С адъютантами. И девиц не забыли, — весело едут. Эх...

Я постоял на площадке, задумавшись о чем-то. Вдруг меня вывел из задумчивости женский голос, чем-то удивительно знакомый. И то, что он выкрикнул вдруг сквозь шум поезда, звон стаканов, гул других голосов, тоже было мне удивительно знакомо:

— Надоело! Тошнит меня от вас всех! Что? Вот возьму и убью Ленина.

Что-то резко хлопнуло. Это дверь в купе с веселой большевистской компанией поспешно закрыли. Знакомый голос выкрикнул истерически еще что-то несколько раз, но слов из-за закрытой двери уже не было слышно. Немного спустя из купе послышался приятный мужской голос, певший под гитару что-то цыганское. Ссора, очевидно, улеглась, — мужскому голосу вскоре завторил женский, тот самый знакомый мне. Я довольно долго постоял в коридоре. Мне очень хотелось хоть мельком увидеть мою даму с Бельведера. Но дверь все была закрыта, и беготня по Москве давала себя знать, — ну, завтра посмотрю, когда она будет выходить...

Разбудил меня проводник.

— Крепко спите, гражданин, прибыли-с.

Действительно, поезд уже стоял на Николаевском вокзале. Я собрал вещи и пошел к выходу. В «том» купе дверь была настежь, пусто, порожние бутылки, окурки, коробки из-под папирос. На полу валялась красная роза. Одна из того большого букета, который я заметил вчера. Я поднял ее. На конце стебля был ясно виден отпечаток мелких, острых зубов...

НАСТЕНЬКА

(Из семейной хроники)

Посвящается Н.Ю. Балашовой

В памятном старым петербуржцам толстейшем томе, на красной крышке которого было золотом вытеснено: «Весь Петербург», из года в год печаталось имя некоей Б. фон Б., Анастасии Абрамовны. Звание ее было — вдова подполковника. Однофамильцев у нее не было. Адреса она не меняла.

Ничьего любопытства это имя, конечно, возбудить не могло. Мало ли было в Петербурге штаб-офицерских вдов? И само это звание автоматически вызывало знакомую картину: небольшая квартира, одна прислуга, пенсия, всенощная, вечно подогреваемый кофейник, сплетни, пересуды, лампадки, пасьянс... Кому какое дело до радостей и невзгод такой почтенно бесцветной, скучно прожитой и тихо доживаемой жизни? Не все ли равно, была госпожа Б. фон Б. моложе или старше своего «покойника», дружно ли они жили, когда и от чего он скончался, были ли у них дети и т.д. Одним словом, воображение человека, взгляд которого случайно остановился бы на этом имени и адресе — никакой пищи себе бы не нашло.

По теории вероятности так и должно было быть... И вопреки ей все, начиная от обстановки, окружавшей эту «вдову подполковника», вплоть до самого ее звания, было совсем «не так». И перед тем, кто полюбопытствовал бы на нее взглянуть — предстала бы не салопница «из благородных», как он, естественно, ожидал, а странно очаровательный призрак прошлого, с романтически-причудливо-нелепой судьбой...

* * *

Адрес, указанный во «Всем Петербурге», был зданием одного из важнейших министерств. Квартира, в которой г-жа Б. фон Б. обитала, — была очень большой, комнат в пятнадцать, казенной квартирой. Хозяин ее, некто Х., был если не сановником, то очень крупным чиновником — «членом совета» ми-

нистерства. Еще далеко не старый человек, он делал быструю карьеру. Если не ошибаюсь, война 1914 года застала его уже тайным советником, и вскоре он был пожалован званием егермейстера. Эти быстрые успехи объяснялись некоторыми сослуживцами не столько талантом Х., сколько его умением угодить начальству. И в самом деле, когда, незадолго до революции, покровитель Х., долголетний глава министерства, был отставлен, «чистка», произведенная новым министром, — креатурой Распутина, — не только Х. не коснулась, но, напротив, он стал еще более преуспевать...

Супруга этого сановника была единственной дочкой нашей вдовы подполковника. Брюнетка, с характерно восточной наружностью и резким гортанным голосом, она имела вспыльчивый и чрезвычайно властный нрав. Перед ней не только дрожали курьеры и прислуга — побаивалось ее все министерство. Квартира Х., как ей и полагалось, от обстановки до самого воздуха дышала важностью, респектабельным холодком, близостью к «сферам»... Достаточно сказать, что, войдя в нее, можно было столкнуться с самим министром, разгуливавшим в ней запросто, иногда даже в домашней тужурке и ковровых туфлях. А министр этот был к тому же не «обыкновенным» министром, а знаменитостью — «столпом реакции» или «оплотом престола» — в зависимости от точки зрения... В частной жизни — замечу, кстати, — этот громовержец выглядел уютным, добродушным стариком. Очень мил и любезен был он, между прочим, с Анастасией Абрамовной. Носил ей шоколадную «соломку» от помещавшегося наискось министерства Крафта, выслушивал терпеливо ее уже много раз слышанные рассказы, одним словом, вносил в грустную жизнь совершенно чужой ему старушки душевное тепло, которого она не получала ни от дочери, ни от зятя. Как старушка это ценила — было слышно уже в звуке ее голоса, когда она произносила его имя-отчество. А этого самого министра вся Россия — и те, кто ловчился взорвать его бомбой, и полагавшиеся на него, как на оплот, — считала, и по-видимому с основанием, образцом бессердечия и черствости! «Потемки — душа человеческая...»

* * *

Часть стены узкой и длинной комнаты — «кабинетика» — занимала большая клетка с множеством канареек: их возня и пение развлекали Анастасию Абрамовну. Кабинетик был

всегда жарко натоплен — при 18° тепла старушка уже начинала зябнуть. Обстановка была сборная. О красоте комнаты заботиться было нечего. Кроме своих людей, никто в нее не заходил, а самой ее обитательнице было все равно, каковы у ней обои или ковер: уже лет двадцать как она была слепа.

В своем «кабинетике» Анастасия Абрамовна проводила, кроме сна и еды, все время. Домашние не очень баловали ее визитами, но одна она все же никогда не оставалась. При ней неотлучно дежурил подросток лет 15, в синей ливрейной курточке. Он не только отлично служил ей, но, самое главное, умел внятно, отчетливо и неутомимо читать вслух. Утром от доски до доски прочитывалась «Петербургская Газета». Вечером — «Биржевка». В промежутках — «Исторический Вестник», «Нива», какой-нибудь роман. Целый чулан был набит такими книгами, — время от времени букинист увозил прочитанное и доставлял порцию новых.

...Жарко натопленный «кабинетик». Канарейки возятся и трещат. Мальчик в ливрее внятно, не торопясь читает вслух. В кресле у печки кутается в оренбургский платок хрупкая женская фигурка. Если не подходить близко, кажется, что это какая-то барышня. Даже не молодая дама, именно барышня. В тонком, немного кукольном личике, светлых вьющихся волосах, широко раскрытых глазах, во всем облике Анастасии Абрамовны, если смотреть издали, — что-то девическое. Подойдя ближе, вы увидите, что ее лицо изрезано тысячью мельчайших морщин и волосы белы как снег... Но и вблизи большие, ясные, голубые глаза смотрят по-девически невинно и доверчиво-нежно. И так же грустно-доверчиво, совсем не по-старушечьи, звучит голос. А как-никак ей за восемьдесят лет...

О муже ее и говорить нечего — такая старина его давно забытая жизнь. Даже чин, который он носил, давно отменен в русской армии: и Анастасия Абрамовна, собственно говоря, вдова не подполковника, а майора!..

* * *

В «кабинетике» красовалось несколько портретов покойного — от лихого, писанного маслом, в топорной золотой раме, до крохотной, для медальона, миниатюры на кости. В художественном отношении все они были весьма посредственны — среди крепостных майора Боровиковского явно не было. На всех был изображен чересчур уж молодцеватый вояка с

глазами и грудью навыкате, в уланской форме и великолепных усах. Тут же на ночном столике стояла шкатулка с его реликвиями. Реликвии были любопытней портретов. Да и сама шкатулка была необыкновенная. Плоская, длинная, слегка напоминающая формой футляр для скрипки, снаружи затейливо инкрустированная чем-то вроде янтаря, внутри она была обита ярко-красной кожей, до того твердой, что иголка гнулась и ломалась, не прокалывая ее. В одном из углов шкатулки были два круглых отверстия величиной с гривенник. По словам Анастасии Абрамовны, вывезена была эта диковинная вещь ее «блаженной памяти» дедушкой из Индии, в бытность последнего молодым офицером, т.е. даже не при Екатерине II, а Бог уж знает, при каком царе или царице, в каком незапамятном году... Странная же форма шкатулки объяснялась тем, что предназначалась она для перевозки священных змей.

Здесь было множество бумаг и бумажек, писем и документов, слежавшихся и вылинявших. Хранилось между ними, рядом с послужным списком майора и его духовным завещанием, и нечто вроде его дневника. Эта довольно объемистая тетрадь не раз находилась у меня в руках, но, увы, рассматривал я ее тогда без внимания, которого она заслуживала. А жаль. Майор не только был охотник пофилософствовать, но еще имел привычку записывать свои сны. На синеватых, с водяными знаками страницах тетради вперемежку с рецептами от запора и ревматизма было подробно записано множество сновидений майора разных периодов его жизни, и среди них встречались курьезные.

Помню один сон, забавный тем, что обнаруживает таившийся в майорском подсознании особый, «кавалерийский» комплекс: майор скачет на великолепном коне. Сперва он наслаждается бешеной скачкой. Потом наслаждение сменяется беспокойством. Он не может остановить коня. Наконец, всадником овладевает страх, что конь сбросит его. И едва успевает он это подумать, он уже лежит под копытами коня, и копыта затаптывают его все глубже в землю... Сон этот снился майору не раз и относился к разряду «вещих», но что, собственно, по мнению майора, он предвещал, — не указывалось. Помню еще другой, квалифицированный «мерзопакостным и богопротивным». Крепостные девки рвут в клочки духовное завещание майора и бросают эти клочки «пребесстыдно» в лицо своему барину. И заявляют при этом: «Не пойдем, к кому ты нас завещал, сыщем сами себе господ по своему скусу». На возражение же, что такова его барская воля, которой девки должны

слушаться, те, хохоча, отвечают: «Был барин, да весь вышел. Погляди на себя, — червям нечего глодать — один шкелет остался...» К этому, тоже «не лишенному метафизики» сну следовало примечание: «Четырех из сих бунтовщиц запомнил в лицо. Хороводила рыжая Матрешка. Размыслив — решил, как пригрезившееся, оставить без взыскания, хотя Матрена — известная язва. Но до чего же дуры! Ежели над холопами власть вручена дворянству Вседержителем в сем бренном мире, возможно ли, чтобы Он в царствии небесном отменил Им же установленный закон? А дурищам невдомек!»

Если этот отдающий загробным холодком сон и возбудил в майоре сомнения в праве завещать крепостных девок, то, по-видимому, логика собственных рассуждений их развеяла. По крайней мере в хранившемся в той же шкатулке его завещании, утвержденном ковенским судом, вперемежку с другими сувенирами, оставленными майором разным приятелям, — собаками, пенковыми трубками, седлами «аглицкой работы» и пр., — было перечислено штук двадцать Матрен, Глашек и Машек с краткими пояснениями физических и нравственных качеств каждой: «Нрава ленивого, но скромна и послушна...» Или наоборот: «Строптива, баловница и дерзка на язык, повидло же и прочее варенье при малом сахаре отменно изготовляет...» Или: «Собой весьма хороша, изъян же — смуглизна лица — удалять обтираньем натощак рассолом с хреном, к чему без поблажек понуждать...»

* * *

Майор Б. фон Б., столь молодецки глядевший с портретов в «кабинетике» Настеньки, действительно отличался молодечеством — даже в российской кавалерии «дней Александровых прекрасного начала», — когда каждый улан или гусар, как известно, был воплощенным персонажем Дениса Давыдова. Наездник, кутила, повеса и игрок, он был любим и начальством, и товарищами. На войне «коалиций» он сразу зарекомендовал себя отчаянным смельчаком. Его безрассудная храбрость еще подогревалась тем, что, рискуя иногда совершенно зря головой, он ни разу не был ранен. Но не считаясь с опасностью, он часто не считался и с дисциплиной. И за одно и то же безумное по лихости дело — атаку в конном строю на неприятельскую батарею, окончившуюся блестящей удачей — французы бежали, бросив последние пушки, — лихой улан, и

на этот раз вышедший из боя без царапины, был одновременно и представлен к Георгиевскому кресту, и получил от самого великого князя Константина Павловича «строжайший выговор» за «неискоренимое и неумеренное озорство, воинской субординации вредящее». Выговор кончался распоряжением посадить чересчур ретивого героя, «елико обстоятельства без ущерба для службы позволят», на месяц под арест.

Но наступления таких «обстоятельств», т.е. конца военных действий, нашему улану, увы, не пришлось дождаться. Под Эйлау счастье наконец ему изменило. Знаменитая атака эйлауского кладбища, где русская кавалерия рассчитывала отрезать и взять в плен Наполеона, была его последним сражением. Французское ядро оторвало ему ногу...

Бесчувственного, истекающего кровью, его вынес с поля битвы преданный вестовой Филька. Ни отбывать гауптвахты за прежнее «отчаянное озорство», ни совершать новые после долгой борьбы со смертью в госпитале не приходилось. Кое-как поправившись, с новенькой деревяшкой вместо правой ноги, в чине майора в отставке наш улан отбыл «отдыхать» в родовое имение Р-аго уезда Ковенской губернии.

* * *

Тяжек на первых порах был этот вынужденный отдых. Жизнь, в том смысле, как новый отставной майор привык ее понимать, оборвалась начисто... Жизнь была попойками, картами, женщинами, лошадьми, полковой средой — была тем «озорством» безрассудного молодечества, которым восхищались не только товарищи, но, конечно, и сам автор высочайшего нагоняя, такой же в глубине души кутила, картежник и смельчак. Жизнь была веселым, опьяняющим риском, лихой скачкой «поверх барьеров»... И вот вместо всего этого — запущенный помещичий дом, заросший бурьяном парк, мужики, бабы, ребятишки, куры, утки, одиночество, тоска... Если наш инвалид не пустил себе на первых порах пулю в лоб, то, вероятно, потому, что не догадался. Но время шло. Понемногу майор начал не только привыкать к новой жизни, но и находить в ней приятные стороны...

У себя в имении он, само собой, был царь и Бог. Но и за его пределами все общество, начиная с начальника губернии, приняло нового помещика с радушием и почетом. Уважение к Георгиевскому кресту и двум тысячам незаложенных душ еще

увеличилось, когда обнаружились щедрость и гостеприимство их владельца. А майор не считал ни проигрышей, ни вин, ни разносолов, ни выписанных из Варшавы бонбоньерок дамскому полу, ни сотен свечей в двухсветной зале своего дома, где под гром отличного крепостного оркестра заплясала и завеселилась «вся губерния».

Скоро майору было уже не до меланхолии. Скучать было некогда, времени не хватало и для развлечений. Барский дом, казавшийся прежде до нелепости пустым и огромным, сделался теперь скорее тесноват: теперь двадцати с лишним комнат едва хватало. В одних жили по неделям и месяцам облепившие тароватого хозяина приживальщики. В других шли сражения на зеленом поле. В левом крыле псари и егеря опекали особо ценных и любимых охотничьих собак. В правом, отделенном от остальных помещений толстой дубовой дверью, ключ от которой майор носил при себе, — жила в безделье и неге дюжина «прекрасных одалисок», переименованных из Матрен и Глашек в Заиры и Фатьмы. Невольницы эти время от времени менялись — одни с грустью возвращались в прежнее состояние, другие радостно облачались в их атласные халаты и чадры. Случалось, правда, что в горячую пору уборки рабочих рук не хватало, тогда и одалисок без церемоний гнали жать и вязать снопы. Но обычно жизнь их была поистине гаремной. В промежутках между посещениями майора и его особо близких друзей Фатьмы и Заиры жарились в «три листика», объедались вареньем и спали на пуховиках до одури...

Время шло. Годы мелькали, незаметно сливаясь в десятилетия. Майор продолжал жить в свое удовольствие, шумно, пьяно, весело, и был вполне доволен судьбой. Довольны были и его соседи и приятели, которых он угощал и веселил без отказу. Дамскую половину общества он, впрочем, с течением времени сильно разочаровал тем, что любезно, но упорно уклонялся от сетей, расставляемых завидному жениху маменьками, имевшими дочерей на выданье. Очередных претенденток на свое сердце и деревяшку, а их за тридцать лет сменилось немало, он задаривал конфетами, катал на тройках, развлекал фейерверками, но при этом, молодецки покручивая усы, неизменно говорил, что считает себя старым инвалидом, недостойным семейного счастья, и с этой позиции не давал себя сбить... Маменьки наконец примирились с этим — и холостяком майор как-никак доставлял им и их дочерям немало удовольствий. По той же причине общество смотрело сквозь пальцы на то обстоятельство, что, принимая у себя так широко

и охотно, сам майор, ссылаясь на ту же инвалидность, никому визитов не отдавал и в гости не ездил...

Единственное исключение он делал только для Г., генерала в отставке, недавно ставшего его соседом. То ли из уважения к высокому чину, то ли по самодурству, возможно по тому и другому, но у Г. майор был довольно частым гостем. Являлся он к этому соседу в карете, нагруженной винами и яствами, — Г. был начисто разорен, весь в долгах. Майор целовал церемонно ручки хозяйки, гладил по головке и одаривал сластями синеглазую девочку, — единственную дочку, посланную генералу Богом на старости лет... Потом друзья удалялись в кабинет. Филька, вестовой, вынесший когда-то раненого майора с поля битвы, а теперь его доверенное лицо и неотлучный спутник, раскупоривал бутылки и раскладывал закуски. И майор, и генерал одинаково любили выпить, были крепки на вино и все-таки каждый раз дружно напивались. Майор эти ужины вдвоем все больше предпочитал шумной ватаге гостей, переполнявшей его собственный дом. «Отдохнул душой, будто у себя в полковом собрании побывал», — говорил он на следующий день, несмотря на то что ему приходилось отлеживаться с компрессом на голове...

...В тот памятный вечер «душевный отдых» начался и продолжался, как всегда, по раз заведенной программе. Чокались, пили, закусывали, снова чокались. Подвыпив, пели нестройно, но с увлечением военные песни и чувствительные романсы. Боевые воспоминания сменяли пение, воспоминания — анекдоты. Понемногу пение совсем перестало ладиться, и разговор пошел вразброд, но чокались по-прежнему четко, в такт... За Государя Императора, за полковое знамя, за конницу, даже за покойную ногу майора давно уже выпили, — теперь уже чокались за луну, которая глядела в окно... Потом... Потом луна уже не глядела в окно, а плавала под самым носом лежавшего у себя в спальне с компрессом на лбу майора. Майор отмахивался от нее, но луна не отставала, лезла то с одной, то с другой стороны. Наконец явился Филька со жбаном кваса и огурцом. Филька открыл окно и выгнал назойливую небесную тварь, а майору, бережно поддерживая его трещавшую голову, помог выпить ледяной квас и закусить огурцом. Полегчало, мысли начали проясняться... Ставя жбан обратно на поднос, майор взглянул на собственную руку. На четвертом пальце сияло новенькое золотое кольцо. Отроду он не носил никаких колец. Почудилось с перепоя? Сейчас исчезнет, как

исчезла изводящая луна. Но кольцо не исчезало. Майор протер глаза. Кольцо блестело на руке по-прежнему.

— Филька, что это такое? — заревел майор, потрясая пятерней.

И Филька, вытянувшись и щелкнув каблуками, отрапортовал:

— Дозвольте, ваше высокородие, поздравить со вступлением в законный брак.

Майор от удивления округлил и без того круглые глаза и задвигал усами:

— Что ты врешь, болван?

— Никак нет-с, не вру. Изволили нынче ночью сочетаться законным браком с Анастасией Абрамовной. Оне-с уже и переехать к нам соизволили и в гостиной дожидаются-с...

Хмель соскочил с майора. Обвенчался? Вчера? С кем? Кто такая Анастасия Абрамовна, не слыхал никогда о такой. «Ты не пьян, Филька?» Но Филька был трезв...

— Одеваться, — заорал майор на всю комнату. — В гостиной ждет? Черт знает что, с ума я, что ли, сошел?.. Новый халат подай! Опопанаксом вспрысни, чурбан!.. Платок мне!.. Живо!

На диване сидела прехорошенькая 12-летняя девочка, в белом вышитом платьице с забавно выглядывавшими из-под него тоненькими ножками в кружевных панталончиках и черных туфельках... Ножки висели в воздухе, не достигая пола. Из широко открытых голубых глаз катились слезы, розовые губки дрожали. Возле нее, поучая и успокаивая ее, стояла степенная, пожилая женщина в праздничном платье, с набивной шалью на плечах — нянька.

При входе майора она быстро толкнула девочку в бок.

— Пойди, Настенька, поздоровайся с супругом, — и сама быстро и безостановочно закланялась в пояс.

Девочка послушно соскользнула с дивана и, сделав два шажка к майору, присела перед ним в глубоком реверансе. Слезы капали одна за другой на кружевное платьице, в которое предприимчивые родители, так ловко обкрутившие богача инвалида, принарядили «новобрачную».

Вид майора был страшен. Теперь он наконец понял, кто такая Анастасия Абрамовна, его супруга... Перед ним стояла плачущая и дрожащая Настенька, дочка генерала Г., соседа и «лучшего друга». Настенька, которую он гладил по русой головке и баловал, которой вчера еще привез бонбоньерку... И, поняв наконец, раскатисто захохотал.

— Супруга-то с нянькой прибыла! Ай-ай-ай, — надрывался и захлебывался он, хлопая себя по ляжкам. — Куклы захватили с собой, сударыня? Сопли небось няня утирает, — не научились еще? Ай да Ваше Превосходительство, генерал и кавалер. Повенчал простофилю, черта с грудным младенцем! Попался, который кусался!

От хохота и крика майора дрожали стекла и подвески на люстре. Настенька, пряча головку в сборках нянькиной юбки, плакала навзрыд. Нянька крестилась и твердила молитвы. Испуганные лица дворни высовывались из дверей...

В тот же день в усадьбу был вытребован генерал. Не подав ему руки и не посадив, майор сообщил превосходительному тестю свое решение: «Не желая позорить воинское звание и честь дворянства, подлость, над собой учиненную, огласке не предам. Для всех: просил руки, и, получив согласие, я по собственному желанию сочетался браком». Настенька остается у него в доме. «Когда подрастет — посмотрим, малолетних же отроду не совращал, а к носящей мое незапятнанное имя тем более до подобающего возраста не прикоснусь! А засим, любезный тесть, — заключил он свою речь, — кругом марш, вон! И на глаза мне больше не показываться ни вы, ни супруга ваша! Явитесь — велю вытолкать в шею и собак спущу... Филька, проводи генерала!..»

* * *

Так началась «замужняя» жизнь Настеньки. Майор ни в чем не изменил образа жизни. По-прежнему балы сменялись холостыми попойками, по-прежнему в «гареме» обитали «Заиры» и «Зюлейки». Настеньки все это не касалось. Она жила во флигеле с той же нянькой. Майор выписал для нее гувернантку, потом пригласил и танцмейстера... Понемногу Настенька, росшая дома дичком, обучилась и французскому языку, и манерам, и всему «благородному, персоне женского пола» следуемому. Но этим интерес майора к «супруге» и ограничился. Хотя гувернантка, нянька и молодые горничные, приставленные к ней, в обязанность которых входило не только служить ей, но и играть с ней в куклы, буде «барыня Настенька» пожелают, всячески старались ей угодить, и, хотя жилось ей в уютно обставленном флигеле много привольнее, теплее и сытнее, чем в разоренном родительском гнезде, счастлива она не была.

Страх, который испытала она от приема, оказанного ей «супругом», был непреодолим. Хохот майора, стук его деревяшки, выкаченные глаза она не могла забыть. Иногда, не имея больше силы сдерживать этого панического страха, она кричала: «Не могу больше! К маменьке хочу». И сейчас же раскаивалась в этом. «К маменьке желаете, — ядовито ухмыляясь, спрашивал ее майор, услышав о желании «барыни» от прислуги или гувернантки. — К Ее Превосходительству, достойной вашей родительнице? Извольте! Не смею задерживать!» И затем во все горло орал: «Филька! Закладывай барынину карету! Руби колеса!» — Это значило, что колеса кареты, в которой «новобрачная» с нянькой и скромными пожитками прибыла в то памятное утро в майорскую усадьбу, едва держались, и майор велел поставить новые. Колеса принадлежали майору. Желает Настенька уезжать, — пусть и катит, как знает, в карете без колес...

Но время шло. Настенька начала подрастать, хорошеть, превращаясь в барышню... Тонкая, высокая, в широких, стянутых в талии платьях, с белокурыми легкими локонами, она становилась, на свое горе, прелестной. Равнодушный дотоле к ней майор стал теперь все чаще ее навещать и все слаще на нее поглядывать... А потом и любезными обиняками дал ей понять, что шестого июня, день ее шестнадцатилетия, будет отпразднован пышным балом, на котором майор представит ее губернскому обществу, а потом... К этому ужасному «потом» за полгода шли приготовления. Обновлялась шелком и обставлялась новой, роскошной мебелью их будущая с майором спальня...

Когда Настенька была совсем маленькой, нянька пугала ее страшным «генералом Топтыгиным». «Если будешь капризничать, — приедет генерал Топтыгин, топ-топ, спросит — где тут непослушная девочка — топ-топ, — разинет рот и слопает тебя живьем. Лучше закрой глазки и засыпай, — пока не пришел». И для большей убедительности нянька стучала об пол поленом — топ-топ...

И вот страшная сказка превращалась теперь в страшную явь. 6 июня было не за горами. Еще три месяца, два, один — и оно наступит. Начнут съезжаться гости. Будут пить и есть, танцевать, смотреть на фейерверк, будут улыбаться Настеньке и говорить ей любезности. И она должна будет танцевать, и улыбаться, и отвечать всем так же любезно. Потом за ужином захлопают пробки шипучего, и гости будут кричать «горько!» молодым — генералу Топтыгину и

ей. А когда все это кончится, генерал Топтыгин, сильно подвыпивший, а то и совсем пьяный, улыбаясь масляной страшной улыбкой, стуча своею деревяшкой — топ-топ, — откроет дверь спальни, пропуская Настеньку вперед... И страшная сказка — станет страшной явью — генерал Топтыгин проглотит ее живьем...

В тот год весна наступила необыкновенно рано. В середине апреля снег повсюду стаял и грязь на горячем солнце просохла. Майор, становившийся все веселей и оживленней, чем ближе был день шестнадцатилетия Настеньки, однажды утром велел закладывать «в шарабан». Это значило, что он решил, воспользовавшись хорошей дорогой, доставить себе развлечение, к которому за последние годы он пристрастился. Развлечение было довольно опасное. Кавалерийское сердце майора нашло своеобразный способ удовлетворить страсть к лошадям. Верный Филька был послан куда-то на край России. После долгого отсутствия он вернулся в компании десятка киргизов. Прибыли они на нескольких подводах. Везли подводы обыкновенные лошади, а на подводах, оглашая воздух каким-то особым диким ржанием, стояли, стреноженные и крепко привязанные, степные, необъезженные, не знавшие ни узды, ни упряжки, кроме петли аркана, лошади, которые недавно были захвачены из вольного степного табуна. Развлечение майора заключалось в том, что пару этих диких коней киргизы каким-то способом запрягали, вернее, крепко прикручивали к дышлу шарабана. Майор взбирался на сиденье, коней держали ловкие руки азиатов. Потом майор давал знак — отпускай. Вожжи натягивались, шарабан летел зигзагами — вот-вот перевернется, разобьется вдребезги. Борьба шла ожесточенно и долго, но майор неизменно торжествовал победу — шарабан начинал катиться ровней. Так одна за другой были перепробованы все степные лошади, и майор не только не сломал себе шеи, но начинал находить, что удовольствие становится не таким уж острым... Впрочем, давая этим утром распоряжение «закладывать», он мог рассчитывать на сильные ощущения. С осенней распутицы поездок в шарабане не производилось. По грязи или по снегу на них не отваживался даже и майор...

Предчувствие сильных ощущений майора не обмануло. Шарабан взвился и понесся по широкой дороге, потом — это случалось и прежде — резко свернул с нее и понесся по полю. Но несколько минут спустя произошло то, что до

сих пор еще не случалось. Экипаж, подпрыгнув, задел за дерево, едва не перевернулся, снова свернул и помчался еще быстрей...

Киргиз, сопровождавший майора, был убит на месте. Майора, с проломанной грудью, осторожно несли трое мужиков. Кровь струйкой текла из угла рта. Водянисто-голубые глаза его смотрели в бледное весеннее небо. Деревяшки не было. Она осталась на дне оврага, куда сбросили майора дикие лошади. Майор скончался два часа спустя в полном сознании, исповедовавшись и причастившись. Завещание, где все майорское состояние отказывалось «дражайшей и верной супруге нашей», составленное уже полгода тому назад, хранилось тут же в его холостяцкой спальне. Положив ключ от ящика, где оно было заперто, в ручку Настеньки, майор прижал эту трепещущую ручку к губам и долго не отпускал. «Не пришлось дожить до счастливейшего дня жизни, — произнес он тихо. — Не ропщу, — значит, на то Господня воля. Ну, прощай, птичка, лети, пользуйся молодостью и жизнью. И помни, — встретишь хорошего человека и полюбишь, выходи за него. Я там — буду радоваться на вас»...

Помолчав, он коснеющим языком добавил: «Траура и слез поменьше... сколько надо для проформы, и баста. А потом задай... на всю... на всю... губернию... бал...» И на слове «бал» майор испустил дух.

* * *

Как не повторить еще раз — «Потемки душа человеческая»... Пока майор был жив, Настенька боялась его до дрожи, почти что ненавидела своего генерала Топтыгина. После его неожиданной смерти она вдруг почувствовала себя всерьез неутешной вдовой. Глубокий траур лишь спустя год генеральша сняла с дочери чуть ли не силком. Еще больше хитрости и уловок пришлось старухе употребить, чтобы добиться согласия дочери выйти из добровольного затворничества, начать встречаться с людьми и развлекаться. Наконец ей удалось уговорить Настеньку провести предстоящую зиму в Ковне. Там майор владел прекрасным, но давно запущенным особняком. За лето особняк был отделан и обставлен заново, а осенью Настенька при маменьке и бесчисленной челяди неохотно, но уже не споря в него перебралась. Закрепить дело — окружив Настеньку атмо-

сферой веселья и удовольствия, в какой та не только никогда не жила, но даже не догадывалась, что она возможна, — было для генеральши уже сущим пустяком. Тем более что, веселя и развлекая дочку, она развлекалась вовсю и сама...

Зима прошла быстро и приятно. Настенька, с каждым днем расцветая, как цветок на солнце, все больше входила во вкус новой беззаботно-счастливой жизни. Без приемов, гостей, театра, танцев — ей теперь самой уже было бы скучно. Она и кокетничать научилась, и кокетство стало для Настеньки одним из любимейших развлечений. Все имевшиеся в губернии «женихи» уже успели сделать ей предложение. Она радовалась каждому и одинаково мило и не обидно для очередного претендента отказывала. Сердце ее билось по-прежнему ровно. Сердце Настеньки во всем этом не принимало участия... Но вот перед самым Рождеством в Ковне распространился слух о новом приезжем. Приезжего звали князь Карабах. Он приехал один с тремя слугами и снял в лучшей гостинице целый этаж — одиннадцать комнат. Кое-кто успел с князем познакомиться и у него побывать. По рассказам, он был не только красавцем, но еще и явно богачом. Доказательством последнего, кроме одиннадцати комнат, были бриллиантовые, огромной величины кольца на пальцах князя и серебряный самовар, стоявший у него на столе. В самоваре вместо угля был лед, вместо воды — шампанское, текшее из крана замороженным. Слуги гостиницы подтверждали щедрость и богатство приезжего: на чай за малейшую услугу он бросал червонец.

Настенька, как и все ковенское общество, с любопытством слушала эти рассказы. Вскоре, на новогоднем балу у губернатора, князя ей представили. Прямой, как стрела, очень высокий, с перетянутой, как у осы, талией, в белой черкеске, князь Карабах, грациозно согнувшись пополам, поцеловал ручку Настеньки. Первые слова, сказанные им, были так же необычайны, как его блестящие черные глаза, гордый профиль и вкрадчиво-звучный голос. «Я думал, что прекрасней всего на свете звезды над снегами Казбека, — сказал, снова низко склоняясь перед Настенькой, князь. — Но я ошибался. Ваши глаза прекрасней этих звезд. А ваши плечи белее горного снега...»

Не найдя, что на это ответить, Настенька растерянно закрыла веером вспыхнувшее лицо. Судьба ее была решена... Три месяца головокружительной страсти пролетели как в ту-

мане. Настенька ничего не видела, не слышала, не понимала, кроме того, что князь и она влюблены друг в друга, что он просил ее руки, что они помолвлены и что большего счастья не может быть ни на земле, ни на небе... Все остальное не имело значения. Все, кроме этого счастья, перестало существовать...

День свадьбы был назначен, приданое заказано. Губернатор сам вызвался быть посаженым отцом Настеньки. Самая большая в Ковне зала благородного собрания, вмещавшая свыше тысячи человек, отделывалась заново для свадебного пира. Приглашения были разосланы далеко за пределы губернии. Гостей ждали из Петербурга, из Москвы, с Кавказа...

...До дня свадьбы оставалось недели две. Настенька, стоя у окна, смотрела на улицу. Из-за поворота сейчас вынырнет серая в яблоках княжеская тройка, и она увидит фигуру жениха в белой черкеске, его гордый профиль, его влюбленные глаза... Сейчас тройка покажется и, лихо завернув, подкатит к ее крыльцу... Сейчас, сейчас князь Карабах, ее жених, легко взбежит по лестнице и, дыша счастьем, крепко прижмет Настеньку к груди. Сейчас, сейчас... Но князь сегодня почему-то опаздывал... Начинало темнеть. Князя все не было. Что это значит? Что случилось? Если еще четверть часа его не будет, Настенька сама поедет в гостиницу... Ее могут заметить? Ее осудят. Ах, не все ли равно! Кроме князя и их любви, ничего важного в мире нет. Приличия, условности, «можно», «нельзя»... — все это были теперь пустые слова, не касающиеся их обоих. Еще десять минут она будет ждать, а потом поедет к князю сама. Еще семь, еще пять минут. Но срок, поставленный Настенькой своему терпенью, еще не истек, когда княжеские лошади показались из-за угла... Но тройка не остановилась у Настенькиного крыльца. Она завернула наискось к трехэтажному рыжему зданию с флагом на крыше и часовыми у ворот — жандармскому управлению. И князь вышел из саней не один, за ним выскочили два жандарма с саблями наголо.

Князь и жандармы, как-то странно теснясь друг к другу, подошли к чугунным воротам. Пока ворота с лязгом открывались, жених Настеньки, обернувшись, посмотрел на Настенькин дом шалыми, страшными глазами. Кандалы блеснули на его скованных вместе руках...

* * *

Жениха Настеньки в цепях по этапу угнали на Кавказ. Там — вблизи Карабахских гор — он несколько лет безнаказанно разбойничал, там его и полагалось судить. Не знаю, что с ним стало. Настенька скрылась от неслыханного скандала к себе в имение, но прожила там недолго. Волей-неволей ей пришлось скоро признаться матери в беременности... Генеральша рыдала, рвала волосы и грозила Настеньке материнским проклятием. Но в конце концов простила и увезла ее за границу. Где-то в Италии Настенька разрешилась от бремени девочкой — носительницей имени и наследницей состояния майора в отставке и кавалера Б. фон Б. ...

Дочь Настеньки выросла за границей. Там же, на каком-то курорте, она встретилась с Х. Будущий любимец министров влюбился в нее сразу без памяти. Должно быть, по контрасту с собственной комплекцией и бледно-респектабельной петербургской наружностью кавказская резкость черт и манеры юной mademoiselle Б. фон Б. показались ему неотразимыми...

* * *

Эпилог истории относится к 1917 году. Вскоре после Февральской революции в министерство прибыл новый, революционный министр. Очевидцы, не ручаюсь, насколько достоверные, утверждали, что он, пожав руку растерявшемуся швейцару и кивнув, не подавая руки, столь же растерявшимся высшим чиновникам (сам глава министерства сидел уже, разумеется, в «Петропавловке»), быстро прошелся по помещениям, произнес громовую речь, на которые был большой специалист, и, буркнув «я распоряжусь», отбыл. Обещание «распорядиться» министр сдержал. Вскоре после его посещения последовал приказ... немедленно очистить казенные квартиры «от реакционных элементов»...

Неделю спустя вслед за креслами, буфетами, матрасами, сундуками и прочим добром, наполнявшим пятнадцать комнат квартиры злополучного Х., вынесли клетку с Настенькиными канарейками, портреты майора, шкатулку, предназначавшуюся для священных змей. Тоненькая Настенька, поддерживаемая курьером, спустилась вслед за своей массивной дочкой. Мебель погрузили на ломовиков. Настенька и Х. уеха-

ли на извозчике. Сама тайная советница осталась приглядывать за погрузкой вещей. Когда последний ломовик, сопровождаемый ее нравоучениями ехать осторожно, ничего не разбить и не сломать, выехал из ворот, — вслед за ним вышла, навсегда покидая дом, где долгие годы наводила страх на подчиненных мужа, и дочь князя Карабаха...

Засунув руки по-мужски в карманы, она зашагала по направлению к Невскому. Взгляд ее черных блестящих глаз был мрачен. Радоваться ей действительно было нечего...

Был серый апрельский денек, накрапывал скучный дождь. Навстречу, фальшивя «Марсельезу», нестройно двигалась какая-то очередная манифестация.

СОДЕРЖАНИЕ

II. РАССКАЗЫ

Георгий Иванов

МЕМУАРЫ И РАССКАЗЫ

Редактор *Г.И. Дзюбенко*
Художественный редактор *В.А. Пузанков*
Технический редактор *Д.Я. Белиловская*
Корректор *О.Е. Косова*

Разнооттеночность полос диапозитивов обусловлена качеством оригинал-макета

ИБ № 19268. Издание подготовлено на микроЭВМ с помощью программы «Вентура Паблишер».
Подписано в печать 25.03.92. Формат 84 × 108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная . Печать офсетная. Усл.печ.л. 18,48. Усл.кр.отт. 18,48. Уч.-изд.л. 17,62. Тираж 20 000 экз.
Заказ № 642 С 085. Изд. № 48461.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс». 119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Рыбинский Дом печати Министерства печати и информации Российской Федерации
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.